



---

# СОГЛАСИЕ

БОРИС ХАЗАНОВ  
Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

*Маленький роман*



КАРИ УНКОВА  
МИНУВШИХ ДНЕЙ ОПАЛЬНАЯ ЧРЕДА

*Стихи*



ДЖОН ГОЛСУОРСИ  
ДЖОСЛИН

*Роман*



---

4-5' 1992

**СОВЕТ  
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА  
«МИЛОСЕРДИЕ»**

Патриарх Алексий,  
А.М.Адамович, Г.П.Алференко,  
В.С.Алхимов, В.М.Борисов,  
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,  
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,  
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,  
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,  
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,  
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,  
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,  
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,  
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,  
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,  
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,  
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,  
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,  
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков

---



---

# СОГЛАСИЕ

---

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОД

---

**№4–5. АПРЕЛЬ–МАЙ 1992 ГОДА**

**МОСКВА. РЕД. КЦИОННО-ИЗД. ТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС «МИЛОСЕРДИЕ»**

---

**В НОМЕРЕ:**

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

*Борис Хазанов*

Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ. Маленький роман

**3**

*Илья Рубин*

СВОЕВОЛИЕ БОРИСА ХАЗАНОВА

**53**

*Кари Учксова*

МИНУВШИХ ДНЕЙ ОПАЛЬНАЯ ЧРЕДА. Стихи

**57**

*Александр Будников*

ГРЕШНИК. Повесть

**66**

*Владимир Леонович*

ГРИФ ДСП. Стихи

**84**

*Юрий Храмцов*

КУЛАКИ И УКАЗНИКИ. Из книги воспоминаний

**89**

*Илья Фаликов*

ИЗ КНИГИ «ВОЗДУХ». Стихи

**104**

---

## **ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА**

*Джон Голсуорси*

ДЖОСЛИН. Роман

Перевел с английского А. Кудрявицкий

**111**

---

## **ПУБЛИЦИСТИКА**

*Валентин Курбатов*

СОБЛАЗНЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

**147**

---

*Федор Ефимов*

САМОЧИНИЕ

**155**

---

## **ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ**

*Кн. Сергей Щербатов*

ХУДОЖНИК В УШЕДШЕЙ РОССИИ

**169**

---

*Владислав Ходасевич*

МАРИЭТТА ШАГИНЯН. Из воспоминаний

**203**

---

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

*Олег Павлов*

КАК ПРОМЕЖУТОК КРАТКИЙ...

**207**

---

## **ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ**

*Хью Лофтинг*

ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДУЛИТЛА. Окончание

Перевела с английского Юлия Муравьева

**214**

---

Подписано к печати 27.03.1992г.

Формат 70х108 1/16. Гарнитура «Таймс».

Физ. печ. л. 14. Тираж 5 000 экз. Заказ № 892

Отпечатано МП Информполитграф

### **АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

Телефоны: главный редактор — 235-15-56,

первый заместитель главного редактора — 235-14-00,

отделы прозы, поэзии, критики, публицистики — 235-14-10

Корректоры С. И. Горшунова, В. Н. Крылова

© Журнал «СОГЛАСИЕ», №4-5, 1992

---

---

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

---

---

Борис ХАЗАНОВ

### Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

Маленький роман

*...Ему пришла в голову одна из тех, казалось бы, отвлеченных и несуразных мыслей, которые часто вдруг становились для него жизненно важными: он подумал, что порядок, которого жаждет в этой жизни обремененный, тянущийся к ясности человек, — не что иное, как порядок повествовательного искусства!.. Счастлив тот, кто может сказать «когда», «прежде чем» и «после»! Пусть даже с ним случится недоброе, пусть даже довелось ему корчиться в муках, — как только ему удалось воссоздать события в их временной последовательности, он начинает чувствовать себя вольготно, словно солнце согревает ему живот... Большинство людей — рассказчики по отношению к самим себе... они любят естественную последовательность событий, потому что она похожа на необходимость, и чувствуют себя защищенными от хаоса, если кажется, что их жизнь подчиняется определенному течению.*

*Роберт Музиль «Человек без свойств»*

*Есть три эпохи у воспоминаний,  
И первая — как бы вчерашний день.*

*Анна Ахматова «Северные элегии»*

#### 1. УРОК МУЗЫКИ

«А кто там лежит?»  
«Тихо. Говори шепотом».  
«Я ШЕПОТОМ, КТО ЭТО ЛЕЖИТ?»  
«Ученики».  
«ТАКИЕ СТАРЫЕ?»  
«Да».  
«Они уже научились?»  
«Да».  
«Чему?»  
«Помолчи минутку».  
«Я спрашиваю: чему они научились?»  
«Хорошо себя вести, вот чему».  
«Ха! Я и так».

«Да тише ты!»  
 «Я ГОВОРЮ, Я И ТАК ХОРОШО СЕБЯ ВЕДУ!»  
 «Ну ладно, только помолчи».  
 «...ОНИ СПЯТ?»  
 «Ты же видишь».  
 «А ЧТО ТАМ НАПИСАНО?»  
 «Не знаю, это по-славянски».  
 «А я знаю. Моление о чаше».  
 «Знаешь, так и нечего спрашивать».  
 «Бьюсь об заклад, — говорит мальчик, — Сильва, ты меня не любишь. Легавый буду, я тебя узнал».  
 «Да ты что? Да я тебя!» — Они уходят, провожаемые шиканьем. На цыпочках, громадными шагами, голосом театрального заговорщика:  
 «ЭТО БЫЛ...»  
 «Можешь говорить обыкновенно!»  
 «Это был лес?»  
 «Не лес, а сад».  
 «А почему звезды?»  
 «Я почем знаю».  
 «Нет, правда».  
 «Потому что ночь, — чего глупости задавать».  
 «И все спали?»  
 «Да. А он молился».  
 «О чем?»  
 «Молился, чтобы его миновала эта чаша. Ему было страшно».  
 «Боялся темноты?»  
 «Иди хорошо».  
 «Я и так иду хорошо. Я не намерен терпеть твои придирки, имей это в виду. Ма, скоро церковь закроют, да?»  
 «Кто это тебе сказал?»  
 «Ведь это все обман».  
 «Коли обман, так и нечего спрашивать».  
 Ах ты, Хоссподи, твоя воля! Он ступил в лужу. Притягиваемый к вещам, как булавка к магниту, он зацепился карманом пальто, вечно оттопыренным, за хват водосточной трубы. На глазах у ошеломленных прохожих он превратился в многолапое и многокрылое чудовище с тремя головами, из которых высовываются три языка. Батюшки, что творится!  
 «Все расскажу отцу».  
 «Ха. А я расскажу, где мы были, — что, съела?»  
 Пауза. Силы приблизительно равны. Мальчик то еле тянется, заглядываясь на каждую вывеску, то несется вскачь «африканским» шагом, и она едва за ним поспекает. Это — апрель или, может быть, ноябрь, стекла окон отсвечивают, словно слюда, мостовая серебрится от сырости, и конец дня как бы совместился с его началом.

\* \* \*

Величие отца невозможно было выразить словами, но оно проявлялось во всем: во взгляде из-под широкой кепки, важно надвинутой на глаза, в привычке давать длинные медленные звонки. С какой радостью, о, с каким прыгающим сердцем мальчик мчался по коридору, когда раздавались эти три звонка, — как голос с неба, как рог герольда у ворот, и он знал, что отец ждет его там, высокий, верный, могучий, и нарочно гремел ботинками на бегу. Отец входил, сгибаясь под тяжестью рук, уцепившихся за его шею, ноги мальчика в чулках с выглядывающими из-под штанишек резинками болтались в воздухе, потом он бежал приплясывающим африканским шагом возле ног своего бога.

В комнате зажигался яркий свет, отец приносил с собой особенный воздух, запах дождя, шаги, звуки голоса, зеленые глаза; движением плеч сбрасывал пид-

жак, царственным жестом оттягивал угол галстука, и мальчик ходил с ним, как поводырь, из большой комнаты в прихожую, где была раковина, и назад, к столу. Полина, тихая, как монахиня, входила с тарелкой, голос чреовещателя шелестел в картонном рупоре на шкафу, и отец с газетой, опертой о хлебницу, с ложкой в левой руке, все тем же высокомерно-ласковым жестом слепого царя ерошил волосы мальчика. Мальчик рос, а жест этот оставался одним и тем же, память синтезировала его из бесчисленных ежедневных движений, наполняла тайным смыслом, щемящей сердце тоской. Этот жест вобрал в себя годы. И когда он сидел на его колене, вглядывался в черные буквы, стараясь угадать то место, куда смотрят глаза отца, и когда стоял рядом — большая рука по-прежнему ворошила ему волосы: он рос, а отец равномерно зачерпывал суп, Полина входила и выходила, черный рупор вещал дождь, вещал войну в Испании, вещал куплеты тореадора, выходную арию Сильвы, вещал надоедливое, важное или неважное, и ко всему этому примешивалось и приросло на всю жизнь большое и мягкое прикосновение ладони. Все те же зеленые глаза минутами останавливались на нем с какой-то ласковой дерзостью; с некоторых пор рука стала смущать его, и он уже стыдился брать куски с отцовской тарелки, а ведь прежде ему было нипочем выпросить котлету (в памяти тотчас возникли оскорбленные брови Полины: неужели ты голоден?!) или, вытянув шею, отхватить из его руки помидора.

Она была мягкой, но и тяжелой, эта рука, и ее сила загадочным образом проявлялась в том, что она никогда не показывала эту силу. Только раз он испытал ее: запомнился маслянисто-желтый, веселящий и раздражающий блеск стеклянных шаров; оба откуда-то возвращались, и в трансе воспоминаний, в этом самогипнозе мимолетный эпизод словно застыл навеки в прозрачном янтаре. Беззвучное эхо его пронеслось сквозь десятилетия. И, может быть, это было не событие, а необходимое сочленение памяти, которое сообщало жизни повествовательный порядок; может быть, он помнил уже не самое событие, а *вспоминал воспоминания*. Только раз он сбегал вниз по эскалатору, а ступени несли его вверх, он сбегал, а они его возвращали. Внезапно нарушились все регуляции, он как будто не слышал отца, его крепнувший зов; восторг непослушания охватил его; отец ждал, лестница текла и текла к его ногам. Кажется, это был поздний вечер, и метро уже опустело. И то, что отец не спускался, не пытался его ловить, наконец отрезвило мальчика: он подъехал, растерянно хихикая, с блаженной улыбкой идиота, и отец схватил его за руку своей левой рукой, точно надел наручник, — тотчас дребезжащий смех смолк, и мальчик чуть не разрыдался. Они быстро шагали рядом, это был ужасный, навсегда испорченный вечер, но страдал он не от боли в руке, а от молчания.

Отец умел молчать и пользовался молчанием как страшным оружием. Ничто не могло быть тягостней этого молчания, как будто из комнаты выкачали воздух, все звуки становились беззвучными, вернее, оглушали; уж лучше бы его оскорбили ремнем. Но ремень не употреблялся, это была легенда, услышанная от каких-то других народов; зато молчание! Не было кары страшней, когда оказывалось, что не выполнен долг, не отбыта некая повинность, смысл которой — будем откровенны — заключался отнюдь не в ней самой. Потому что на скрипке играли только ради отца. Ради того, чтобы все было хорошо. Чтобы отец, спокойный и могучий, шагал по коридору, сидел за столом и взглядывал зелеными искрами глаз, не томимый никаким предчувствием. Сама игра не имела значения.

Да, никакого значения, вопреки вдохновенным тирадам отца, когда, бывало, в хорошем настроении, полулежа на диване, он рассуждал о великих виртуозах, упражнявшихся целыми днями с утра до вечера. Но она была заповедана богом, утешала и радовала его; невыполнение — мрачило и повергало в молчание! Было очевидно, что под ней что-то подразумевалось, не могло же это пиликанье нравиться ему само по себе. Воистину музыка была кумиром для этого человека. Все смолкало и трепетало, все должно было мысленно возносить молитвы, когда хрипучий репродуктор рыдал на шкафу: «О, если б навеки так было!..» Великий, уже умерший певец, в бессчетный раз и не боясь наскучить, исполнял

«Персидскую песню». И мальчик в почтительном недоумении взирал на бога, застывшего с полузакрытыми глазами и как бы качаемого волнами.

Обед был окончен. Полина уносила тарелки. Вопрос, давно подразумеваемый, жданный радостно или с ужасом, — «занимался?» — повисал в воздухе, его наконец произносили губы отца.

О, напряжение и тревога всех этих минут, притворная безмятежность, подозрительная рассеянность под взглядом отца, небрежный шик реплик и попытки отвлечь его посторонними разговорами — тщетная надежда, что отец *забудет*. Отец никогда не забывал. Даже чувствовал заранее, какой будет ответ. И вот оно опускалось, это беспросветное молчание, в котором бог света и радости темнел, каменел и заволакивался лиловыми облаками. Неужюжесть Полины: «Зато мы сегодня хорошо поели суп» — морковный суп, эту отраву, богатую витаминами. Отец не отвечал и с каменным лицом читал газету. Вечер был уничтожен. Два одиноких человека сидели друг против друга: отец над газетным листом и он, жалкий, согбенный, болтающий ногами в углу. О, эта тишина, хрип удавленника на шкафу, струящийся свет люстры!

\* \* \*

Года полтора тому назад мальчик выдержал приемные испытания в музыкальной школе, он даже имел несчастье отличиться. Отец, не мысливший иного результата, принял это как должное, экзамен должен был лишь санкционировать то, что уже давно было решено, и вот музыка стала вечным крестом его жизни, его колодкой, его каторжным клеймом! Вот там, на шкафу, рядом с перхачающим репродуктором, поблескивает орудие пытки, кожаный саркофаг. Но он чувствовал, что в пустыне молчания бог, окутанный облаками, тяжело страдал — и если бы можно было в эту минуту подбежать к нему, объяснить! Вместо этого мальчик сам каменел в напускном равнодушии, в этом дурацком спектакле безответственности — а на самом деле в одиночестве и горе. Он не сумел бы объяснить, почему его так сокрушало это молчание, ведь не от страха наказания. Никакого другого наказания, он знал, не последует. Отцу и в голову не пришло бы ущемить его вещественно, лишить сладостей (впрочем, сладкого он не любил), отказать в обещанном карманном фонарике; истинное наказание заключалось уже в том, что отец ничего не делал, ничего не говорил, никак не показывал своих чувств — и тем именно обнаруживал, что страдает. Ибо, как уже сказано, единственный смысл постылого пиликанья был тот, что оно восхищало отца. Причина этого восхищения оставалась неясной, но не считаться с ним было невозможно. Отца было *жалко*.

И даже не только тогда, когда отец бывал удручен, утомлен и, пахнущий дождем и каким-то беспричинным, но несомненным несчастьем, кружил по комнате, хватался за галстук, точно дергал петлю на *шюэ*, когда он согбенно сидел за столом, завесив тенью свои прекрасные темно-зеленые глаза: это был странный человек, ни с того, ни с сего впадавший в плохое настроение! Так вот, не только тогда. Чувство жалости постоянно жило в мальчике, оно не исчезало и в дни радости, когда отец, молодой, веселый, в расстегнутом летнем пальто входил и подбрасывал его к люстре; и в этом чувстве, невидимо пропитавшем всю их совместную жизнь, мальчик был почти равен женщине.

Но тут жалость мерялась с жалостью же. О, они отлично угадывали друг друга. Сейчас, болтая ногами в углу, он был и преступником, и жертвой, раскаивался и дулся одновременно, и знал, что величественный бог-отец терзается сомнениями там, за газетой: заставить лентяя взяться за дело сейчас? до утра не разговаривать с ним? уехать? Не знал, что делать, и мальчик: необъяснимая скованность, чары молчания не давали ему сдвинуться с места:

Он поднимался. Суровый, он тащил стул к шкафу под косвенным взглядом того, занавешенного газетой. Ни слова не было произнесено; упертый в пол взгляд сына демонстрировал его непреклонную волю выстоять до конца: то был мятеж, бунт под маской нарочитого послушания; но уже отщелкивались замки саркофага; мурлыкал рупор, и отец поднимался, чтобы вынуть вилку из штепсе-



ля. Как-никак это был жест примирения. Но молчание по-прежнему разъединяло их, точно темная река. На том берегу отец все с тем же прилежным видом пробегал глазами газетные заголовки — стул, и футляр со скрипкой, и разворачиваемые ветхие ноты были приняты к сведению, не более. Между тем позиции окончательно переменялись, сын наступал, отец оборонялся, сын был жертвой, отец — насильником и обречен был терзаться муками совести, и так ему и надо. Не без вызова был водружен на стол будильник, заниматься так заниматься: час и ни минутой меньше. В дверях укоризненной тенью встала Полина: время-то половина десятого! Мальчик извлек инструмент из кожаного футляра, в глубоком молчании умастил смычок канифолью. Встал в позицию — расставив носки ступней под углом, с задранным подбородком, со смычком, трагически занесенным над струнами. И-и-и... раз!

Точно флагеллант ожарил себя плетью.

Ах ты, Господи. Старые, обклеенные по углам упражнения Шрадика, не утерпев, съехали с буфета, служившего попитром. Отец проворно нагнулся и водрузил ноты на место. Ему пришлось поддержать их некоторое время. И унылый, тянущий за душу звук повис в воздухе, возвещая о мире и радости, вновь сходящих на землю.

После этого никто уже не удивился, когда приоткрылась дверь и вошел шаркающими шагами призрак.

Раз в неделю, по понедельникам, отец приходил со службы на два часа раньше, сын ждал, уже одетый, и они ехали на трамвае к Илье Моисеевичу, учителю музыки, держа под мышками саркофаг и папку с отгиснутой лирой. Ибо не могло быть и речи о том, чтобы заниматься в районной музыкальной школе, — только у частного знаменитого учителя, к которому устраивались по протекции. Учитель, старый, неряшливый человек, одинокий и бедный, несмотря на чудовищную плату, которую он брал за свои уроки, жил в каморке, увешанной портретами композиторов и фотографиями своей молодости. Месяц тому назад старый учитель умер, отец подыскивал нового. Разумеется, занятия не могли прерываться ни на один день. Исполнялись старые пьесы, руководством служила тетрадка учителя с расписанными позициями, с особыми, сочиненными им самим упражнениями, с восклицательными знаками. Итак, призрак учителя в старой вельветовой куртке вошел, зябко потирая руками, и стал напротив буфета. «Подбородок!» — скомандовал учитель. И мальчик покорно вытянул подбородок, положил голову, точно на плаху, на эбонитовый подбородник. «Локоть. Выше гриф!» Мальчик оторвал локоть руки, подпиривший скрипку, от живота, лишив себя последней опоры и чуть не падая на буфет; ноги дрожали, точно он съезжал под откос; все, все в этих занятиях было придумано для того, чтобы его мучить, насколько легче было бы держать гриф правой рукой; он смотрел на свои невыносимо растопыренные, распятые на струнах пальцы, плохо различая их сквозь слезы, стараясь не мигать, чтобы не потекло по щекам. «И-и раз, и... первый палец, третий па-алец!» — громко пел Илья Моисеевич, дирижируя свободной рукой, а другой придерживая ненадежные ноты. Это был его прославленный метод — петь и дирижировать. Жалкие, тягучие звуки раздавались в комнате, их слышали соседи и возмущались бессердечием людей, заставляющих ребенка пикивать до поздней ночи. То была бессмертная мелодия, творение безымянного гения — гамма до мажор. Отец внимал ей, сидя за столом вполборота. Полосатый свет люстры струился на его лоб и скатерть. И так он и сидит до сих пор в дальней вечности воспоминаний, охваченный невыразимым чувством счастья, любви и покоя, со скомканной газетой на коленях, сидит и смотрит на затылок мальчика, на его руку, которая водит смычок.

## 2. ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Тремя звонками возвещала о себе и тетка, но что это были за звонки! — сутливые, дребезжащие, и пока Полина, вытирая мокрые руки о передник, бормоча: «Сейчас, сейчас», бежала из кухни, нетерпеливая триоль взрывалась с

краткими промежутками, точно там, за дверью, тетку поджаривал адский огонь. Она вваливалась, потрясая монументальной сумочкой, чудовищным ридикюлем во вкусе тех лет. Мальчик ждал ее в безопасном укрытии, под письменным столом.

Тотчас раздавался плеск в прихожей; едва успев сбросить шелковый плащ, тетя мыла руки под краном. Брезгливость была ее манией, мытье рук — всегдашней услугой, вкупе с морковным супом и чтением романов. Затем снова зацокали ее каблуки — и остановились. Мальчик ждал. Хотя вряд ли было для нее неожиданностью то, что она увидела.

Плакат, висевший налево от двери, между швейной машиной и шкафом, изображал тетку в облике фантастического чудовища, с клыками и рогами, загнутыми, как у тура; между рогами вздымались винтообразно закрученные волосы, отдаленно напоминая ее шестимесячную завивку, и в когтях у тетки, как два окровавленных меча, краснели две морковки. Было совершенно очевидно, что понадобилось влезть на машину, следовательно, пострадали и обои; но наибольший урон был нанесен швейной машине, на ее столик должны были стать ногами. И, разумеется, не могли отказать себе в удовольствии посидеть верхом на ее лакированной крышке. Все эти мысли вихрем пронеслись в ее голове. Обилие преступлений наполнило душу тетки горьким удовлетворением, действительность подтвердила ее правоту: ребенок был испорчен «до мозга костей», в чем она склонна была усматривать дурное влияние Полины как малообразованной женщины и к тому же русской. В броне величественного презрения она пересекла комнату, не обращая внимания на мальчика, а может быть, и в самом деле не заметив его под столом. Из всех углов смотрели на нее оскаленные чудовища, негодяй трудился над ними полдня; под самым потолком, откуда его не так просто было сорвать, плакат, склеенный из трех листов бумаги для рисования, взывал к революционному пролетариату: *Все на борьбу с теткой Фиркой!* Война была объявлена. Прежде чем удалиться (в большую комнату), тетя окинула взглядом обезображенные стены; стол посреди комнаты, как всегда, был покрыт плюшевой скатертью с полянами, выеденными молю, — приданым мамы или бабушки, которую он никогда не видел. С люстры свешивался боевой флаг. Она оглядела комнату и сардонически улыбнулась. Чем хуже, тем лучше! «Полина!» — позвала она великолепным, звучным и торжествующим голосом.

«Полина, не смей ничего трогать! Пусть отец полюбуется». И она уплыла, качая бедрами. Опустим многосмысленный подтекст, отчетливо прозвучавший в этих словах и в гораздо большей степени адресованный «прислуге», чем самому преступнику. Она провела там десять минут — в это время мальчик покинул свое убежище, влез на стул и пририсовал страшному чудовищу черным карандашом усы. Теперь лицо тетки напоминало портрет товарища Сталина — разумеется, без всякого умысла со стороны художника. В молчании, сверкая шлемом и потрясая доспехами, он исполнил перед идолом пляску воинственных горных племен. Послышались шаги — он упрыгал в свое укрытие. Изредка из-под стола мигал его карманный фонарик. Тетка прошествовала на кухню, откуда спустя немного времени явилась, неся на подносе дымящуюся еду. Существовал особый шик в том, чтобы нести тарелку на никелированном подносе; можно было бы сказать, что она двигалась как бы несомая, в свою очередь, на серебряном подносе, вознесясь над пошлостью коммунальной квартиры. Снова с наслаждением она мылила под краном руки, из полутьмы прихожей сверкали ее глаза, оправдывавшие ее библейское имя. Черные глаза, похожие на маслины. Где они теперь?

Морковное пюре, как всегда, утвердило ее в высоком чувстве самоуважения. «Ах, какая прелесть, — говорила она как бы для себя самой, — как вкусно и как полезно!» Слова эти также не лишены были внутреннего значения, состоявшего в том, что научная оценка пищи доступна лишь избранным натурам. Она и в самом деле утопала в блаженстве. Покончив с едой, она имела обыкновение покоиться в кресле с книгой.

Звук военной трубы нарушил молчание! На ветру развернулся боевой

штандарт Красной гвардии. Блеснула медь доспехов. Из прихожей медленно двигалось грозное шествие. Мальчик держал наперевес старую трость с костяным набалдашником, в правой руке перед собой он нес крышку от бельевого бака. Щеки его раздувались: он исполнял походный марш, и глаза блестели от волнения. Сердце билось, как оно уже никогда в жизни потом не билось. Так, под дробь барабанов, печатая шаг и одновременно удерживая в шенкелях горячую лошадь, рыцарь и пехотинец, он пересек комнату и оказался перед креслом; за высокой спинкой видна была голова тетки, как бы погруженной в сон. Но в вырезе кресла внизу, заполняя его, выбухало телесной полнотой уязвимое место. С сердцем, грохочущим в груди, стучащим в висках, мальчик занес копье — удар был нанесен в выбухающую часть, он бросился бежать, гремя крышкой от бака, и вопль уязвленного неприятеля сладкой музыкой звучал в его ушах. Тетка вскочила, она была ранена, искалечена, ей нанесли увечье! Гневные слезы лились из ее глаз.

\* \* \*

По-видимому, общество двух женщин, из которых одна была достаточно любвеобильна, а другая выгодно оттеняла ее, создавая противовес, устраивало мальчика; никто не осведомлялся, отчего он никогда не спросит о матери, никого это не удивляло, считалось, что он все забыл. И так оно, в сущности, и было. Он не мог бы сказать, какого она была роста, какого цвета были ее глаза и волосы, вообще не смог бы описать ее ни единым словом. Фотографий ее не осталось или они были упрятаны куда-то. Так что, если бы спросили, какая она была, он ответил бы — *хорошая* или какой-нибудь другой милой детской глупостью, подразумевая неизвестно кого. Она ушла, не оставив по себе ни скорби, ни сожалений, не возбуждая даже любопытства: облик женщины, державшей его на руках в бесконечно далекие для него времена, исчез навсегда, бесследно рассеялся в памяти, подобно тому, как в огне без остатка растопилось ее тело.

Облик? — да. Но не образ. Здесь скрывалось противоречие, о котором мальчик, само собой, не помышлял, которое не сумел бы объяснить даже отец, единственный, кто доподлинно знал, что на самом-то деле мальчик ничего не забыл.

Ибо память нельзя уподобить трехмерному пространству сцены, на которой двигаются, встречаясь и расходясь, персонажи минувшего; миры памяти можно сравнить с рядами зеркал, обращенных друг к другу: то, что присутствует в их клубящейся пустоте, лишено качества наглядности. Образ матери жил в одном из этих миров, его и не нужно было вызывать, не требовалось усилий, чтобы оживить его, не надо было напоминать о нем: он жил — сам по себе. Зеркало отражало другое зеркало — спустя много лет в памяти возник образ памяти же; в детстве, как и через много лет, мальчик не помнил слов, но зато помнил голос; не помнил цвет глаз, но помнил их выражение, помнил звук шагов, шорох одежды. Непостижимым образом он даже помнил запах матери. Без сомнения, он забыл много важного: в сущности, забыл ее всю; все, что осталось, были обрывки, намеки; но это оставшееся образовало часть души и вплелось, так сказать, в субстанцию его жизни.

Впрочем, и обрывки хранили изумительную яркость — отчетливость обстановки, среди которой блестящим, но недоступным глазу пятном появлялась та, которая придавала таинственный смысл этим воспоминаниям. Не надо было только эксплуатировать без надобности эти картины — *не надо было слишком часто вспоминать*. Редко вспоминая, лучше помнят. Он помнил высокий потолок и полумрак широкого коридора в их прежней квартире, звонок и себя на цыпочках, открывающего высокую парадную дверь. Тотчас в переднюю проворно вошла яркоглазая цыганка с узкими бронзовыми руками, вошла с очевидным намерением украсть его, по крайней мере, так о них говорили, — и та, что была его матерью, высокая или низкая, он не знал, но очень молодая, испуганная, в одной рубашке выбежала из комнаты — очевидно, она уже была больна в это время.

Другой эпизод был связан с мусульманским камнем Кааба — черным пианино, стоявшим у окна: мать, повернувшись к мальчику, покачивая головой и играя бровями, играла «Мой Лизочек» и «Похороны куклы». В памяти брезжил неуловимый блеск ее глаз, блеск гладких волос, но и тут внутреннее зрение было ослеплено, и в центре, где находилась она, стояло сияющее пятно, тогда как все окружающее виделось четко: и зимний день за окном, и блестящее пианино, и он сам на полу возле ее ног, и даже кончик узкой туфли, нажимающей на педаль.

Он помнил, как она лежала в постели, — оттуда, из простыней, журчал ее смех; мальчик расхаживал по комнате, увешанный оружием — какими-то палочками, карандашами; мать учила произносить букву «л»: он говорил ушадь, уожка; отец приходил с работы, она лежала; мальчик сидел на полу и строил водопровод — а она лежала, она всегда лежала. Теперь было ясно, что все происшедшее перед этим было в ином времени, в совсем другой жизни: память воспроизводила ту, прежнюю, память. Вернее, она полусидела, на одеяле были разложены ведомости, она переписывала бумаги для домоуправления, так как больше не могла играть на пианино. Но, как и прежде, он не различал ее лица. Он забыл его.

С некоторых пор он находился у родственницы, которую, как ни странно, помнил гораздо лучше, может быть, потому, что и это оказалось на периферии зрения; то была полная приземистая старуха в очках с такими толстыми стеклами, что глаза за ними походили на выпуклые глаза рыбы. В белом зубо-врачебном шкафу у тети были припасены фисташки; она уверяла, что они растут там, и мальчик верил.

В это время мать лежала в больнице и с ней там что-то делали. Что-то неинтересное. Веселые дни, без тени и облачка, счастье, струившееся из окон, ослепительный блеск стекол в доме напротив, хрустальный звон сосулек! Диван, на который он бросался с разбега! В один из этих дней, расплывшихся в голубизне, пришел отец, днем, когда его никто не ждал, в пыльном солнечном луче его лицо было залито дождем. Вот это он запомнил с пронзительной яркостью: дождь, струящийся по щекам, и сквозь эти потеки — голос отца, неправдоподобно тонкий и как будто хихикающий, голос, лепечущий смешные слова... Мальчик не может удержаться, он хохочет!

Но вдруг до него доходит их смысл, он валится на диван, кто-то сует ему подушку, пахнет зубным лекарством, голос тети: «Не трогайте, пусть выплечется», но как раз плакать он и не может, точно кляпом заткнули ему рот, глаза, грудь, ему кажется — он вот-вот разорвется. Наконец слезы брызжут наружу, он плачет долго и безутешно, потом он засыпает, побежденный усталостью и небывалой, никогда не испытанной головной болью. Здесь наступает большой провал — точно он проспал несколько месяцев; сразу после того дня, безо всякого промежутка, он видит себя стоящим в прихожей, в их теперешней квартире, с задранной головой, рядом с отцом. Тишина, горит свет. Свет, электрический или солнечный, всегда присутствовал в его воспоминаниях. Отец, вежливый и спокойный, договаривается об условиях с домработницей: это Полина, в платке, с темным лицом, незнакомая и враждебная, ничуть не похожая на ту, которая теперь.

\* \* \*

Ни отец, ни мальчик никогда не говорили о матери. Не упоминали о ней. Портретов ее не сохранилось (хотя сын знал, что в большом ящике письменного стола, на дне под кучей бумаг, лежит фотография. Он видел ее однажды мельком: заметив ее, он испытал стыд и смущение, точно ненароком заглянул в книжку с неприличными картинками, — стыдно, потому что мучительно интересно. Он, собственно, не знает, что они неприличны, но чувствует, что такими их считают взрослые. Но постыдное и священное — близнецы, и, может быть, это был трепет святотатца, приоткрывшего покрывало, чтобы взглянуть на то, чего никто не имел права видеть. Так и он не имел права смотреть на лицо матери, болезненно-доброе, в пенсне, с полукружиями разделенных пробормом волос.

Похожее или непохожее, он не знал. Но и отец, сколько помнилось, никогда не заглядывал в стол. Мальчик понял: нельзя было дать малейшего повода, по условиям этой странной игры, заподозрить, что кто-нибудь из них знает о существовании портрета). Даже в день, когда они ездили *туда*, — первое воскресенье апреля — закон молчания не нарушался; они завтракали, выходили на залитый солнцем тротуар, перебрасываясь фразами о постороннем; пустой трамвай долго вез их кривыми безлюдными переулками; во дворах, между деревянными домишками, чернели глыбы снега. Чем ближе к концу пути, тем меньше они говорили друг с другом; воцарялась глухая немота, сын смотрел в окно. Мальчик играл в игру, придуманную им самим: двигал вверх и вниз задвижку трамвайного окна, и от этого будто бы зависело движение трамвая.

Несомненно, вера, в которой мы себе не признаемся, вера в то, что умершие в каком-то смысле не умерли и наблюдают за нами, и боязнь огорчить умерших толкают нас на подобные поступки, заставляют совершать бесцельные паломничества к местам, по существу не имеющим к ним никакого отношения. Да еще тащить с собою детей. За купами деревьев возвышалось подобие прямоугольной трубы из камня или бетона, той трубы, которая совсем немного времени спустя стала эмблемой судьбы всего их народа. Отец нежился на солнышке где-нибудь на скамейке певдалеке, а сын брел вдоль стены, замороженный видом бесконечных мраморных и эмалированных табличек, белых и желтых, как старые зубы, и бесконечных, бесконечных лиц — стариков, взрослых, девушек, даже грудных младенцев. Невозможно было представить себе, куда они все подевались, где они уместились все. Среди них был и овальный медальон с лицом матери — мальчик лишь делал вид, что не знает о нем, проходя мимо него, он притворялся перед самим собой, что не узнает, — и надпись, составленная от его имени и от имени отца.

Итак, твердо предполагалось, что все происшедшее полтора (или два, или три) года назад, им забыто, и доказательством служило уже то, что он не спрашивал о ней, не интересовался, кому принадлежали кипы нот, так и лежавшие до сих пор на шкафу, — клавиры опер в твердых переплетах, «Времена года», распавшиеся собрания сонат и какие-то совсем ветхие обрывки — и почему не идут старинные часики в виде домика с дверцей, остановившиеся на другой день после того, как она в последний раз их завела: точно она одна знала секрет их завода. Впрочем, мальчик давно сломал пружину и потерял ключ. Ничего другого не осталось, никаких женских вещей: ни флаконов с духами, ни туфель, ни шпилек, как будто все шпильки до одной расплавились и сгорели вместе с ее чудесными блестящими волосами и черной стружкой вылетели из трубы крематория. И если даже что-то и брезжило в его памяти, предполагалось, что оно ничего для него не значит, что даже смысл поездок на кладбище ежегодно, в один и тот же день, до него не доходит: если бы вместо этого поехали в зоопарк, он бы не спохватился. Тетка склонна была винить в этой бесчувственности дурное воспитание. Полина, напротив (и даже несколько нарочито), умилялась певинной беспамятливостью детской души. Но в том, что он ничего или почти ничего не помнит, убеждены были обе.

Между тем еще одно, невероятное и необъяснимое воспоминание хранилось в душе мальчика: один день, даже не день, а вечер, и, должно быть, уже поздний вечер, но без границ во времени — вечный вечер, затопленный ослепительным электрическим светом. Рассказать его было бы невозможно; быть может, в нем соединились воспоминания многих вечеров; да он ничего толком и не помнил — одни голоса и улыбки, из бесконечной бездны времен до него доносился беззвучный, журчащий смех, и это был смех матери. Два лица, черты которых он не мог различить, два светлых овала склонялись над ним, и еще он запомнил край стола, крахмальную скатерть и круглый предмет. Много лет спустя, когда он осознал это воспоминание и охотился за ним в зыбком хаосе памяти, — так пытаются ухватить скользкую блестящую рыбу, — он догадался, что это был за предмет, лежавший на тарелке или на круглом картонном дне: торт или ромовая баба; но он никогда не любил сладостей, и в этом аквариуме света и счастья торт был только условным аксессуаром. Одинокая свеча, символизиру-

ющая жизнь ребенка, высокая и тонкая, возвышалась над столом, и тайна соединяла эти два смеющихся овала. И смех, и разговоры, от которых остался в памяти слитный звук голосов, блестящая, журчащая речь, и то, что было его матерью, блеск глаз, запах волос, и высокая, розовая, еще не зажженная свеча — все это виделось точно в глубине водоема, и чем старше он становился, тем уверенней знал, что это — было, а не приснилось ему. Каждая эпоха его жизни передавала это воспоминание следующей, и, повторяясь в зеркалах, оно мелькало и исчезало, как только он пытался всмотреться в него, неуловимое, но такое же реальное, хотя и недоступное словам, как какое-нибудь ощущение, исходящее из внутренних органов.

Как мог он сохранить память о временах, которые ни один человек не может помнить? И все-таки это было оно, начало его жизни, мелькнувшее и исчезнувшее, как тело змеи в траве, чтобы потом мелькнуть в другом месте, далеко впереди. Возможно ли помнить себя годовалым? Конечно, нет, и в конце концов он не мог бы ручаться ни за одну подробность; тем очевидней, однако, было ощущение несомненной реальности целого. Но тут было еще одно, о чем мы не сказали: навязчиво-абсурдное чувство, в котором прозревалась важная для него истина, подобная истинам вещего сна или истинам тела, — а именно чувство, будто мать и отец были некогда одним существом, так сказать, отцематерью. То есть, собственно, была одна мать, в которую, словно в чашу, был каким-то образом погружен отец, и лишь потом они отделились, и обнаружилось, что между ними — возникший из небытия он, мальчик. Тут было сходство с рождением планет, и однажды, много позже, ему пришло в голову это сравнение, но то были уже времена, когда чувство начало выцветать под мертвящим светом разума. Ум относится к ключьям воспоминаний, как он относится к ключьям сна, не находя в них логической связи, а главное, не понимая, что в них, в этих клочках, почему именно им отдано предпочтение. Почему запомнился этот вечер, а не другой, почему нам снится случайное, ради какой надобности ожило во сне давно истлевшее воспоминание о человеке, по-видимому не сыгравшем в нашей жизни сколько-нибудь значительной роли. И, однако, в этих клочьях брезжит некий смысл. Отец и мать были единым телом, они возникли из одного светящегося существа и должны были разъединиться, чтобы возник он; они разошлись, как половинки шара, и между ними лежал мальчик. Тогда, глядя на свечку и ромовую бабу, он еще помнил, что был частью их. Такова была эта странная космогония, таким мог быть необъяснимый ход мыслей мальчика, если бы смутное ощущение превратилось в мысль.

### 3. ВЕЩИ. ЕЕ ВЫСОКОРОДИЕ

«Ма. Расскажи о море».

«Да уж я рассказывала».

«Еще!»

«Чего ж тебе рассказывать, если ты все считаешь обманом».

«Видишь ли, — мальчик говорит голосом, похожим на голос отца, — видишь ли. Сказки тоже обман. Но мы их слушаем с удовольствием. И... на минутку верим».

«Если веришь, — сказала Полина, — значит, было на самом деле. Не веришь, то и не было».

«Может быть, — перебивает мальчик, хмурясь, как всегда, когда ему надо подыскать объяснение необъяснимым фактам, — может быть, он стоял на доске?»

«Ну, чего болтаешь. Какая доска?»

«Или на плоту. Как Том Сойер».

«Я не могу с тобой спорить. Я не учена».

Вздых.

«Вот пристал. Пристал, как банный лист». Это тоже выражение отца, которого они оба копируют.

И все же ей приятен этот разговор, ведь мальчик единственный собеседник, который способен отнестись к ее рассказу с абсолютной и непритворной серьезностью. Это не значит, что он воздержится от критики, цель которой — сделать более правдоподобными некоторые детали. Она знает почти наверняка, что повествование будет прервано неподобающими вопросами. Возникнет теологический диспут, в котором она не сумеет удержаться на должной высоте. Но другого такого случая у нее не будет.

При этом, как всегда, она испытывает внутреннюю борьбу. Не в том дело, что Бог и Евангелие — обман, а по ее мнению — правда. У нее достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что большинству людей и властям до Бога не было бы никакого дела, если бы самому Богу не было никакого дела до людей. То есть если бы он оставался у себя на небесах. Его соглашаются терпеть лишь при условии, что он никуда оттуда не двинется. Тогда про него забудут. Бог, он вроде раскулаченного, все добро отняли, лишен всех прав; пусть еще спасибо скажет, что жив остался. И пусть бы себе сидел где-нибудь там высоко. Но ведь на то он и Бог, чтобы жить среди людей, без людей он не может. Его, как бы сказать, сослали, а он самовольно вернулся. В этом и заключается его преступление перед советской властью. И во все это она впутывает мальчика. Что сказал бы отец? Все равно, что совать ребенку папиросы.

В глубине души она знала, что то, что записано в Евангелии, и то, что говорится по радио и о чем пишут в газетах, — вещи несовместимые. С одной стороны, Спаситель, грех и искупление, а с другой — Ленин и Сталин, склеенные щеками; как это согласовать? Да никак. И она понимала, зачем понадобилось разрушать церкви и арестовывать попов. Затем, что нельзя служить Богу и черту в одно и то же время. Но она не могла это выразить в четких определениях — да и не решилась бы, — и это служило ей оправданием перед самой собой. Сама того не подозревая, она осознала великую истину: нельзя формулировать идею до конца, иначе жить будет невозможно. В ее душе, жаждущей гармонии, произошло великое примирение Христа и советской власти. И ведь вот, например, Елоховская церковь все еще работает. Значит, можно...

Здесь уместно будет сказать несколько слов о политических воззрениях Полины. Разумеется, она никогда их не выражала — сделаем это за нее. В памяти Полины запечатлелись две эпохи, одна из которых — нэп — представлялась ей золотым веком, другая же, последовавшая за ней, казалась необъяснимым провалом истории, в сущности, ее следовало просто забыть. И она испытывала искреннее сочувствие к власти, взвалившей на себя бремя забот о благосостоянии народа. Вместо того чтобы строить счастливую жизнь, она, эта власть, вынуждена все время отвлекаться. Мешают разные шпионы, диверсанты — остатки помещиков и капиталистов. А главное, приходится отвлекаться, чтобы кормить ленивый народ, которому надоело пахать землю. Все норывают в город, на все готовое. Социализм давно уже был бы построен, если бы не этот народ. С этой точки зрения народ представлялся неоплатным должником государства. И поскольку она сама до некоторой степени принадлежала к тем, кому наскучило пахать, она ощущала нечто вроде комплекса гражданской вины перед властью.

«Ма, — просит мальчик, — расскажи о море».

Она начинает — медленно и осторожно, словно сама входит в воду, прозрачную и холодную. Она рассказывает так, как будто речь идет о каком-нибудь таинственном приключении в тихом деревенском захолустье, таинственном и в то же время будничном. Хотите — верьте, хотите — нет, а люди своими глазами видели. Ну, так вот...

«Шли они, шли...»

«Кто — шли?»

Не успела она начать, как он уже переспрашивает. И не потому, что не знает. Наоборот: он все знает наизусть, все подробности. Но он уже живет в рассказе и хочет расположиться в нем с максимальным комфортом. Мальчик — формалист, как все дети: ему нужно, чтобы все было названо. Все графы должны быть заполнены.

«Да, так вот. Погода жаркая, притомились. Подходят к берегу».

«Это было море?»

«Да. Или озеро. Но большое, берегов не видно».

«Глубокое?»

«Конечно. Подходят к морю... А им нужно было переправиться на другую сторону. Достали лодку, сели и поехали».

«Постой. Как же они все уместились?»

Замечание справедливое. Но оно сделано не для того, чтобы разрушить рассказ, а для того, чтобы утвердить его достоверность. Реалистические подробности! Закон эстетики. Тогда чудесное на этом фоне будет выглядеть еще поразительней.

«Вот так и уместились. Лодка была большая, а что тут такого? У нас в селе один перевозил через речку, баркас знаешь какой у него был? Человек пятнадцать посадит, и еще место останется».

«Дальше рассказывай».

«Да. На чем я остановилась? Да, так вот... Сели в лодку, а он остался. Не захотел с ними ехать. Вот они плывут, а уж и солнышко закатилось. Берега не видеть. Поднялся ветер».

«У них был парус?»

«Не знаю. Кажется, нет».

«Это глупо, что они не взяли парус».

«Ну, не взяли, что я могу поделаться. Сильный ветер гнал волны по морю. Лодку так и швыряет. И стало им страшно...»

Мальчик смотрит на нее круглыми глазами. Эффект достигнут. Он смотрит ей в рот, он видит перед собой туманное море и высокую белую фигуру над волнами.

«Вдруг апостол Петр говорит: А что это там виднеется? Они все посмотрели: и правда, кто-то к ним приближается. Вроде бы человек идет по воде... Подходит ближе. И видят, что это он. И глазам своим не верят. Нет, говорят. Это — привидение. Это у нас в голове от страха мутится. Кто это, кто это? Нет, мы просто сошли с ума. А лодку так и бросает. Брызги летят. Сидят все мокрые. Тут Иисус поднял руку и говорит: Не бойтесь. Я не привидение. А они ни в какую. Не верят».

«Очевидно, плохая видимость», — пробормотал мальчик.

«Чего?»

«Дальше, — приказал он, понимая, что навигация — не женского ума дело. — Рассказывай про Петра».

«Да. Вот, значит, апостол Петр вдруг расхрабрился и говорит: Господи! Если это взаправду ты, то вели, чтобы и я к тебе пошел по водам».

«Ему тоже захотелось попробовать?»

«Он хотел показать, что он самый лучший ученик. Дескать, другие сомневаются, а он верит. В общем, убедил себя: вот встану и пойду».

«Понимаю, — сказал мальчик. — Хотел испытать силу воли».

«Господь из моря ему говорит: Ступай. Он встал и пошел. Вот так: шаг, другой — и пошел. Когда человек верит, то так оно и есть. И Господь ему издали улыбается».

И все бы хорошо, да Петр вдруг испугался. Глянул себе под ноги — башушки, страсть какая. Кругом вода. И от лодки далеко, и до Иисуса далеко. Как же, думает, ведь потону. И только он это подумал, сразу пошел на дно».

«Его вытащили?»

«Вытащили, — сказала Полина с благодушным презрением. — Небось, не утоп. Вымок весь аж до костей. Трясется. А Господь ему и говорит: Эх ты, мол. Куда ж ты полез? И только вошел к ним в лодку, как и ветер утих. И берег показался. Вот тебе и вся сказка».

Подумав, мальчик сказал:

«Постой, тут что-то не то. Ты сама говорила, в лодке было тесно. Где же он там поместился?»

«Я этого не говорила», — возразила она.

«Нет, говорила, я сам помню».



«Да не говорила я!»

«Нет, говорила. Говорила».

\* \* \*

Казалось, мальчик весь был устремлен в будущее: именно таким, будущим человеком, он был для взрослых, в глубине души не допускавших мысли, что он уже сейчас — человек, то есть нечто осуществившееся. Им казалось, что он ежедневно готов принять меняющийся мир, без сожалений отказаться от себя, что душа его во власти формирующих сил, а память — лишь тонкая пленка на зыблущейся поверхности, готовая каждое мгновение разорваться, подобно тому, как его телесная оболочка непрерывно взрывается изнутри силами, преобразующими его плоть. Отсюда вытекала пагубная безответственность взрослых, не склонных придавать значения духовному достоянию мальчика и не умеющих ценить его ценности. Отсюда происходило их убеждение, что мир, в котором он живет, это мир несовершенный, гротескно-упрощенный, плоский и лишенный перспективы, наподобие детских рисунков. И с той же улыбкой, с тем же снисходительным презрением, с каким Робинзон смотрел на приближающегося к нему, приплясывающего и творящего магические жесты Пятницу, взирали они на жизнь мальчика в двух загроможденных рухлядью комнатах московской квартиры конца тридцатых годов, — на его мечи, копья и амулеты, сваленные в углу, бумажный флот в темной нише под письменным столом, подлинным приюте его души, где, посвечивая в сумраке широко открытыми глазами, он умолкал, погружаясь в загадочную медитацию. Для взрослых это сидение под столом означало лишь упорное нежелание заняться разумной деятельностью; но какую разумную деятельность они могли противопоставить его жизни? Он предпочитал «обирать пыль».

Он пробуждался. Вчерашний хлам, истинная пыль времени, мелодраматизм судебных процессов, громыханье газетных передовиц обретали новую, в некотором смысле более долговечную жизнь в его неуклюжих изделиях, в его фрегатах и галеонах. Мальчик вел свои корабли в туманный океан. На помощь! Там, «за далью непогоды», погибал, охваченный пламенем, флагман «Адмирал Нельсон». То горел искупительным огнем прокурор Вышинский вместе со своими обвиняемыми. Неожиданно дверь открылась, и вошла Полина в пальто, с хозяйственной сумкой, лицо ее выражало сосредоточенную тревогу. Комната была полна дыма. Мальчик сидел под столом, внезапное смещение координат мгновенно мобилизовало его сообразительность: следы преступления были уничтожены, широкая мокрая полоса от половой тряпки удачно маскировала выжженное пятно. Но дым его выдал. Ужас и смятение Полины. Кашель мальчика из-под стола. Обгорелые клочки газеты на тряпке. В этот кульминационный миг разоблачений ей вдруг стало жалко его. Вот так всегда: Бог знает, что пробуждает в ней эту жалость, может быть, предчувствие неотвратимых бед, которые еще ждут его. С той же превосходительной добротой Робинзона она растелила коврик, отворила окно. Отец заметил пятно на полу лишь несколько недель спустя, когда острота события давно притупилась.

Когда он «осознал». Такова была обычная версия взрослых, с их презумпцией прогресса, который они понимали как непрерывный самоотказ. Они могли великодушно простить ребенку шалость или покарать его в воспитательных целях, но им и в голову не приходило признать за ним то, что они молчаливо предполагали естественным в самих себе — самодовлеющую экзистенцию. Они думали, что он переживает свое детство как тесную оболочку. И почти намеренно закрывали глаза на непонятный им в мальчике консерватизм достигнутого.

Этот консерватизм непостижимым образом распространялся на быт. Быт, можно сказать, служил его инобытием. Мальчик не любил гулять, огромный город не манил его, он с удовольствием проводил весь день дома, с замечательным искусством симулировал насморк. Угрюмо и настороженно посматривал на пришельцев. У него были любимые блюда, он готов был есть их каждый день. Пристроившись на краю стола, он рисовал одно и то же: рыцарей, змей. Он не

ведал скуки, не знал пресыщенности. Власть мелочей он воспринимал как опеку и защиту, он дружил с вещами. Не чем иным, как выражением этой дружбы, был ужасающий беспорядок, посреди которого он жил, ползал по полу, отвернувшись от взрослых, что-то мастерил, с царственным равнодушием внимая ядовитым проповедям тетки, ядовитым, потому что они должны были, отскочив от его затылка, рикошетом поразить Полину, неспособную приучить ребенка к аккуратности. Мальчик давно привык к тому, что он служил чем-то вроде отражательной поверхности, при помощи которой взрослые обменивались мнениями друг о друге.

Странное значение, которое, по-видимому, он приписывал окружающим его предметам, лишь утверждало незыблемость домашнего мира; в этом мире он жил удесятеренной жизнью, оттого-то никто, как он, не был так привязан к семейному статус-кво. В мальчишке жило предчувствие того, что будущие завоевания ампутируют его свободу. Или он в самом деле догадывался, что то, что взрослые люди полагали реальным и важным, была весьма сомнительная важность, весьма подозрительная реальность, если не просто небытие — умерщвленная жизнь? Тогда как он, в тесной оправе убогого быта, был воскресением этой жизни. И, может быть, служил ее оправданием. Но в этой оппозиции миру взрослых у мальчика был союзник. Похоже, что Полина, с ее простотой, лучше других понимала его. Для нее он был одно настоящее, она ничего не требовала, не ждала будущего, не хотела и страшилась его, хоть и верила, как все взрослые, что будущее — это некое совершенство: ни к чему ей было это совершенство. Культурные ценности были для нее вещь в себе, с которой она не знала, что делать. Вместе с мальчиком, не желавшим никаких новшеств, она находила убежище в раз навсегда очерченном домашнем кругу, и ее смирение было не чем иным, как скрытой враждой к рационализму взрослых, к их жестокому миру, в котором она была изменницей. Она не требовала, чтобы он разучивал все новые и новые упражнения, читал книжки и совершенствовал свою речь. Ее не коробило, когда он говорил «чего» вместо «что». Сама она говорила на неуклюжем и ласковом языке, на котором говорит народ. С ней было легко и свободно, как в старом костюме, в котором не запрещают валяться на полу. Одним словом, с ней можно было оставаться *маленьким*. В мире ребенка Полина была свой брат.

Он отвечал ей на свой манер — высокомерием. Десять раз она его звала к столу — он делал вид, что не слышит. Нужно было униженно просить его вымыть руки: дань ритуалу, заведенному взрослыми, который оба они должны были выполнять. Он был несносен, он помыкал ею! Он знал, что в этом поезде он почетный пассажир и без него поезд не тронется. Но взрослым было невдомек, что вот это-то самое «назло», стеклянный взгляд и окаменелое сидение на полу, что это и есть доказательство близости. Понимая это, она не огорчалась его непослушанием. В сумерках он неожиданно осыпал ее поцелуями, его глаза блестели от слез. После этого он неожиданно больно и жестоко щипал ее. Полина была свой брат, отец же был иноземным послом, перед которым представляли в парадных одеждах, с которым приходилось быть «большим». Но это тоже вознаграждалось — и как!

\* \* \*

Выходной день принадлежал ему целиком, от пробуждения до вечера, и через тридцать лет он помнил во мгле идущий снизу, от Сретенских ворот, трамвай, два огонька — лиловый и красный — и эту непостижимую зоркость, с которой отец видел, называл номер трамвая, едва лишь показывались его огни. А загадка объяснялась просто: каждый цвет обозначал определенную цифру. Все это связывалось вместе и тридцать лет спустя выглядело как стройный рассказ: и снег, и меркнущий фиолетовый день, и пепельно-розовая стена Китай-города, и белые плащи тевтонского войска. Как океанский вал, они приближались, катились прямо на нас. Уже были видны конские головы, закованные в железо. А мы стояли у Вороньего камня, под прямоугольным, негнущимся штандартом князя Александра Невского, и похлопывали себя по бокам рукавицами. Перед нами в

снежной мгле расстилалось бескрайнее озеро, дул ветер, поднималась метель, на нас катились рыцари, шли немцы, а мы похлопывали рукавицами и пританцовывали, так не терпелось нам поскорее принять бой. Отец сидел рядом с мальчиком и, казалось, волновался не меньше, чем он. Рыцари пошли на дно. Князь заклеил позором врагов народа, троцкистско-зиновьевскую банду, на том стоит и стоять будет русская земля, и кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Все восторженно зааплодировали. Тогда еще было принято аплодировать в кинотеатрах. И вдруг, когда он был еще полон до краев пережитым, переполнен увиденным, вдруг обнаружилось несчастье: исчезла шапка мальчика, шлем из поддельного барашка с кожаным верхом, купленный за дорогие деньги. Зал опустел, и билетерша сурово ждала у распахнутых дверей, а они все еще искали ее под стульями. И потом в глухом молчании шагали вдвоем сквозь лиловый сумрак, в ртутном сверкании снега. Старая шапка отца моталась на голове у мальчика, и славный князь поник, точно из него выпустили воздух, что-то грубое и наглое вторглось в их жизнь. Но оно не нарушило связность рассказа, и вот, тридцать лет убедили его, что детство, оставшееся вдали, как зеленеющий материк, детство — только оно и было его подлинной жизнью.

Когда, на каком повороте произошло крушение, он не знал. Ему казалось, он растет и мужает, а в это время с ним совершалось что-то страшное; как оперируемый под наркозом, он перенес это незаметно для себя, шелест времени усыпил его. Так пациент пробуждается от нестерпимой жажды и нового чувства: у него больше нет ног. Прошлое ампутировано и уже не принадлежит ему.

Тридцать лет спустя мир предстал разбитым вдребезги, вещи — враждебными, люди — равнодушными друг к другу. И он понял, что владел тайной и тайна эта была — смысл жизни, воплощенный в гармонии всех вещей. Сколько бы потом ни говорили ему об этой гармонии, он не мог ее ощутить, потому что не видел больше союза между собственным бытием и существованием мира; мир в лучшем случае оставался равнодушен к нему. Никому не было до него дела, и вычеркнуть из мира его никому не нужную жизнь для неведомого Хозяина было таким же пустяком, как чиркнув спичкой, поддержать ее с минуту и швырнуть прочь.

С тех пор никогда день его не был таким бездонным, никогда больше ночи не были мгновенным забвением и никогда истина бытия не была ему так близка. Словом, только тогда он был в полном смысле слова человеком. Детство подобно средним векам. В расшитом плаще, окружив себя диковинной утварью, оно жаждет чуда и вперяет широко раскрытые глаза в пространство, окликающее его тысячей голосов. Цветущее средневековье, презревшее рассудок ради прозрения, убогий рационализм — ради высшего разума, оно чувствует связь всех вещей. Детство — чародей, одетый в мантию астролога. И вот отчего так впечатались в память мелочи быта: оттого, что они не были хаосом бесчувственных предметов. Как мелодия делает необходимым каждый звук и как бы предсуществует по отношению к составляющим ее звукам, так гармония мира, в котором жил ребенок, придавала смысл каждой подробности. И его инстинктивное убеждение в том, что мир строен и симметричен и что он — центр этого мира, было вполне подобно уверенности адепта в том, что сферы изливают на него отовсюду свет и планеты скрещивают на нем свои лучи.

Глухо хлопнула старая парадная дверь — он вбежал в дом своего детства. Через много лет он вдыхал затхлый холод подвала, запах пыли, известки и обросших паутиной проводов. Одним прыжком перелетел он через три вогнутые, отполированные ступени, ведущие на площадку первого этажа. Ему не приходило в голову, что несколько поколений жильцов вытоптали эти углубления в камне, прежде чем он появился на свет. Он читал пожелтые тексты на доске объявлений:

«Трудящиеся, вступайте в ряды МОПР».

Хотя ему объяснили, он толком не понял, что это значит; объяснение было маловразумительным, однако в мире мальчика эта надпись имела все же свой смысл — символический и декоративный, тогда как для взрослых она как бы вовсе не существовала.

«Совместной борьбой добьемся освобождения тов. Тельмана».

Кто такой Тельман? Он и этого не знал. Но Тельман обрел бессмертие. Потому что — как знать? — может быть, в этом и состояло его высшее предназначение: стать частью воспоминаний о полутемной лестнице детства. Может быть, только она, эта лестница, спасла Тельмана от забвения. Рядом висело воззвание к квартиросъемщикам, своевременно не вносящим квартплату. Без сомнения, это были те же люди, которых приглашали вступать в МОПР и добиваться освобождения Тельмана. Равноценность всех трех призывов, одинаково тщетных, была очевидной. Но в воспоминаниях они излучали спокойный, тусклый свет вечности. Цепляясь за железные прутья перил, мальчик зашагал вверх по торцам лестницы, ведущей на второй этаж, потом сел верхом на перила и съехал вниз на животе, навсегда запомнив ощущение скользкого гладкого дерева в паху. Он очутился снова на площадке первого этажа, перед дверью, подпрыгнул и успел нажать на белую пуговку. Звонок тренькнул, он прыгнул еще два раза. Получилось три звонка. Дверь медленно приоткрылась как бы сама собой, натянулась цепочка, и оттуда на него поглядело такого же роста, как он, старушечье личико. И он понесся, танцуя, по тусклому коридору.

Квартира: ее можно было бы описать языком одних запахов, для этого бы понадобился особый алфавит, где каждый знак обозначал бы запах керосина, запах жареной рыбы, запах кухонной раковины, запахи корыт, свежевыстиранных носков, фотографий в комнате Марьи Александровны, запахи тоски и бедности, пыли и света, счастья и надежды, что завтра жить будет еще веселей. Запахи, словно иероглифы древнего исчезнувшего языка, заключили в себе всю эту умершую эпоху; этот язык был точнее всякого другого и понятней любых описаний. Мальчик бежал вприпрыжку по коридору, и запахи кухни оседали в его мозгу, чтобы тридцать лет спустя напомнить о том, каким он был когда-то. Только мелодия может соперничать с запахом, но язык музыки, хоть и знакомый, еще не стал языком души. В конце коридора дверь вела в «наши комнаты».

Наши комнаты! То, что стало анахронизмом, от чего давно отвыкли нормальные люди, евреи повторяют с параноическим упрямством; не в силах отказаться от архаического словоупотребления, они твердят *мой дом, в моем доме* тем настойчивей, чем меньше их жильё отвечает этому почти религиозному идеалу. Никогда еще в нашей просторной стране не было так тесно. И мальчик не догадывался, каким, в сущности, необъятным подарком небес было то, что он с отцом и две женщины роскошествовали в двух комнатах. Даже в трех, если считать прихожую.

То была крохотная, пестро оклеенная каморка, где двадцатисвечовая лампочка разбрызгивала по стенам болезненный свет. Над головой висели колеса велосипеда, одно колесо всегда покачивалось, доказывая этим факт вращения земли. За линялой занавеской помещалась девическая кровать Полины. Из прихожей вы попадали в собственно первую комнату. Тут стоял запах шоколада: его источал темный паркет, натертый воском. Старый диван с двумя вдавлениями, напоминающими ложе для громадного арахиса, — казалось, так отпечатались на нем могучие выпуклости тетки. Буфет — в его граненых стеклах навеки застыло отражение мальчика с занесенным над струнами смычком. Память обнюхивала вещи одну за другой, как старая собака. Вторая комната, два окна. Кровать и, наконец, он сам, он просыпается, смеясь и подсматривая одним глазом, как отец с вознесенным подбородком, перед крошечным зеркальцем в шкафу, затягивает галстук. Гишина, утро, штопаные гардины, белое небо, и в окне колеблется краешек флага, красный с черной каймой. Траурный флаг, о радость!

Кто-то опять умер. Праздничные, окруженные рамкой газеты. В цветах, обрамленный глазетом, с орлиным носом, с коротенькими ручками и высоким животом лежал на этот раз Орджоникидзе. Кругом вожди. Сейчас они возьмутся все вместе, как они всегда это делают, понесут и вставят его в кремлевскую стену. Мальчик сидел на широком подоконнике в одной рубашке, погруженный в молочные грезы, теребя свою маленькую плоть. Глаза его созерцали пустоту. Мальчик не подозревал, что он воздвиг свой храм над руинами. Он воздвиг его и на необитаемом острове, и в городе, охваченном чумой. Ибо чем, как не

развалинами, пылью и щебнем рухнувшего мира были все эти вещи, да и люди, беззвучными тенями сновавшие посреди непрочных вещей. Был такой случай. В коридоре стояла тумбочка, укрытая плюшем, его проплешины походили на выжженный мох. Плюшевая накидка так и просилась стать бархатной мантией: с мечом на бедре, в буденовке, он одновременно изображал всадника Революции и короля Ричарда Львиное Сердце, во всех веках он чувствовал себя одинаково уютно. И он принялся потихоньку вытягивать скатерть из-под телефона. Неожиданно дверца тумбочки вывалилась наружу вместе с замком. Мальчик раскрыл рот. Он сидел на полу среди распавшихся альбомов, рассыпанных открыток... «Ее высокородию». Нет, даже не ее, а ЕЯ. «В собственном доме...» В эту минуту вокруг него валялся мир, разрушенный до основания, на чьих осколках он вырос, точно голубоватый росток в расщелине могильной плиты, и о котором он не подозревал. На этих твердых картонках стоял адрес, их адрес, начертанный тонким и твердым пером. Весь дом с его лестницами и квартирами, черным ходом, парадным подъездом, с трудящимися и Тельманом — был ее *собственным*, и ессе homo! — вот этот человек! — она была еще жива!..

Однажды он застал ее в уборной. Она стояла там в темной старушечьей юбке. Она забыла накинуть крючок. И о, какой смертельный испуг изобразился на ее лице, в ее глазах, точно он прибежал ее удавить. Костями трясущихся рук она поддерживала одежду.

Телефон зазвонил. Он звонил и звонил, но мальчик был занят: наморщив лоб, он отколупывал марку с двуглавым орлом от почтовой карточки. Впрочем, все содержимое старой тумбочки было старательно упрятано, дверца прилажена на место. На голове у него был бумажный шлем с намалеванной красной звездой. Телефон звонил. Полина замешкалась на кухне. Наконец приоткрылась каморка, первая от парадной двери, рядом со счетчиком. И Марья Александровна, карлик на сросшихся ногах, ее высокородие, вышла в коридор, шаркая и влача на спине, словно гробовую крышку, свой горб. Итак, весь дом, густо заселенный жильцами, был подобен ковчегу уцелевших после потопа: люди, которые двадцать лет назад не могли бы встретиться друг друга даже на улице, как морские обитатели не могут встретиться с жителями лесов, теперь оказались в соседних комнатах, снимали трубку одного и того же телефона, спускали воду в одной уборной и бок о бок, как равные, стояли на кухне возле злобно шипящих примусов.

#### 4. ПАССАЖИР СОБСТВЕННОГО ТЕЛА

Однако следовало бы уделить внимание и отцу мальчика и обзреть вещи, так сказать, с противоположной точки. Сопоставление взрослого и ребенка всегда содержит элемент нарочитости, невинность детства, воспринимаемого, как анахронизм, очевидным образом вызывает к снисхождению, быть может, даже к состраданию. В партии с ребенком полагается снять ладью, если не ферзя. Но на самом деле в сострадании нуждается взрослый, и еще неизвестно, кто кому должен дать фору.

Проснувшись за минуту до звонка, Илья Ильич чувствовал себя усталым, точно день, предстоящий ему, был уже прожит. Нет, не прожит — отбыт, сброшен с ног, как забрызганные грязью калоши. Эти калоши будут ждать его всю жизнь: каждое утро — один и тот же мутный, неотличимый от вечера рассвет. Мысль о том, что надо идти на работу, тоскливое чувство безвыходности, то, которое через тридцать лет станет обычным ощущением миллионов людей, это чувство подавило в нем все другие чувства и мысли. Он лежал — или уже сидел, это все равно, — с видом человека, у которого переломан позвоночник. Конечно, это чувство уйдет, уступит место деловым заботам, мужскому чувству достоинства и мистическому сознанию долга. Будильник загремел под ухом, как мотоцикл. Объятый ужасом, Илья Ильич задавил его, дрожа от внезапного сердцебиения. Мальчик спал, по своей привычке, на животе, закинув руки под подушку.

В соседней комнате ходила Полина. Дальше все происходило в гипнотическом и все убыстряющемся полусне-полубодрствовании. Не он — его тело — боялось опоздать, торопилось и тормозило безучастный мозг. С намышленной щечкой Илья Ильич уставился совиным взором в зеркало. Звук жестяной трубы ненадолго вывел его из забытья. Остаток пионерской зорьки пошел на умывание. Чай — или что там. И уже одетый, в кепке и брезентовом плаще, он метался по комнате, забыв что-то сделать, что-то положить в портфель.

И, наконец, калоши. Семимильные сапоги: стоило ему вколотить в них ноги, как они вынесли его на улицу. Улица подхватила его под руки. Вбежав в комнату, Полина всплеснула руками, найдя недоеденный завтрак. Радио заорало «На просторах родины чудесной». Поток пешеходов нес Илью Ильича к остановке. Город встретил кругами луж, в окнах домов еще горел свет, трамваи шли друг за другом, то и дело останавливаясь и отчаянно звоня, люди гроздьями висели на подножках. Толпа сомнамбул заворачивала с площади в узкий, темный, как ущелье, Фуркасовский переулок, слышалось упорное, торопливое и безостановочное, как дождь, чмоканье калош, кирзовых сапог, дамских бот. Одно стремление владело всеми этими людьми — скорей вломиться в подъезд, снять номерок, втиснуться в лифт, доехать, добежать! Скользнуть в углубление между стулом и письменным столом и успеть протянуть руку к костяшкам счет, прежде чем раздадутся роковые три сигнала точного времени.

\* \* \*

Илья Ильич шагал по коридору. Шагал не он, шагало его тело, но уже совсем другое, бодрое и упругое, оно помахивало папкой для деловых бумаг. Сзади и спереди шли сослуживцы, все шагали в одном направлении. Гуськом входили в кабинет начальника главка.

Одни бывали в этом кабинете каждый день, другие — раз в месяц, иные еще реже, но сегодня все чувствовали себя уравненными перед грозным накатом событий. Таинственная и будоражащая новость, хотя никто о ней не говорил, никто не показывал виду, что догадывается о ней, распространилась мгновенно, может быть, потому, что к ней уже были внутренне готовы — в сущности, ее ждали. И в толпе, входившей с почтительной робостью, со сдержанным достоинством, не спеша и не мешкая, по стенке, с папками под мышкой, единственная цель которых была показать, что никто ни о чем, кроме как о делах, не помышляет, в этом шествии честных, прямодушных тружеников, высматривающих местечко где-нибудь не на виду, не было сейчас ни старших, ни младших, не было приятелей и врагов, Анны Ивановны и Ивана Степановича, не было даже мужчин и женщин; все старались походить друг на друга, мужчины потупляли глаза и, сами того не замечая, поджимали губы и покачивали бедрами, женщины шагали размашистой походкой, подняв плечи. Все превратились в кого-то промежуточно-безупречного и стоящего вне подозрений. И толпа стала одним человеком. Этот человек дисциплинированно входил, рассаживался, устремлял глаза вперед. Он изображал внимание, одобрение, ошеломление, непреклонную решимость и праведный гнев — а на самом деле ничего не чувствовал: ни гнева, ни решимости, наоборот, был доволен, что ему ничего не надо решать.

В этом коллективе, который представлял собой уменьшенное изображение народа, застигнутого врасплох в его «исторический час», — мы бы сказали: псевдоисторический, — как-то само собой установилось, что подлинная жизнь, состоявшая в том, что все эти женщины изо дня в день поднимались на рассвете, разжигали примуса, бранились с соседями, тащили в ясли сонных детей, изо дня в день мыли и стирали, толкались в магазинах, мучились от кровотечений, смотрелись в зеркало, ревновали мужей, словом, жизнь как она есть — здесь не имела значения и даже скрывалась как нечто недостойное народа, ежедневно рапортующего о своем счастье и желании трудиться еще лучше. Высокие чувства неуместны в очереди за картошкой, они не согласуются с трехзначным номером, намалеванным чернильным карандашом на ладони; и невозможно рапор-

товать, стоя над корытом. И вот теперь эти женщины и мужчины, тридцать или сорок человек, пожилые машинистки с карминовыми губами, рыхлые кассирши, лысые бухгалтера, все они точно выставили перед собой громадный портрет, загородивший всех. И это картонное молодежливое лицо с собачьей преданностью, выпученными глазами смотрело на начальника, секретаря парторганизации и еще одного человека, сидевшего в углу, и готовилось картонными губами прошелестеть единодушное одобрение, единодушный гнев, картонной рукой отхлопать резолюцию, с готовностью открывало рот, чтобы затянуть «Интернационал» или там «Широка страна моя родная», готово было даже сплязать вприсядку, выбрасывая картонные ноги, если бы того потребовали обстоятельства. При всей своей мнимости и бестелесности этот человек-плакат обладал поразительной сметкой, всегда чувствовал, чего от него хотели, и моментально принаровлялся к обстановке.

Начальник главка сидел за массивным письменным прибором, высеченным из базальта. Две чернильницы с крышечками из желтого металла напоминали крепостные башки. За спиной у начальника знамя, распяленное на гвоздиках, хранило застоявшийся запах революции. Над ним висел в строгой рамке Товарищ Сталин.

Но сам начальник выглядел неважно, это был изможденный, изжеванный жизнью человек с высосанными бессонницей глазами. Темно-синий полувоенный китель казался слишком просторным для его костлявых плеч. За торцом стола, боком к присутствующим, сидела секретарь партийной организации, молодая женщина в белой блузке с просвечивающими бретельками лифчика. Она была только что назначена вместо прежнего, исчезнувшего неизвестно куда секретаря, и ее никто еще не знал.

«Товарищи! — с погребальной прямоотой произнес начальник. — На нашем сегодняшнем, внеочередном... — он постепенно удлинял расстояния между словами, — совещании присутствует товарищ... — Тут начальник неловко встал и, поклонившись в угол, промолвил: — Иван Акинфиевич, пожалуйста!»

Фамилия, которую он назвал, никому ничего не говорила, она была какая-то средняя, среднестатистическая, подчеркнута невыразительная, точно условная кличка или газетный псевдоним; но именно эта безликость придавала ей особую и глухую значительность. Немалый смысл заключало в себе и имя. Короткое, обрубленное и по-рабочему простое в сочетании с громоздким крестьянским отчеством, оно указывало на глубокую почвенную связь с народом — и притом с русским народом.

Товарищ из горкома партии встал и со скромностью, не терпящей возражений, отстранил предложение занять место за столом. Он ограничился тем, что взял стул и повернул его спинкой к себе.

«Я, т-аищи, кратенько».

На нем была защитная гимнастерка политического руководителя — правда, не высшего ранга, не было накладных карманов, но все же. (Начальник главка был всего только в синем кителе хозяйственника.) Вообще все в Иване Акинфиевиче было продумано до мелочей. Лицо его было среднее — достаточно молодое и в то же время бывалое. Лыдые глаза не заключали в себе никакой мысли, но выражали некое важное знание о жизни. Всем своим видом он показывал, что сам по себе он ничто (когда потом ему аплодировали, он аплодировал сам). Но его светлыми глазами смотрели другие товарищи из горкома, смотрела партия, его крепким военным голосом говорила идея, которая была выше всех людей, и потому он был — все. Взавшись правой рукой за ремень гимнастерки, левой опираясь на спинку стула, он застыл, и этот жест был подобен команде «смирно». Все застыли. Начальник главка мрачно ссутулился за столом. Секретарь, напротив, выставила грудь. Все смолкло, и голос Ивана Акинфиевича, крепкий и хрустящий, как кожаный ремень, ритмично сотрясал воздух.

«Как вы уже знаете, — начал он, — из газет, наша партия, лично товарищ Сталин, весь советский народ... Враги хотели...» И он развернул перед собравшимися картину борьбы пролетариата с остатками эксплуататорских классов. Стальные формы экономики и политики, вот истинная суть жизни, все осталь-

ное лишь придаток к этой основе и обманчивая внешность. Люди только делают вид, что живут своей жизнью, на самом же деле влекутся, как песчинки за волной, покорные своим классовым интересам. Мир прост. Два стана, два класса стоят друг перед другом, склонив каменные головы, как быки.

Голос оратора хрустел, подкрепляемый энергичным жестом, но все понимали, что эти рассуждения — лишь предисловие. Сейчас он скажет главное. И он сказал. Его фразы стали предельно короткими. Он уже не говорил, а как будто раскачивался под потолком. Раз — раз. Взмах, другой. Товарищ Сталин — доблестные чекисты. Максимальную бдительность — при подборе кадров. Темп убыстрялся, толпа сидящих, задрав головы и поворачивая глаза то влево, то вправо, с замиранием сердца следила, как он носится под потолком. Вдруг он умолк, повернулся к знамени и портрету и поднял слегка расставленные руки. Тотчас все отчаянно зааплодировали, и он сам, с каменным лицом, сдержанно похлопывал в ладоши.

Начались выступления. Парторг, поправив бретельку под блузкой, перебрала лежавшие перед ней бумаги. Потом вдруг громко, страстно заговорила, поправляя то волосы, то бретельку, о том, как она потрясена всем случившимся. Теперь было ясно, куда делся бывший секретарь, — о чем, впрочем, догадывались, — и ждали, что вот сейчас она скажет, что вражеская агентура протянула щупальцы и к нашему главному. За примерами недалеко ходить и т. д. Но секретарша в своей речи, хотя и горячее, ничего лишнего, то есть нового по сравнению с товарищем из горкома, не сказала. Все поняли, что ни бывший секретарь, ни другие имена не должны быть называемы по той простой причине, что их никогда не было, и все разоблачение именно в том и состоит, что все должны знать: их не было. Под конец слезы в голосе секретаря парторганизации высохли, он окреп и зазвенел. Она села.

Аплодисментов не было: необъяснимым чутьем нарисованный человек понял, что хлопать еще не время. Да и Иван Акинфиевич из горкома не хлопал.

Медленно встал начальник главка и одернул китель, как в иные дни одергивал гимнастерку на митингах гражданской войны. Воздел кулаки. Глаза его, окруженные тенями, мерцали лиловым огнем.

«Сурова! пролетарская кара...»

Тут он как-то некстати задумался, начал шарить руками по столу, искал забытое слово. Наткнулся на стакан с остывшим чаем. Потом голова его стала запрокидываться, лицо поехало на сторону, и с коротким всхлипом начальник повалился навзничь.

Все очень удивились. Начальник бился на полу, пожилая медсестра дрожащими руками расстегивала на нем китель. Кто-то побежал за водой, хотя чай стоял на столе. Над ним махали газетами, потом несли больного по коридору и по лестнице вниз. Было известно, что он болен, — результат контузии, — но уж очень не вовремя все это произошло. А может быть, наоборот: в самое время. Знал ли он, что и его часы достукивают последние дни, что через каких-нибудь две-три недели он присоединится к тем, кого не было? Собрание закончилось. В опустевшем кабинете уборщица ползала с тряпкой под столом: больной обмочился. Иван Акинфиевич отбыл. Его автомобиль, урча, катил по переулку. Ему предстояло выступить еще в трех местах — двух главках и одном научном институте.

Илья Ильич вернулся на свой этаж, вошел в комнату № 312 и сел за стол у окна, на свое место.

За окном был двор, узкий каменный двор учреждения: грязные окна, грузовик. Рабочие разгружают ящики, ставят их прямо в лужу перед крыльцом. Их лица выражали безразличие ко всему на свете.

Стол Ильи Ильича, как старшего в этой комнате, помещался с одной стороны, а с другой, стол за столом, сидели, словно ученики за партами, сослуживцы. Горел свет. Трещали арифмометры, изрыгая сгустки цифр. И эти цифры, которые когда-то были чем-то вещественным, деньгами или килограммами, накопленные трудом ли, обманом, но всегда в обмен на человеческую жизнь, человеческий пот, ум, изворотливость, — здесь, отброшенные на счетах и прокру-



ченные через арифмометр, теряли плоть, чтобы обрести символическое потустороннее существование. Беззвучными потоками, в дыму дешевых папирос, они текли и текли, как толпы умерших в загробное царство, из отчетов в ведомости, из ведомостей в сводки, чтобы потонуть в пропасти учета, превратиться в дым, в пар общих суммарных показателей. Предполагалось, что кто-то там, наверху, питается этим дымом. Но что могли сказать эти пустые оболочки, эти сухие скорлупки, эта лошадь — что могла она сказать о жизни? Каждый день видишь перед собой ряд склоненных голов, сутулых спин, черные нарукавники и пальцы, летающие по счетам. Если эти каторжники задумываются когда-нибудь над смыслом своей работы, что маловероятно, то, во всяком случае, каторжниками себя не ощущают: не догадываются, кто они на самом деле. Чтобы иметь терпение каждый день вот так садиться за столы и порхать рукою по счетам, нужно хотя бы подсознательно хранить веру в то, что твоя работа имеет какой-то общий смысл. Вот дождь за окном — это что-то реальное. И рабочие, хоть им и наплевать на все, в сущности живут куда более содержательной жизнью, чем он, вся работа которого состоит в том, чтобы нагромождать одну абстракцию на другую, да еще делать вид, что приносишь пользу народу и государству. Что такое государство, как не громадное учреждение, величайшая абстракция?

Но, может быть, все дело в привычке, в усыпляющей монотонности существования, к которой бессознательно стремятся люди и которая сама себе цель и награда. Спроси сейчас у этих людей: для чего вы тут каждый день сидите в папиросном дыму? какой смысл в вашем сидении? Они ответят: смысл в том, чтобы получать зарплату и снова сидеть, а иного нам не нужно. И этот ответ лучше всяких рассуждений выразит истину. Ибо люди жаждут замкнутости. Как они предпочитают сидеть в теплой комнате, а не мокнуть на улице под дождем, так и в своей жизни они хотят отгородиться от внешнего мира. Как те, кто пришел с совещания, стараются поскорее забыть все, что они там слышали, как они там все были проникнуты одним чувством, единодушным сознанием, что они *ни при чем*, что они — ни словом, ни духом, что они маленькие люди, ничего не знают, ничего не видели, и, слава Богу, отважным чекистам, латникам и соратникам, нет до них никакого дела, — так и все люди жаждут замкнуть свою жизнь в узкий круг и свести свою деятельность к однообразной череде обрядов, над которыми им не надо задумываться, смысл которых им в сущности безразличен. Все равно как если бы они переписывали изо дня в день книгу, написанную на непонятном языке.

Пальцы Ильи Ильича быстро выхватывали из папок нужные листки, вращали ручку арифмометра, он вставал и выходил к плановикам выверять сальдо, просил принести ему сводку за октябрь, рука его снова крутила ручку, он подписывал ведомости, словом, делал тысячу привычных дел, но его руки, глаза, все его тело давно уже научилось обходиться без него самого. Сам он сидел внутри себя и думал свое. Был аккуратный работник, неглупый человек, на своем месте. И был другой, тревожный и раздраженный, даже не человек, а злоеущий эмбрион без рук и без ног, который только и способен был все критиковать, во всем находить бессмыслицу, который был враг всему, но, слава Богу, никто его не видел. Это он, когда наступил обеденный перерыв, встал вместе со своим хозяином и вместе со всеми повлекся по коридору, сверлил, как зубная боль, мешал переброситься привычным словечком с Анной Ивановной, с Иван Степанычем, он пронизал все тело смутной тревогой; нет, он ничего не доказывал, ничего не предлагал, так было и так будет, шептал он, и ни на что иное ты не способен; юношей ты оставил родной угол, белорусское местечко, кладбище, где лежали поколения твоих предков, шапочников, портных, музыкантов, ты бросил все, тебя унес свежий ветер, тебя тянуло в большой город, ты бросил все и полетел. И что же? Твоя жизнь обернулась затхлой конторой. Тебя завели, и ты качаешься, как маятник, пока не иссякла пружина. Туда — сюда, домой — на службу.

Впереди шли две девушки, должно быть, продавщицы из магазина писчебумажных товаров, что на углу. Толпа уже теснилась перед входом в столовую с крутящимся вентилятором, исторгающим раздражающий запах подливки. Они встали в очередь. У девиц были простоватые широкие лица, и то, что светилось в

их ярких глазах, отнюдь не было мыслью, то, о чем они болтали, был сплошной вздор. О тряпках, о какой-то Марусе. Но Илье Ильичу казалось, что дело совсем не в словах. В конце концов, сказал он себе, ради чего все это: смех и ужимки, и блеск глаз, и поднота бедер под наброшенными на плечи пальто? Чтобы понести живое семя, зачать и родить ребенка. А они, сидящие за столами контор, что они производят? Пыль цифр, канцелярские бумаги. Вот для чего они каждое утро втискиваются в трамвай, лезут в лифт, сладострастно накручивают арифмометры. Цифры — их семя, которое они извергают на разграфленные листы бумаги...

\* \* \*

Мальчик открыл глаза в ту минуту, когда дождь за окнами прекратился: как будто бог детства провел ладонью по его лицу. Он был один и, взобравшись на подоконник, следил за прохожими острым заспаным взглядом. Домашний лар, чревоуещатель, тшечно взывал со шкафа, пытался завлечь музыкально-образовательной передачей. Натянув рубаху на голые коленки, мальчик смотрел в окно. Влага еще висела в воздухе. Прохожие торопились с зонтиками.

Брызнуло солнце, и стальная синь тротуара позвала к себе так, как только можно звать в детстве; старый кирпичный дом наискосок, где кончался переулок, порозовел и зажегся, все его окна засверкали, прохожие спешили обнять друг друга. На углу возле почтового ящика молодой нарком Ежов стоял в ежовых рукавицах, а рядом с ним насквозь промокший Ворошилов в остроконечной шапке сжимал в руке винтовку с широким штыком, похожим на кухонный нож. «Климу Ворошилову письмо я написал», — сказал мальчик, четко произнося слова.

Еще капало, еще струилось из водосточных труб; из их широких, как писсуары, раструбов текла на тротуар жидкая синька, текло серебро; и Надька, дочь дворника, вышла плясать босиком в лужах. «Та-чить ножи-ножницы, бритт-вы прavitь!..» — запел, дрожа от счастья, голос точильщика со двора. В эту минуту с высот от повернувшейся где-то ставни сорвалась молния и ударила мальчика в глаза. Перед ним на солнечном мокром плакате нарком Ежов простирали руки в ежовых рукавицах. Лар пел: «Потому что у нас каждый молод сейчас!» Какое счастье, Боже мой, какое счастье жить!

## 5. РЕЧЬ ВОЖДЯ И ДРУГИЕ НОВОСТИ

Под флагом командующего эскадрой, развернув паруса, головной корабль преодолел узкий пролив и вышел в открытое море. Ударили пушки. Оркестр грянул адмиральский марш. Отец стоял возле буфета. Внезапно он сказал: «Т-сс!» и приложил палец к губам. Репродуктор был переставлен на буфет, где во время занятий музыкой помещались ноты, и там, в этом репродукторе, происходило что-то великое и важное, по сравнению с которым мир мальчика был всего лишь радужный мыльный пузырек, плывущий по воздуху.

Он удивился. Из рупора исходил неопределенный шум — плеск или треск, похожий на хлопанье крыльев потревоженной стаи. Постепенно шум утих, слышны были еще отдельные хлопки, затем все смолкло; отец приник к рупору ухом; и вдруг оттуда послышалось бульканье. Отец улыбнулся таинственной улыбкой. «Воду наливает, — шепнул он. — Из графина...» Мальчик ничего не понял, он не постигал причину этой торжественности, но настроение папы передалось ему: оба, как заговорщики, затаив дыхание, переводили блестящие глаза с репродуктора на лица друг друга. Почти неуловимый, шелестящий и струящийся звук стекал с иглы репродуктора, воспринимаемый уже не слухом, а всем мозгом, — так шелестит ток в проводах над мачтами высоковольтной передачи. Затем раздался очень тихий, но отчетливый звук, и мальчик догадался, что Тот, невидимый и непостижимый, тот, который налил себе из графина, —пил воду по ту сторону передачи. Пил, как обыкновенный человек, маленькими глотка-

ми, точно не знал, что каждый его звук разносится по всему свету. Потом тихонько поставил стакан. Мальчик стоял, задрал голову к старому буфету. На полу стояли его бумажные корабли.

И весь мир, застыв у репродукторов, с тайной, благоговейной улыбкой слушал, как он там булькает водой из графина. Весь мир был тронут и восхищен простотой, будничностью, естественностью, с которой величайший на земле человек пьет обыкновенную воду и, должно быть, отирает усы краешком пальца, точь-в-точь как какой-нибудь пожилой слесарь или бухгалтер. По-народному неторопливый, по-народному пристальный, просто так стоит на трибуне, навесив брови, поигрывает стеклянной пробкой от графина.

Так люди во всех углах страны, в жалких своих комнатухах, вдруг постигали в простом бульканье воды, в напряженной тишине невидимого зала и потустороннем шелесте эфира, истекающего из репродукторов, сверхъестественную суть вождя. Эту суть не выражали его портреты, на которых вождь был изображен красивым и юным, с радостным взором, молодой шевелюрой и литыми усами. Гораздо больше эту суть выражал его голос: она заключалась в том, что он был и молод, и стар одновременно, и мудр, и прост, как его сапоги. Думая за всех, наперед зная мысли каждого, он не хвастал своим всезнанием, не гордился перед людьми и не спешил высказаться. Медленно пил воду из стакана. И когда наконец начал говорить, то говорил самое главное, да так, что каждому было понятно.

Один мальчик не понимал. Сбитый с толку, он смотрел на отца. Он слышал, как голос, глухой и невнятный, сказал, что он не собирался выступать, но наш дорогой Никита Сергеевич силком притащил его на собрание. «Скажи, говорит, речь...»

— О чем же говорить? — спросил товарищ Сталин. И ответил: не о чем. Все необходимое сказано в речах наших руководящих товарищей. И мальчик думал, что на этом он кончит. А вместо этого пошла какая-то невнятица. Голос монотонно и как бы нехотя выдавливал из себя слова. Куда интереснее было слушать, когда он наливал воду. Время от времени репродуктор сотрясали аплодисменты. Значит, люди, сидевшие там, находили в этой речи какой-то смысл. Но какой? Отец слушал, приоткрыв рот, голос чревоушателя, и выражение напряженного ожидания не сходило с его лица. Мальчику стало скучно. Товарищ Сталин говорил долго. Он устал ждать. Собрав корабли, он побрел потихоньку прочь.

\* \* \*

Мальчик пробудился с чувством случайной помехи, из-за которой не стоило просыпаться: отвернись — и назад к себе, в теплый сон. Но помеха не отступала, его словно трясли за плечо, и, перекатившись с живота на спину, мальчик заморгал, открывая глаза.

Но сейчас же кто-то подошел к двери; сердце его затрепетало, он зажмурился, стиснул зубы и замер, боясь шелохнуться и уже зная, что за дверью происходит что-то необычное, разоблачительное и роковое.

Его разбудили не голоса, а молчание: тишина, наступившая там, заставила его открыть глаза и насторожиться; он ощущал ее, словно запах гари, и в ней как будто еще висело эхо слов, звучавших пока он спал.

Там шла тайная жизнь взрослых, беззвучная, как жизнь рыб за толстым стеклом. Там произносилось полным текстом то, что он безуспешно старался угадать по движениям их губ, беглым взглядам или случайно оброненным словам. Там происходили события, о которых он не имел понятия. В самом деле, за дверью раздавались шаги, это ходил отец. Эхо слов висело в воздухе, но больше — ни звука сквозь трещину света, бесконечно долгое молчание за дверью, точно они хотели проверить, действительно ли он спит. Шаги отца.

Голос тетки проник сквозь щель:

«...Никогда ни с кем не считался!»

Он угадал ее жест, она сидела за столом под ярко брызжащей лампой, как это бывает очень поздним вечером, когда свет брызжет в глаза, и бесконеч-

ным однообразным движением разглаживала скатерть, он почувствовал жжение в кончиках пальцев от накрахмаленной скатерти. Сидела и говорила одно и то же:

«Что ж, можешь поступать, как тебе угодно! Ты ведь никогда ни с кем не считался. На всех наплевать!.. Как-нибудь обойдусь!.. Никогда ни с кем... Бывало, еще покойная Розочка...»

В ответ раздавались шаги, туда и обратно, и снова туда, и снова обратно, и мальчик увидел как бы воочию лицо отца: нахмуренное, окаменевшее, с таким лицом отец умножал трехзначное число на трехзначное. Он славился необыкновенным умением считать в уме и поражал этим умением Полину, тяжело трудившуюся с намусленным карандашом над тетрадкой расходов.

Поворот у стены, где еще виднеются на обоях пятна клея, следы теткинго портрета с рогами. Теперь лицо отца приближалось. С гордостью мальчик вспомнил о том, что они одинаково с ним стаптывали ботинки — с внутренней стороны. «В аккурат» (как говорила Полина) одна и та же форма ноги.

Пятна клея еще желтели на обоях, а тетка как будто позабыла про всю их старинную вражду.

«Хоть бы подумал о...»

Это о нем.

«Ты думаешь, он все забыл?»

Голос отца возразил с холодным бешенством. С небывалой резкостью:

«Ребенка оставь в покое! Как-нибудь сам о нем позабочусь!»

И снова тетка — с истерическим всхлипом:

«Что сказала бы покойная Розочка!»

Да как она смеет! Почему он позволяет ей так говорить? Без конца вспоминать имя матери, которое они оба никогда не произносили, не осмеливались произносить вслух! Мальчику это казалось кощунством. Что-то в их голосах, в мрачном шагании отца, в позднем, недобром, раздражающе-ярком свете было такое, что наполнило его неясной тревогой. В засекреченной жизни взрослых созревало что-то зловещее, нет, это была не обычная ссора. И ему захотелось, пока еще не прозвучали последние, окончательно все проясняющие и непоправимые слова, захотелось выскочить из-под одеяла и предстать перед ними. Услышать: «марш в постель!» и «как не стыдно подслушивать!», услышать: «она его совершенно разбаловала, ума не приложу, что делать с этим ребенком», услышать что-нибудь обыкновенное, нормальное, что он знал наизусть и из чего следовало бы, что мир не изменился и все осталось по-старому. И чтобы все это кончилось, чтобы забыли.

Вместо этого он напрягся еще больше, так что занули колени и стали зябнуть пальцы ног. У него чесалось под подбородком, между ногами, между лопатками. Вдруг зачесалось все тело, зачесались кишки! Но главное так и не было сказано, он не дослышал самой сути, и бог детства, вечно суетившийся возле него, напрасно подзуживал показать им, что он не спит: какой это был бы эффектный выход! Они бы так и ахнули. Мальчик не шевелился. Он понял — как это часто бывало с ним — смысл разговора и в то же время не понимал, о чем, собственно, они говорят. О ком?

Голос тетки:

«...можно вышвырнуть. Со старой, ненужной сестрой... чего с ней церемониться... За бабьей юбкой...»

Шаги. Молчание. Желтый свет, от которого першит в носу.

«...а меня вышвырнуть за дверь. Чего со мной церемониться!»

Отец — не переставая шагать:

«Ты переедешь туда. Прекрасная комната, лучше этой».

«Еще бы! Вы все предусмотрели. Но я ее не виню, а! В ее положении... Но ты!.. Хотя бы посоветовался с родными... Родные зла не желают... И что это за специальность, машинистка, Господи... Где она хоть работает, ты знаешь?.. Преступное легкомыслие... не думать ни о себе, ни о родных... Наконец, о сыне... Ты думаешь, он тебя благодарит? Ведь он уже большой, и Розочку он помнит, в отличие от тебя...»

Откуда она знает, подумал мальчик. Откуда она знает, черт бы ее побрал!  
Нет, отец прав, что хочет ее выселить.

«Разве такая женщина... нет, это выше моего понимания... А ей что, ей бы только переменить фамилию!»

Она снова упомянула о какой-то юбке, затем полилась каша неразборчивых слов. Тетка не успевала выговаривать их, и они липли к ее губам, мешаясь со следующими.

Вдруг она понизила голос, и он зазвучал со зловещей отчетливостью:

«Я, конечно, ее не виню. Годы идут, все такое... Интеллигентный мужчина, не какой-нибудь там Афоня-квас... Но подожди, подожди! — Голос тетки зазвучал вкрадчиво, почти игриво. — Она еще напомним тебе, кто ты такой. Все до первой ссоры. И она тебе скажет: жид! Иди прочь, жид пархатый, вот что она тебе скажет. Жид!» — со сладострастием повторила тетка это страшное, липкое слово, неизвестно что означающее, но, очевидно, имевшее к ним близкое отношение и притягивающее, как все тайные и запретные слова.

«Подожди, — зловеще-участливо приговаривала тетка, — еще дождешься. Еще вспомнишь сестру твою, дуру...»

Трах! — ударом ладони по столу отец прервал эти литании. Он заговорил быстро и неразборчиво, гудящим шепотом. Послышались всхлипывания тетки. Дверь стремительно растворилась: отец вошел и, видимо, не зная, что предпринять, быстрыми шагами подошел к окну. Несколько минут он глядел на пустынную улицу, освещенную фонарями. Мальчик замер, затаив дыхание до звона в ушах. Наконец он перевел дух, веки его затрепетали, и глаза открылись против его воли; отец взглянул на него, отвернулся и вышел из комнаты.

Старый бог детства, с длинной бородой, похожий на обокраденного апостола, рвал на себе волосы и потрясал в темноте кулаками. Он один был во всем виноват! Он не доглядел!

Наступила ночь; фонарь, качаясь под ветром, шевелил занавеску; отец спал на широкой кровати; мальчик, зажмурившись, сидел у стены и говорил, бормотал, заклинал. Полина, босая, в длинной рубашке, замятой снизу, стояла за дверью и дула в замочную скважину, чтобы отогнать дурной сон. Это удалось ей после долгих усилий; мальчик умолк и опустил на подушку. Через несколько мгновений вновь затрепетала занавеска: сон влетел в форточку и, обессиленный, уселся на полу возле отцовских носков и ботинок. Ночь была тихой, чудной. Свет струился сквозь занавеску. Мальчик спал, раскинув руки на подушке, лицом вниз. И сон, мерцающий огоньками зеленоватых очей, сторожил его на полу, распластав в полутьме отсыревшие крылья.

## 6. ПОЛУНОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Город угомонился, и настала тишина, какой еще никогда не было. В конце длинного, как коридор, переулка бесшумно прошмыгнул черный автомобиль. Душераздирающе мяукнул кот, послышалось царапанье когтей по толевой крыше старой деревянной пристройки, в которой дворник держал скребки и метлу. И снова все стихло. Вдоль всей линии домов, светлых внизу и темных сверху, черными тряпками на палках свисали флаги. Из черной тарелки напротив двух окон первого этажа, за которыми жил мальчик, падал на мостовую широкий конус света. Все спало, все оцепенело, и только бог его детства, дремучий старик, у которого росли отовсюду волосы — из носа, из ушей и из-под фетровой шляпы, — старик в лапсердаке, обутый в валенки, чтобы не простудиться, сидел на табуретке перед парадной дверью, под флагом, откашливался и шаркал на весь переулок, растирая плевок. Потом раздалось ритмическое поскрипывание, прерываемое еле слышными возгласами, — старик пел молитву, раскачиваясь на табуретке.

И сейчас же из-за угла донесся глухой катящийся звук. Выехал некто широкоплечий, в военной фуражке грибом. А старец в это время прочищал ноздри в огромный платок, который он внимательно разглядывал, — он-таки просту-

дился, — и на вопрос, заданный ему, ничего не ответил, а ограничился тем, что ткнул раза два через плечо большим пальцем. Приезжий стал втискиваться в парадное.

Давно все потухло и умерло в квартире, жильцы, сколько их было, лежали все по своим комнатам. В уборной затихал шум воды, журчало в бачке, да еще на кухне робко бежала вода из крана. И, крихтя, елозили тряпкой под раковиной и медленно шаркали в коридор и возвращались, забыв что-то. И опять шаркали, влача на спине, как крышку от гроба, горб. Пискнула дверь. Марья Александровна, коммунальный домовый, в вязаной кофте поверх ночной рубашки, маленькая и сухонькая, с косичкой, торчащей из впадины на затылке, с большим ртом, вошла к себе в каморку, где на стенах сверху донизу мерцали, поблескивали стеклышками фотографии. Окно было задернуто. Комнату освещал фитилек, горевший в углу перед киотом в лампадке зеленого стекла. И два таких же тусклых, оцепенелых огонька теплились в ее взгляде, пока она сидела на кровати, охваченная забвеньем, свесив ноги в старых домашних туфлях.

Ей давно уже казалось, что кто-то вставляет ключ в замочную скважину. Вставляет и пробует повернуть. Внезапно она вспомнила, что забыла накинуть на ночь цепочку. Жильцы такие беспечные! Кроме нее, некому позаботиться. Давеча, выходя в уборную, она проверила запоры, но сейчас сомневалась, было ли это минувшей ночью или этой. А там все тыкались ключом, примеряли его так и эдак. Она слушала, замирая от страха, боясь встать и пойти накинуть, пока еще не вошла.

Наконец, она набралась храбрости. Приподнялась с подушек, сама не помня, когда она успела лечь. Огонек все так же сверкал в углу перед киотом. Марья Александровна поплелась, ныряя сухой головкой, через комнату, вышла в коридор: слава Богу, цепочка была надета. Снаружи все стало тихо. Успокоенная, она потащилась обратно, точно старая домашняя черепаха. Огонек мигнул ей навстречу из далекого девичьего детства.

Какая длинная жизнь! Лет до шестнадцати, до восемнадцати она еще надеялась, что Бог пошлет ей жениха. Признаться ли? Ведь у нее все-таки был поклонник, длинный, долговязый мальчик чуть ли не вдвое выше ее, в очках, вот только никак она не может вспомнить, ограничилось ли поцелуем, а все остальное она выдумала, или было на самом деле? С удивительной ясностью она помнила разрозненные подробности, но общий смысл ускользал. Как странно, ведь она ни разу в жизни не была у врача и так и не знает, случилось ли это на самом деле или она себе насочиняла. Из этих крошечных подробностей, из двух-трех слов, из завитушек на бумаге, из того, что она сидела перед зеркалом с распущенными волосами, из безумной решимости и пустых, наполненных ожиданием дней, из ничего она сочинила роман своей жизни, и в него вошла вся Москва тех лет, так что нечего и пытаться сейчас решить, был ли мальчик в очках настоящим его героем или только поводом для мечтаний. Потом как-то очень быстро она смирилась со своей судьбой, хотела идти в монастырь, но поняла, что это в сущности не нужно. И как только почувствовала, что смирилась, все ее тело удивительно скоро увяло, превратилось в кубик, торчащий острыми гранями вперед и назад, и рот стал шире, и только ноги остались такими же красивыми и стройными. Она скрывала их под длинными черными платьями. На голове у нее в те времена красовался высокий, тронутый сединой шиньон. Она походила на важную директрису в пансионе для гномов.

Поздно, поздно! Сейчас она ляжет в свою кровать — встанет ли? Кажется, Толстой писал на ночь: если буду жив. Если буду жива. Ах, о чем беспокоиться, Господь позовет, когда сочтет нужным. Слышно, как вода медленно капает из крана. Она уже лежит. Вот так, в ямке под горою подушек; какая, однако, отсыревшая простыня, как сыро сделалось в этом доме, этак и насморк схватить недолго. Сухая голова Марьи Александровны погрузилась в подушку. Подбородок уперся в грудь. Если буду жива. Отче наш, иже еси... И как раз в ту минуту, когда ее помертвевшие девические губы, едва шевелясь, прошептали последние слова молитвы, — настойчивость того, кто с бесконечным терпением примерял ключ к замочной скважине, увенчалась успехом. Очнувшись, она отчетливо услыша-

ла, как дверь отомкнулась. Она не успела, да и не смогла бы ничего предпринять. Кто-то с мягким стуком ввалился в коридор.

\* \* \*

Темной ночью, особенно глухой и темной оттого, что плотно задернутая штора отгородила ее от всего мира, далеко за полночь Марья Александровна, в ночной рубашке и кофте, с плотно сжатым лягушачьим ртом, с расширенными от страха глазами, держа в руках икону, сидела на кровати, составив окоченевшие ноги на скамеечке, готовая ко всему. Она лишилась речи и не могла позвать на помощь. Первая ее мысль была, что ее пришли арестовать. Значит, некого было и звать на помощь. Но почти сразу же стало ясно, что это кто-то другой. Медленно, пожалуй, слишком медленно растворилась дверь, точно к ней входил призрак; всколыхнулись тени, и это как-то помогло ей, отвлекло внимание: машинально оглянувшись в угол на лампадку, она с удивлением увидела там не лампадку, а свечу, правда, дешевую и недоброкачественную, как все теперь, но все же в комнате от нее было гораздо светлее. Она поразились своей забывчивости. Итак, дверь в ее комнату открылась, и в ней показалась человеческая фигура, впрочем, даже не человек, а полчеловека. Въехал инвалид на роликах, голова без шеи, он сосредоточенно работал могучими плечами. На нем была старая николаевская фуражка без кокарды. Шинель крест-накрест перетянута веревками и подвернута внизу. Он снял фуражку и утер подкладкой мокрый лоб. Она положила икону на подушку, ликом книзу. Она не верила своим глазам.

«Прикрой дверь, — сказала она. К ней вернулся дар речи. — Боже, как ты изменился».

Огонек свечи снова колыхнулся, и вся комната как будто пошатнулась. Инвалид прислушался. В кухне еле слышно чмокал кран.

«Да и ты, матушка, не блещешь красотой, — проговорил он. — Н-да».

Оба были смущены и молчали.

Он стал выпрастывать плечи из-под груза, висевшего у него за спиной. Мешок плюхнулся на пол.

Марья Александровна все еще не решалась слезть с кровати. Он так мучительно возился с веревками. Господи, подумала она, чего же я сижу? Надо встать, помочь. Но как же ему все-таки удалось войти? И как он ее разыскал? Она смотрела на него в упор, плотно сжав губы.

«Да тут старик один сидит, — усмехнулся гость, — израэлит какой-то. Не пойму, швейцар али ночной сторож? Впрочем, чего ж искать. Тут у вас почти ничего не изменилось. Разве что переулок заасфальтировали, на мое счастье».

Так я и знала, — подумала она, — что цепочка не закрыта. Вот память.

«Насчет меня не бойся. Я у тебя не задержусь, передохну с полчаса и двинусь, никто и не узнает. Н-да. (Он вздохнул.) Привел-таки Бог встретиться. Ты думала, я помер? Я, точно, помер, расстрелян и похоронен, однако вот живу. Жив курилка. Ты извини, я закурю».

Он добыл из-за пазухи кисет, сложенную книжечкой газету. С необыкновенной зоркостью она углядела дореволюционный шрифт, увидела старую орфографию, ай-яй, какая неосторожность. Комната наполнилась табачным дымом. Она видела, как двигается его заросший щетиной подбородок.

Что он там говорит? — подумала она.

«Отсырела махра, — пробормотал он. Стал снова разжигать козью ножку, бумага вспыхнула, он закашлялся. — Князь Щелоков, курва, проститутка, — он кашлял и ругался, — ..себе и шлюхе своей обеспечил место в салон-вагоне, а на других нас...ть! Представляешь?! Нет, ты только представь себе, Маша, — произнес он неожиданно с той давно забытой интонацией, от которой начало что-то медленно подниматься со дна ее души, и рука ее сама собой поднялась и зажала рот, а глаза все так же неподвижно смотрели на говорившего, — дождь льет под ряд третьи сутки, а может, и десятые, дорога — сплошное месиво, ад крошечный. Люди оставляют в грязи сапоги, лошадей, повозки, наконец, совесть... Ра-

ненные лежат в грязи, да что там раненные. Вся Россия тонет, кверху колесами. Словом, видим такое дело, и — кто куда, к едреной фене».

Он слюнил палец, грязный, с черным ногтем, подмазывал самокрутку, топорливо затягивался, он спешил выложить ей свое, нисколько не думая о ней, не спрашивая, как она жила все это время, он говорил, не давая ей раскрыть рта, сквернословил, не уважая в ней не то что родную сестру, но хотя бы просто женщину...

«И я вот что тебе скажу, они правы. Да, правы тысячу раз, ослиный член им спереди и сзади... Кабы не они — ничего бы не осталось. Вся страна пошла бы с молотка, все до последней крохи скормили бы жидам, а русский мужик так и остался бы сидеть голой ж... в грязи, вот что я тебе скажу. Я, Маша, многое пересмотрел... Думаю, что и за границей кое-кто смотрит теперь на вещи по-иному. Мы большевиков проклинали, а надо было им в ножки поклониться, словно новым варягам, придите, мол, и володейте нами. Мы думали, дворянство — стеновой хребет России, ее честь, черта с два! Дворянство было и сплыло. В соплях своих захлебнулось. А Россия стала еще крепче! Ты думаешь, этот грузин, мать его, не понимает, чей жезл, чей скипетр он держит в руках? Не все ли равно, что они говорят, важно, что они делают».

Ей все время хотелось задать ему один вопрос.

«Сейчас, сейчас, — отмахнулся он. — Что я хотел сказать... — И вдруг закричал, гнусаво заблеял карикатурно искаженным голосом на базарный лад: — Марксизм! Ленинизм! Онанизм!.. Одни слова. Кимвал бряцающий... А Россия — вот! (Он выставил кулак.) Н-да!.. Дело не в народе, народ дерьмо. И не в дворянстве, дворянство миф. Дело в том, ради чего все совершается в этой стране. А я тебе скажу! Ради того, что начал Иван Калита, продолжил Петр. И если никто, кроме большевиков, не смог, если никого не нашлось... Что ж! Сойдут и большевики. В семнадцатом году образованный класс показал, на что он способен. Языком трепать... А народу дай волю, он проплет к собачьей матери все царство. Вот тут они и приходят... Э, неважно, кто они такие! Они ведь только орудие. Они думают, что они строят новый мир, а на самом деле они орудие, да, для высшей цели, как Петр, как Иван Калита! Да, впрочем, уже не думают. (Инвалид махнул рукой.) Вот увидишь. Завтра, кха, наденут, кха, кха!.. наши погоны».

Он раскашлялся над вонючим тлеющим окурком, зажатым между двумя пальцами. Поднимет на ноги весь дом, подумала Марья Александровна.

Ее возмущало, что этот гость из прошлого, жалкий и страшный обрубок на колесиках, в котором она с трудом узнала помершего от испанки, а может, как он сам сказал, расстрелянного родного брата, которого помнила милым ясноглазым студентом, ее возмущало, что он не понимает, что ее интересует совсем другое! Точно будто после двадцатилетней разлуки нет другой темы для разговора, чем эта глупая и компрометирующая философия об Иване Калите, России и тому подобных несуществующих, не имеющих отношения к жизни вещах. Точно вместе с половиной тела он потерял ощущение действительности. Разбудит жильцов, и разговора не получится. А ей так много нужно спросить у него, другого такого случая не будет. Ведь он мертв, в самом деле мертв — и когда кашляет так, что сердце надрывается, и когда грозит кулаком своему портрету, ну, конечно, ведь это он висит там в углу, в овальной рамке, чистенький мальчик в тулурке московского университета, мамин любимчик, — все равно он мертв и его нет. Значит, правду говорят, что покойники являются с того света. А тот, неужели тоже погиб?.. Как, он сказал, его фамилия, этого князя в салон-вагоне?

«Щелоков, — сказал инвалид мрачно. — Сука, проститутка...»

Она сидела с окоченевшими ногами, страдальчески улыбаясь и не сводя с него глаз. Вот так же вымученно улыбалась она много лет назад, когда при ней называли это имя.

Нет, решила она, не помню и не хочу вспоминать. И потом, тот был в очках.

«Не в очках, а в пенсне. Одно стекло разбилось, так он, представь себе, носил половину. Длинный, как глиста. Я был длинный, а он еще длиннее. И губы



красил. Ну что ты на меня уставилась? — крикнул он. — Ты-то уж, я полагаю, должна была его помнить!»

«Значит, — неожиданно для себя сказала она вслух, — ты затем и пришел, чтобы мне все это рассказать?»

«Выходит, что так», — усмехнулся гость.

«И ты тоже помнишь?»

«И я помню».

«Зачем же ты тут ораторствовал?»

«Знаешь, — сказал он, — у каждого свои заботы».

Марья Александровна взволнованно заерзала на постели.

«Ты прости меня, старуху, — заговорила она, — никак я не могу понять... Уж если об этом зашел разговор... Понимаешь, ведь у нас же с ним ничего не было, да и не могло быть. Ведь я убогая, я... как это у вас говорится? Христова невеста я. Я ни с кем, ни с кем!»

«Дура ты, — сказал он нагло и весело, — а если позабыла, то я тебе напомню. Он тебя взял в гостиную, вот и все».

Марья Александровна только трясла головою, прижимая к щекам ладони.

«...днем, часов в двенадцать. Я зачем-то вернулся, не помню уж за чем. День был солнечный, вот это я помню, и с крыш капало. Когда же это было, Маша? Лет сорок назад? Или уж все пятьдесят? Успокойся, я вас не застал... Я только увидел, что ты сидишь на софе, бледная, как мертвец, и глаза сверкают, а он стоит посреди комнаты с красными пятнами на щеках. Я сразу все понял. А он, этот твой князинец, поднимает с полу очки, очки-то на полу валялись, возле дивана... и говорит, это я как сейчас помню: ах, это ты, говорит, Серж? а мы тут в буриме играем. Но ты должна мне отдать справедливость: я тебе никогда ни словом не дал понять, что я догадался. Я и ему ничего не сказал, хотя знал, что он на тебе не женится».

Значит, все-таки в очках, а не в пенсне?

Он еще что-то пробормотал, но она не расслышала, словно по мере того, как таяла свечка, глохли и звуки. В каморке Марьи Александровны в самом деле становилось все темней, и она скорее угадывала, чем различала висевшую напротив нее фотографию, на которой сняты были трое: Сережа, «князинец» и еще какой-то кудрявый юноша, которого она уже не помнила. Нет, думала она, вытирая пальцами в углах глаз слезы. Ничего не было, я-то знаю. Все так, как он рассказывает, и у меня в самом деле сердце оборвалось, когда я услышала, что кто-то идет, но ведь он не знает, что было до этого. А что было? — спросила она себя. Да ничего не было. Не было настоящего чувства, несомненного, при котором «это» можно и отложить, когда «это» бережешь как подарок, приготовленный для любимого; а коли не было чувства, то «это» стало необходимым и неотложным. Я помню, в меня словно дьявол вселился. Я била, щипала его. Он думал, что я сопротивляюсь, а я била его со злости, вымещала на нем свою досаду за то, что такой недотепа... Ведь я врала, продолжала она с ожесточением, врала, когда говорила себе, что так и не знаю, взял он меня или не взял. Ведь я и к доктору ходила, ну да, к этому знаменитому, как его, он принимал на Мясницкой. И что же? Врач сказал, прошу прощенья, мадемуазель, прежде чем вас исследовать, я должен знать, были ли вы замужем... именно так он выразился, удивительный лексикон! Я кивнула, а потом он мне объяснил, что с молодыми девушками так бывает: им «показалось», что они вышли замуж, «разумеется, с точки зрения анатомии», в чувства он не вдается, а фактически, кхм, до анатомии дело не дошло. Он даже позволил себе отпустить какую-то шутку насчет де-вы Марии. Я вспыхнула и назвала его пошляком...

Ноги совсем заледенели, надо бы сходить на кухню за грелкой. Ах, не нужен был и врач, она сама все знала без врача. Глаза ее блуждали по комнате, словно она пересчитывала свое убогое имущество: желтый самовар, ветхое кресло. Мамино кресло, единственная вещь, которую ей удалось спасти. И эти карточки, обступившие ее со всех сторон. Пускай у меня горб, думала она, и пусть я Богом обижена. Зато у него была горбатая душа. В ту самую минуточку, когда он бросился поднимать с полу очки, вот тогда-то я и увидела, что у него душа гор-

батая... или это было пенсне? Поднял с полу и надел, даже не заметив, что надевает одну половинку. Вот почему они все погибли, подумала она без всякой связи, глядя на фотографии. У них были горбатые души.

«Баста! — вдруг произнес голос с порога. — Заболтался я тут с тобой...»

Очнувшись, она увидела, что он в фуражке и зацепляет верхний крючок шинели. Деревяшки, которыми он отталкивался, стояли наготове перед его тележкой.

Он начал было просовывать руки в лямки заплечного мешка. Но потом передумал, почесал в затылке и стал разматывать веревку.

«Все думаю, черт подери... еще протухнут».

Ужасно долго разматывал.

«Прости, Маша, — проговорил он озабоченно. (Она следила за ним со страхом. Язык не поворачивался спросить, что у него в мешке.) Ты бы не могла, хм... устроить мне таз с водой?»

«Таз? О, Господи! Что он еще придумал?»

Согнувшись, он распутывал куль, из которого в самом деле шел тяжелый запах. Сначала он достал оттуда погоны. Когда-то золотые, они были теперь тусклые и помятые, в мокрых пятнах. Поплевав на них, он принялся чистить позолоту рукавом. Потом вытащил какую-то снедь в размокшей бумаге, понюхал...

Запах становился все сильнее, но она не могла понять, чем пахнет. Это был запах грязного солдатского мешка, нужды, кислого пота. Запах отсыревших лаптей, запах шпал и рельсов, змеящихся под тусклыми фонарями. Запах, идущий из тьмы товарных вагонов, по которым барабанит дождь. Запах горя, смерти, революции и гражданской войны. Ах, когда же он, наконец, уберется, этот увечный, никакой он ей не брат!.. Она его не знает и знать не хочет. Надо встать и вызвать милицию.

«Уйду, не волнуйся, — бормотал инвалид, роясь в мешке. — Только взгляну, как там у меня, и пойду. — Он засмеялся. — А ты думала, я исчез навсегда, небось, скрываешь, что у тебя родственничек деникинский офицер... Нет-с, мадемуазель, ваше скородие, ошибаетесь, от нас так просто не отделаетесь! Мы хоть и сковырнулись с копыт, однако ж, вот, наслаждаемся вашим гостеприимством-с! Все мы... все мы тут... н-да».

«Таз, сука! — заорал он. — Где таз? Мне ноги мыть надо!»

И с омерзением, с ужасом, почти теряя сознание от удушливого трупного запаха, который пропитал всю комнату и, казалось, исходил от всех предметов, от кресла, от старых фотографий, даже от ее постели, с чувством внезапной и страшной догадки она увидела, что он вытаскивает из мешка одну за другой свои отрубленные ноги.

## 7. ПОЛУНОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (продолжение)

В ту же самую ночь — заметим, что рациональная теория сновидений должна обязательно учитывать влияние некоторых общих факторов, метеорологических или даже астрономических, иначе остается непонятным, почему в некий определенный момент сны посещают сразу всех, между тем как в другое время никому ничего не снится, — в ту же ночь Полина, домработница Ильи Ильича, видела нечто, оставившее отчетливый след в ее душе, хотя и малопонятное; когда она попыталась рассказать свой сон мальчику, он засыпал ее вопросами, на которые она не сумела дать удовлетворительного ответа. Самое большее, на что она оказалась способной, это обрисовать внешнюю ситуацию; рассказ ее изобилует реалистическими подробностями; наконец ей удалось более или менее вразумительно объяснить ему значение некоторых терминов, например, кто такой *свяtitель*. Но хотя подробности стояли, как галлюцинация, перед ее глазами, она не могла выразить, передать словами тот особенный фон, на котором разворачивался весь этот странный сюжет и который наполнял его, как ей казалось, глубоким смыслом. В нас всегда присутствует нечто, незаметно для нас со-

общающее вещам гармонию и умиротворенность, либо, напротив, обнажающее их бессмысленность и пустоту.

Итак, она лежала за ситцевым пологом на своей узкой вдовой кровати, в темноте, среди ночной тишины, которую равномерным гулким чмоканьем отмечали падающие капли воды на кухне. Точно верстовые столбы, пересекающие пустыню. Она лежала на спине, положив левую руку на грудь, правая рука ее целомудренно покоилась на животе, прикрывая холмик волос, и голова слегка склонилась набок, словно голова убитой наповал. И вокруг нее разомкнулись стены прихожей, не стало лампочки под потолком, исчезли антресоли с велосипедными колесами. Одна занавеска осталась висеть на месте, но теперь она висела от стены до перегородки. За перегородкой сухо щелкали ходики и безостановочно стучали капли по крыше. Полина открыла глаза.

Она подумала, как хорошо спать в такую погоду, укрыться с головой ветхим ватным одеялом, и снова уснула. Но какой-то звук тормозил ее, не то звон капель, не то щелканье ходиков. Она проснулась окончательно, это был лай.

Она была еще молодой и ловкой и легко прыгнула с шаткой деревянной приступки, прислоненной к печи. В отцовском зипуне, сапогах и в платке, держа в руках двустволку, вышла на крыльцо и направилась вниз к озеру, вдоль тускло поблескивающей тропы, вместе с повизгивающим псом, вглядываясь во мглу и не понимая, что там происходит.

Там никого не было. Несколько лодок, полных воды, стояли у берега. Пес Спирька прыгнул в лодку, пробрался на корму и сел. Тогда она заметила: на том берегу стоит человек, похоже, полураздетый, машет руками. Хлюпая сапогами в воде, она обошла лодку, нашарила под скамейкой жестяную банку и стала вычерпывать воду. Села за весла, мокрую юбку заткнула между ногами. Кобель смиренно сидел на корме. Дождь стал как будто тише. Подъехали, мужик, поджидавший их, был в длинном белом балахоне, в лаптях, с сумой на ремешке, не то странник, не то сбежал из больницы. На обратном пути почти не разговаривали, слышался плеск весел, скрип уключин, пес, весь мокрый от летевших на него брызг, переступал лапами, не сводя глаз с воды, медленно набиравшейся в лодку.

«Как кличут-то?»

«Спиридон», — ответила она равнодушно.

«Имя вроде не собачье», — заметил ездок.

Она обернулась, подняв левое весло, а правым табаня. Лодка начала разворачиваться, причалили. Спирька прыгнул на берег. Стали рассчитывать.

«А, не надо, — сказала Полина. — У нас тут все даром перевозят».

«А ты сиди, милый, сиди», — сказал странник, и пес покорно опустил зад на траву, и больше она его не видела. Становилось как будто светлее, дождь еле моросил.

«Как же так. За труд надобно платить».

«Не надо», — повторила она и отвернулась.

Она подняла на него глаза.

На мгновение лицо странника показалось ей юным и прекрасным. Темные глаза в провалах орбит блестели, как вода на дне глубоких колодцев. Но сейчас же их блеск потух, теперь это был снова немолодой, утомленный жизнью мужик с глубокими складками на щеках и мокрой, торчащей клочками бородой. Над головой странника вокруг лысого лба стояло тусклое сияние.

Ба, вот оно что, подумала она растерянно. И рубашка белая...

Она хотела встать на колени. Мужик остановил ее.

«Спасибо тебе за перевоз, — промолвил он, — я перед тобой в долгу. Не хочешь брать денег, скажи, может, чем другим тебе отплатчу. Тебя как зовут?»

Она назвалась.

«Ну вот, Полина. Скажи, чего желаешь».

Она молчала, закусив угол платка.

«Ужли ты от жизни ничего не ждешь?»

Она молчала.

Подождав, он спросил мягко: «Это твоя изба? Может, хочешь новую?..»

И она снова замотала головой.

Тогда он стал расспрашивать ее, внимательно на нее глядя с высоты своего роста, составив ноги в лаптях и держа руку на холщовой суме. Она отвечала, опустив голову, изба эта не ее, а отца, отец помер, а сама она жила в другой деревне верст за сорок отсюда.

Когда была коллективизация, ее мужик пришел на собрание в клуб сильно поддавши, вылез на трибуну и стал стыдить начальство, сидевшее за столом, обозвал их последними словами, а потом подошел к гипсовой голове, она стояла в углу, и плюнул на нее. И его тут же забрали, повели под руки два милиционера, один ударил его по голове, а кругом все смотрели, и никто слова не сказал. Сама-то она не видела, лежала дома со своей женской болезнью, из-за которой у них и детей не было. Спасибо, добрые люди предупредили: мальчишка соседский прибежал. Она скрывалась, потом перебралась сюда.

«Зачем же ты, Полина, все это вспоминаешь?»

«Как же не помнить».

«А вот я сделаю так, что ты забудешь, — сказал он. — Тебе о будущем надо думать. Ведь ты не старая, у тебя все впереди».

«Нет, — пробормотала она, — ничего мне больше не надо. Об одном прошу Бога».

«О чем же?»

«Пускай пошлет мне легкую смерть».

Поднялся ветер с озера, заколыхалась занавеска, ей стало холодно, она повернулась на бок, натянула одеяло. Дождь капал, стучал по крыше, по траве, и белый странник смутно улыбался, устремив на нее мерцающие в темных провалах глаза.

«Легкую смерть? — сказал он. — Иди, Полина, иди».

Она повернулась и пошла вверх по тропинке.

«Стой. А теперь обернись».

Она посмотрела назад — на тропинке, где она только что прошла, шагах в десяти от нее темнело что-то: человеческое тело. Она быстро подошла, нагнулась.

Это была она сама, лежавшая поперек дороги с раскинутыми руками, убитая наповал, с выражением спокойного удовлетворения на лице.

\* \* \*

Ночью Илья Ильич разговаривал с женой.

Он лежал с закрытыми глазами, а она в это время бесшумно двигалась по комнате, прибирая какие-то вещи, нашла на полу валявшиеся чулки мальчика, натянула на руку: чулок был аккуратно заштопан. Она развесила их на батарее.

«Который час?» — спросил Илья Ильич, не открывая глаз. Мальчик лежал рядом, зарывшись в одеяло, лицом к стене.

«Это ты?» — спросил он снова.

«Спи, — ответила она. — Тебе завтра рано вставать».

«А ты?»

«Посижу и пойду».

«Как это ты ухитрилась, — сказал он, приподнимаясь на подушке, — войти так, что никто не услышал? Как это тебе вообще удастся снимать цепочку... и тому подобное?..»

В лицо ему через узкую щель между гардинами светил фонарь. Жена сидела в кресле, он не различал ее лица, но видел улыбку.

«Ты неплохо выглядишь. Пожалуй, помолодел!»

«Это ночью так кажется», — оправдывался он.

«Давай закроем форточку».

Через мгновение она снова сидела перед кроватью, зябко запахнув халатик. Он вспомнил, что ей всегда было холодно.

«Вечно ты мерзнешь», — сказал он.

«Мы с тобой не изменились».

«Не знаю, — проговорил Илья Ильич, — ты, наверное, ждешь от меня подробного рассказа. А что, собственно, рассказывать? Жизнь идет. И в то же время стоит на месте. Никаких новостей. А... как твои дела?» — спросил он упавшим голосом.

Она улыбнулась и пожала плечами.

«Извини, — сказал он, — я до сих пор не собрался вставить приличный портрет. Эта фотография... она уже пожелтела. Хотя в сущности прошло так мало времени. Что я хотел сказать? Там есть мастерская, где можно заказать на фарфоре... Представь себе, вечно закрыто. То ремонт, то переучет».

«Боже, какая чепуха. Плюнь на этот портрет, кому он нужен?»

«Да, но все-таки».

«Мы отклонились. Как он?»

«Ничего. Ужасно ленится. Неплохие способности, но заставить лишние полчаса позаниматься — целая история. Полина его слишком балует».

«Я рада, что у него есть слух».

«Да, это у него от тебя. Вообще-то он мало на тебя похож. Разве что голос... иногда прямо твои интонации. Слушай, Роза, — сказал Илья Ильич, — мне надо с тобой поговорить. Я, пожалуй, встану».

«Боже сохрани. Разбудишь мальчика».

«Ты на меня сердисься, да?»

«Как тебе сказать: я все-таки женщина. Кто она такая?»

«Она русская. Вернее, наполовину русская, а наполовину...»

«Это не имеет значения».

«Ну вот, — обрадовался Илья Ильич, — а я что говорю? Больше было бы таких браков, меньше было бы антисемитизма!»

«Поэтому ты и женишься?»

«Я сам все понимаю, — буркнул он. — Отлично понимаю и отдаю себе отчет. — Он стал загибать на пальцах: — Не еврейка, раз, Два: ребенок. И даже не один».

«Тоже мальчик?»

«Девочка... Лет пять или что-то в этом роде. Впрочем, это-то как раз неважно: девочку забрали родители мужа и все равно не отдадут, даже если бы мать этого захотела».

«Жаль. Лучше было бы, если бы вы соединили детей».

«Да? — задумчиво произнес Илья Ильич. — Ты так думаешь?»

«Ей захочется иметь *своего* ребенка. Мальчику от этого будет хуже».

«Неужели тебе непонятно, — сказал он, — ребенок носит его фамилию. *Его* фамилию».

«А она? У нее тоже эта фамилия?»

«Нет, конечно. Разве я тебе не сказал? Она развелась».

Жена по-прежнему сидела перед ним в том самом кресле, где когда-то, обложенная подушками, просиживала целые ночи. Он отчетливо видел ее поблескивающие в полутьме волосы. Видел даже выражение лица, хотя самого лица не различал. В сущности, все ее вопросы были риторическими, она и так все знала. Она знала обо всем, но он должен был как-то прояснить все это и оправдаться.

«Что тут удивительного? — хотел он ей сказать. — Ты же знаешь, что кругом творится. — Он прислушался и, наклонившись, быстро что-то зашептал».

«Вот видишь, — сказал он. — А ты говоришь. Сейчас все так делают. Сейчас даже вызывают и заставляют, слышишь, заставляют подавать на развод. И слава Богу. Слава Богу, что хоть не арестовывают, не ссылают! И что в конце концов меняется, скажи на милость? Кому будет хуже оттого, что она развелась? мужу? Да его и в живых-то наверняка уже нет. Люди исчезают, как пыль, как...»

Помолчали.

«Да, да, да, — сказал он скучно. — Да. Я все понимаю, и Фира совершенно права. В такой обстановке это просто безумие. Мало того, что у нас в квартире, под носом, живет бывшая дворянка, я еще собираюсь связать свою жизнь с бывшей женой врага народа». Слова эти, как очистки, сами собой слетали с языка.

Он с отвращением вытер губы. Чем больше он оправдывался, чем больше счищал с себя эту грязь, тем больше чувствовал себя испачканным. Его оправдания были хуже самого поступка.

Он вдруг почувствовал, что существует солидарность мертвых. Они там все заодно. Жены и мужья...

Он пробормотал:

«Она сама не лучше».

«Кто?» — спросили из тьмы.

«Эсфирь! Ты помнишь ее мужа, ведь он тоже. И ее сразу же выслали. Потом она вернулась. Это было через полгода после того, как ты... ну, словом, уже после тебя. Ты думаешь, почему она вернулась? Потому что развелась, официально. У нее теперь девичья фамилия...»

Такая же, как у тебя, хотел он сказать и заплакал.

«Илья, — сказала она, помолчав, — скажи мне откровенно. Ты ее любишь? Или просто... соскучился без женщины?»

Илья Ильич смотрел на никелированные шары в ногах кровати.

«Не знаю, — проговорил он. — Может быть, это и есть самое главное препятствие. Я смотрю на нее и вижу ее без платья».

«Вы уже?...»

«Да».

«Но имей в виду, — услышал он ее голос. — Мальчик останется со мной».

«Как это? — спросил он тревожно. — Почему это?»

Ему показалось, что она медленно растворяется в темноте, но в эту минуту свет фар проехал по потолку, и он убедился, что она еще здесь.

«Потому что дети всегда остаются с мертвыми, — сказал голос, — потому что они их продолжение. Он с тобой, пока я с тобой. А если ты от меня уйдешь...»

Ну, конечно! Мертвым хорошо: они всегда правы. «Но ведь это несправедливо!» — хотел крикнуть Илья Ильич, а на самом деле тяжелый хрип вырвался из его груди. Губы не слушались, слова застряли в горле. Впрочем, они были уже не нужны, ночной разговор окончился ничем, как все разговоры: ничего не прояснив, ничего не доказав. Но, Бог мой, кому и когда помогали доказательства?..

\* \* \*

Так закончилась эта ночь — быть может, не единственная, — когда в сумраке и тишине спящего города, лучшего города на земле, как его называли, где одно единственное окно на небе светилось до рассвета, и за этим окном расхаживал лучший и величайший человек на земле, это был свет его лампы, он один бодрствовал, а все спали, — когда в тишине оцепеневшего города, друг за другом, появлялись из-за угла, входили в подъезды, поднимались по маршам и отпирали квартиры заботливо припасенными ключами те, кого уже не было. Они заглядывали в комнаты, останавливались на пороге или садились на край кровати. Их не нужно было бояться. Они были мертвые, несуществующие, сгоревшие в огне, распавшиеся в ямах на полях захоронения, выскобленные из документов, бессильные что-либо предпринять, но и бессильные помочь; в худшем случае их можно было стыдиться, в лучшем — не помнить лихом. Они входили. И навстречу им поднимались с подушек, устремляли на них молочные, застланные сном, незрячие глаза те, чья жизнь была в некотором смысле оплачена их исчезновением. Но мудрость мертвых — как и их назойливость — была настолько же безобидной, как и бесполезной; весь урок их воскресения пропадал с наступлением дня: люди поднимались со смутным ощущением тяжести на душе, но без малейшей памяти об их приходе. Так прошла эта ночь. Над городом сверкала заря. Полина встала и поплелась на кухню. Нехотя поднялся отец. Каждый нес в себе сознание тайны, неведомой для него самого. Теперь тот, кто бессонной тенью бодрствовал в своем окне над Москвой, мог прилечь; говорили, что он так и делает. Наступил новый день, и мальчик, единственный праведник, кому ни один загробный гость не докучал полуночной беседой, проснулся для новых дел, мыслей и тревог.

## 8. ВИЗИТ К ДАМЕ

Существовало две области умолчаний. Первая — наружный мир, в котором кое-как еще можно было разобраться. Разумеется, никто открыто не посягал на священные реликвии, как то портреты и прочее, ни единым словом или усмешкой не подвергал сомнению речи и лозунги. Но мальчик давно догадался, что с этим миром дело обстоит не вполне благополучно. Он впивался зрачками, как иглами, в лица взрослых — они оставались невозмутимы, лица подданных, глядящих на голого короля. Следуя правилам этой игры, он не имел права ставить вопросы в лоб. Неясной оставалась принципиальная позиция отца, за кого он — за красных или за белых? Присоединял ли он себя к достохвальной общности, именуемой «мы, трудящиеся», или сторонился ее? Было бы странно перечить голосу, который звал со шкафа, он явно рассчитывал на отклик; тем не менее однажды, в ответ на какой-то выкрик, отец буркнул: не время, а безвременье. Последовал любопытный разговор о сущности феномена, называемого временем: отец счел нужным придать ему отвлеченный смысл. По его словам, речь шла о времени, которое показывают часы. Ну и что же? А то, что стрелки могут остановиться, но это не значит, что время стоит на месте. Вот когда *останавливается время...*

Тетка — из другой комнаты: «Перестань морочить голову ребенку!» Мало того, что «та» отравляет его мозги религиозными сказками, так он еще! Тетка критиковала фольклор Полины одновременно слева и справа: сказки подлежали осуждению и как антисоветские, и как «гойские». Словом, самая неясность этого мира несообразностей, навязанных кем-то правил и неискренность фраз странным образом делала ясным его неблагополучие. Но он был ничто по сравнению с другой областью, с наглухо засекреченным миром недомолвок, скрывавших внутреннюю жизнь этих людей.

Мальчик не сразу понял, что речь идет о красивой даме с шестого этажа. Отец пришел с работы рано, небрежно осведомился о занятиях музыкой. Новый учитель все еще не был подыскан, следовало повторять старые упражнения. Пообедав, отец стал ходить по комнате. Полина бесконечно долго обмывала тарелки в полоскательнице.

Отец заговорил, и, значит, слова его отчасти предназначались для нее, — мальчик почувствовал это, как он чувствовал многое, не отдавая себе отчета, что это значит.

Он всегда хорошо понимал правила игры, хотя это вовсе не значило, что ему ясен их смысл. Как глухонемой, который смотрит кино, он ясно видел расстановку действующих лиц, улавливал нюансы их чувств. Но не понимал, о чем они собственно хлопочут.

Отец говорил длинно. Полина мыла посуду, много раз ополаскивая одну и ту же тарелку, и как будто хотела ободрить отца, показать, что то, о чем он все еще не решается сказать, уже как бы решено общим согласием взрослых. Но мальчику казалось, что отец оправдывается перед ней за то, что не сказал ей об этом раньше. Он обращался к мальчику, но говорил для них обоих. «Вот что, — сказал отец, называя мальчика по имени и поглаживая его руку своей широкой рукой. — Я бы хотел поговорить с тобой об одном деле...» И еще долго говорил о том, как бы он хотел с ним поговорить. Поговорить об одном деле. Дело это серьезное, и от него, можно сказать, зависит вся их жизнь.

«...понимаешь?»

«Да», — сказал мальчик, хотя пока еще ничего не было понятно. Но понимать значило для него войти в ту особенную атмосферу близости, которая создавалась чинным сидением друг против друга на диване, тихим и значительным голосом отца, ровным светом лампы. Мальчик был горд и счастлив, что с ним беседуют, как с равным. И не все ли равно о чем?

«Значит, так, — вздохнул отец и нахмурился, как он делал, когда умножал трехзначное число на трехзначное. — Вот что я тебе хочу сообщить...»

«А я знаю», — вдруг сказал мальчик.

«Что ты знаешь?»

«Что ты мне хочешь сообщить... Про это, да?»

«Ну да, — неуверенно произнес отец. — Откуда ты знаешь?»

«Мне Полина сказала», — ответил мальчик и принялся болтать ногами.

«Да ты что! — Полина сняла с плеча полотенце. — Когда это я тебе говорила?»

Отец опустил глаза, остановил ее жестом. Но уже что-то переменялось.

Исчезла атмосфера тихой серьезности, и не было больше равенства. Инстинкт подсказал мальчику, что равенство будет для него болезненным; а отец этого не понимал и надеялся продолжать в том же духе. Тщетно: мальчик предпочитал быть маленьким.

«Сиди ты, ради Бога, спокойно. Какой разболтанный», — сказала Полина.

(В этих словах заключалось указание, что отнюдь не она — причина этой разболтанности. Всегдашняя манера взрослых говорить одно, а подразумевать нечто совсем другое.)

Еще непонятно было, лучше или хуже это новое настроение. Впрочем, ясно, что не к добру. Под мальчиком медленно сжималась пружина, чтобы тем сильнее подбросить его; неудержимо захотелось пройтись гоголем, прогромыхать дерзкое слово. Но и жалко было — тишины и одинокого отца.

Отец сидел в прежней позе, сцепив пальцы на колене.

«Останьтесь», — сказал он, не глядя на Полину: она было двинулась с полоскательницей на кухню. Мальчик болтал ногами, глаза его блуждали.

«У каждого ребенка, — сказал отец, — должна быть мать».

Он замолчал, ожидая ответа.

«А у тебя?»

«Что у меня?»

«У тебя, когда ты был ребенком, была?»

«Разумеется», — сказал отец.

«Она тебя родила?»

«Да».

Полипа с полоскательницей в руках позвала мальчика.

«Что значит — родила?» — спросил он.

Полина снова позвала.

«Ну, чего тебе?» — он скорчил недовольную гримасу.

«Ужинать, — сказала она, — мой руки».

(Пожалей ты его, вот что она хотела сказать.)

«Да ну тебя», — сказал мальчик и запрыгал на одной ножке через всю комнату. Повернулся, балансируя.

«Зачем она нам?» — спросил мальчик, качаясь на одной ноге и выставив ладони, на которые нужно было положить ответ.

«Видишь ли, — отец уперся руками о колени. — Видишь ли...»

Он взглянул на сына и увидел в глазах у него искры, предвещавшие недоброе. Бес, хорошо знакомый домашним, готовился овладеть им.

«Ну-ка, живо, — сказал отец, нахмурясь. — Мыть руки и за стол».

Мальчик отступал, набычившись, он маршировал назад, к дверям, и грозно мурлыкал военный марш. «Б-х-х!» — он изобразил разорвавшийся снаряд.

«Кому говорю!» — повысил голос отец.

Ответом было презрительное молчание. Выхватив саблю, мальчик вылетел в коридор, на ходу прищипывая взмыленного иноходца.

\* \* \*

«Вот видишь! А я что говорил? Так тебе и надо». Седобородый бог злорадно потирал руки.

«Он глуп», — сказал Илья Ильич мрачно.

«Я бы этого не сказал! Но еще не поздно передумать. А? Верно я говорю, Полина?»

Полины в комнате не было, она отправилась за мальчиком.



«Глупости, — возразил Илья Ильич, — я же не врага в дом привожу. У ребенка должна быть мать».

«Те-те-те, — передразнил старик, — знаем мы эти песни. Азохэн-вей! Уж если так приспичило, так разве Полина ему не мать? Вот на ней и женись».

Помолчали.

«Ты думаешь, Полина...»

«Перестань, — сказал отец. — Глупости какие».

Он расхаживал по комнате, повторяя про себя: «Глупости, одни сплошные глупости».

\* \* \*

«Ма, расскажи историю».

«Нечего мне рассказывать, все рассказала».

«Ну, ма».

«Ничего я не знаю. Отстань».

«Ты хочешь со мной поссориться? Скажи: хочешь, чтоб я на тебя рассердился?»

«Да, — сказала Полина. — Хочу, чтоб ты рассердился».

«Ну что ж, — проговорил он зловеще. — Где моя сабля? Где мой ятаган?»

Он расхаживал по комнате, постепенно обростая оружием.

В конце концов он оказался верхом на коне, закованный с ног до головы в железо. Двуручный меч — над головой.

«Рассказывай! — или голову с плеч».

«Ах ты, страсть какая. Уж ладно, смилуйся».

Он спешил. Свита увела коня.

Странное, тревожное время наступало для мальчика; оно бывает в жизни каждого. Старинные романисты называли его пробуждением. Но пробуждением от чего? Конечно, не от пресловутого «золотого сна»; дети видят мир так же ясно, как и взрослые.

Все самое важное в нашей душе происходит тайно; догадки, решения — все это лишь некое санкционирование того, что уже свершилось. Так женщина узнает о том, что она беременна, но когда, в какой момент произошло зачатие, не знает. Перелом, происходивший в жизни мальчика, можно было бы назвать крушением телеологического мифа: идея целесообразности всего сущего незаметно уступала место в его уме чему-то другому. Он уже отвыкал задавать вечный вопрос: для чего? Для чего идет дождь? Чтобы напоить землю. Для чего педали у пианино? Ему объяснили, для чего правая; назначение левой педали было менее понятным, но в конце концов это можно было объяснить некомпетентностью тех, кто взялся объяснять. До определенного момента вещи и обстоятельства не могли нести ответственности за то, что взрослые не умели на своем водянистом, полном всяческих «видишь ли...» языке объяснить их цель. Еще вчера мальчик был обитателем расчищенного и обжитого континента целесообразности, где на все «для чего» и «зачем» существовал точный ответ. Все вещи, словно под влиянием магнитного поля, были ориентированы в сторону некоторого абсолютного центра. Так было вчера. Так, по-видимому, обстояло дело и сегодня. Но уже завтра он оставит этот берег, завтра мальчик поймет, что на каждом шагу мир полон прорех. Вокруг, как волчьи ямы, зияют бездонные «ни для чего». Пройдет много времени, он увидит, что на дне этих провалов лежит «для чего-то», придет позднее сознание неведомого смысла, но никогда он уже не вернется к былой самоочевидности разумного мира.

Сам того не ведая, он начал скользить вниз. Он деградировал! Еще он находил удовольствие в том, что для большинства взрослых давно осталось за пределами жизни; неправдоподобие этих историй, наивное, ничем не замаскированное, не смущало его, он понимал, что правила игры запрещают спрашивать, как это Иисус мог шагать по морю, вернуть к жизни умершего; но смысл и цель этих подвигов, еще недавно вполне очевидные, становились для него все темнее. А потом и вовсе стали ему безразличны.

«Еще», — сказал мальчик, подумав.

«Чего тебе еще?»

«Еще расскажи».

«Ну вот что, — заявляет Полина, — хорошего понемножку. Тебе спать пора. Эвон, сколько времени: отец сейчас придет. А на скрипке ты занимался? Что-то я не помню».

После этого она переходит к следующему номеру, такому же заигранному, но она принадлежит к тем исполнителям, которые предпочитают беспроектную классику сомнительному модерну. Она восседает в старом продавленном кресле, где сидела когда-то другая женщина, ее голос звучит однообразно и успокоительно, как рокот неспешных вод, она вынимает из головы шпильку и почесывает ею сзади, под узелком волос.

«Нечего, говорят, нам туда ходить, нас там убьют и забросают камнями. Не пойдём и тебе не советуем. Все равно, говорят, — он уже помер.

А он им все свое. Вот, думают, упрямый. Ну, делать нечего, пошли они...

В это время прибегает к Марфе мальчишка ихний соседский и говорит: они там за околицей, только боятся, как бы их кирпичами не забросали. Тогда она сама к ним пошла, подходит и говорит, вот если бы ты тогда с нами остался, мой брат бы не помер. Он и спрашивает: куда вы его положили? — А в погреб. — Проведи меня, хочу на него поглядеть. — Чего ж глядеть-то, батюшка? От него, чай, уж пахнет. — Все равно, говорит, проведи.

Ты, говорит, Марфа, не плачь, не горюй. (А у самого слезы так и текут.) Воскреснет твой брат. Она ему отвечает: да, воскреснет, небось, в Судный день, когда все мертвые встанут? Слыхали мы это. Господь на нее взглянул и сказал: напрасно ты, Марфа, сомневаешься, аз есмь воскресение и жизнь. Кто в меня верует, тот спасется».

Мальчик видит что-то вроде огорода, белое от зноя небо, и телега пылит вдаль. Вдруг со стороны улицы слышится рев, топот, злобные выкрики, целая толпа бежит с палками, с ременными кнутами, а у некоторых камни в руках. Подбегают к нему, к ученикам, шумно дышат, задние насаждают на передних. И вот он стоит посреди красных, потных, недобрых лиц, в толпе бородатых евреев, похожих на русских крестьян, стоит этот чужак-человек — высокий, с костлявым лицом. Тяжкий зной и насупленные взгляды давят его стопудовой тяжестью. Вдруг не получится? Вдруг его счастье ему изменит на этот раз? Он ни на кого не смотрит, он смотрит на камень, которым приперта дверь в погреб. А кругом — бурьян, подсолнухи, а вдаль телега пылит по дороге. Тускло блещет оловянное небо, ни облачка, ни ветерка. Лето в полном разгаре. Страшное, смертоносное лето. Сейчас все решится, сейчас все или поверят в него, поверят бесповоротно, до конца, или проломают голову. Не блуди языком, не будоражь людей.

Он что-то говорит, но не слышно. Апостолы переглядываются, один грызет травинку, другой бороду чешет. Хриплым пересохшим голосом он приказывает отвалить камень. Никто ни с места.

Тут как назло начинают хлопать крыльями и петухи, один за другим, во все горло, с разных концов деревни.

Наконец два мужика помоложе выходят и оттаскивают молча валун.

Он очистил горло. Приставляет ладони ко рту:

— Э-эй! Лазарь!

Молчание. Петух издали: кукареку...

Снова набирает в грудь воздух.

— Выходи!

Потом что-то скрипит. Это скрипит дверь. Визжат старые скрепы. Толпа стоит, открыв рот. Из черного подземелья выходит мертвец. В саване, голова замотана. Шаря впереди протянутой рукой, а другой загорюившись от солнца, Лазарь вылезает на свет Божий из погреба. Пот течет по лицу Иисуса, тяжело, знойно! Тридцать два градуса в тени.

И мальчик прыгает на одной ножке.

Мальчик прыгает, задача — пересечь комнату без остановки туда и обратно. Какое впечатление произвел на него рассказ, сказать трудно.

«Ма... — Он доскакал до угла и балансирует, не касаясь стены. — А что такое аз есмь?»

\* \* \*

Визит к даме, обитавшей на шестом этаже, состоялся в один из ближайших выходных дней, — кажется, это было уже после того, как была учреждена семидневная неделя и забытые христианские названия снова пошли в ход, — хотя ничто, кроме названий, не могло уже воскреснуть, — итак, визит состоялся в одно из воскресений, и вечером этого дня, и потом, через много лет, он не мог понять, почему безделушки, наполнявшие ее комнату, все эти статуэтки, пудреницы, китайские веера, игрушечные шкафчики с уголками из перламутра и портреты томных танцовщиц, здесь и там асимметрично развешанные по стенам, почему вся ее комната, похожая на коробочку, возбуждала с самого начала неопределенную неприязнь, недоверие и тревогу. Точно вещи были виноваты в том, что произошло позднее; точно он был одарен удивительным в его возрасте предчувствием; в самом деле, это могло быть предчувствием; но спустя тридцать лет обратный ход лучей легко мог ввести в заблуждение, то, что он приписывал себе тогдашнему, могло оказаться обычным артефактом памяти. В действительности дело обстояло иначе, чуточку иной поворот: вещи — картинки и статуэтки — не вплетались в ритмичный хоровод окружавших мальчика предметов и запахов, они были *случайны*; несчастный Тельман, в пятнах мух, был ему роднее; они были иноязычны и враждебны, их жеманность коробила его, смущая в нем маленького мужчину, перламутровые уголки хотелось отколупнуть ногтями, — что он чуть было и не сделал, — бархатный олень, распластавшийся над нагло-скромной кроватью, глядел в пространство неестественными цветами глаз, смущал и сбивал с толку. Так, лежа на спине с открытыми глазами (дверь в первую комнату была прикрыта, там журчало радио, и отец, он знал, сидит за столом с развернутой газетой), мальчик вспоминал весь этот день, раздражавший его пестрой мешаниной бессвязных мелочей, дразнивший блеском перламутра, отполированных ногтей, серебряного чайника, который она несла, постукивая туфельками.

Но сама дама была прелесть — высокая, с узкой спиной и какой-то пеной из взбитого шелка спереди, чернобровая, с необычайным сиянием волос, но не темных, как у матери, а бело-золотистых, воздушных, и коричневые, горячие глаза ее странно отличались от светлой охры этих волос. Голос дамы, грудной и переливчатый, ворковал в ушах, распространяя аромат духов, мгновение — и теплые руки окружили его, она присела на корточки, и он почувствовал покусение на свою свободу, когда она привлекла его к своей теплой груди и стала щекотать губами уши. Он почувствовал все коварство этого щекотания. И конфет он не любил. Как это обыкновенно бывало с ним, мальчик не запомнил, что она говорила ему, не помнил и того, о чем она разговаривала с отцом, — кажется, о нем же, — но помнил звук голоса, влажные зубы и горячие глаза, которыми она моргала, пожалуй, слишком часто, то есть помнил то, что, в сущности, и было по-настоящему важным; он запомнил, что дама была доброй, надо отдать ей справедливость: не рассердилась, когда он что-то нарушил на этажерке, посыпались какие-то карточки, покатились по полу большая серебряная монета.

И не жадной: готова была подарить ему и эту монету (и он чуть было не взял), и что угодно.

И все же — «не пойти ли нам к тете Нонне, м?» — когда отец спросил в следующее воскресенье, словно не было между ними молчаливого уговора, что выходной принадлежит только мальчику и больше никому, словно такого закона никогда не существовало, — когда он так спросил, ответ был немедленным и безапелляционным: «Нет». Этим мальчик хотел сказать, что с дамой покончено — раз и навсегда. Случайному не было места в их полной, гармоничной и самодостаточной жизни, и с цветастым оленем, с китайскими шкафчиками, с серебряным чайником на подносе, со всем этим было покончено. «Чудак, ты на нее сердит?» — сказал отец и щелкнул его по носу. Он стоял перед зеркалом, за-

вязывая вишневый с черными ромбиками галстук. Впервые между ними протянулась, словно запретная полоса, двойная недоговоренность, оба молчали, каждый за своей сеткой из проволоки: отец — желая сделать происходящее само собой разумеющимся, сын — потому что не признавал его, не признавал за случившимся никаких прав, никакого статуса реальности.

Между тем, по мере того как общественность стала проявлять интерес к даме с шестого этажа, выяснилось, что все главное о ней уже известно. Все было известно, хотя никто ничего не видел, не знал, не слышал и никого не расспрашивал. Но подобные вещи распространяются по особым каналам, сходным с телепатическими, они, так сказать, разглашаются молча. Подобные вещи становятся очевидностью без каких-либо объяснений, аналогично некоторым другим фактам человеческой жизни, последствия которых налицо, но о том, что их вызвало, распространяться не принято: как, например, факт беременности. Было известно, что муж у этой дамы «сидит» (мальчик представлял себе согбенного человека, сидящего на стульчаке), и, разумеется, сидит недаром, обстоятельство, в известной мере аналогичное случаю бубонной чумы у вас в доме, однако, как и положено в таких случаях, проведена дезинфекция, иначе говоря, соответствующее лицо заявило о своем полном прекращении отношений с врагом народа и его дочерью, — как, где, каким образом заявило, никто не знал, но заявило. И таким образом перестало быть опасным для окружающих — хотя кто знает. Так или иначе, этот факт не мог не бросать особого света на предполагаемое замужество. Удивлялись легкомыслию Ильи Ильича. Возникла версия, косвенно реабилитирующая его, что дама уже в интересном положении и как честный человек он не находит другого выхода. Тем более, что она — согласно той же версии — не растерялась и написала заявление по месту его работы. Другой на его месте тоже написал бы куда надо, и ее бы выслали из города в двадцать четыре часа. Сожалели о мальчишке. На кухне, в угасающих сумерках долгого весеннего дня, мальчик, упершись затылком в Полинин живот, слушал тонкие замечания о лакированных ногтях и пергидроле и о том, что ребенку нужна мать, а не... Полина защищала даму. На что соседка, Анфиса Федоровна, женщина с заячьей губой, чем, возможно, и объяснялась ее принципиальность, решительно возражала, что она не представляет, как это такая «прыщесса» окунет свои пальчики в корыто. Что касается всеведущего бога, Иеговы его детства, вечно торчащего на кухне, то и он был не прочь принять участие в обсуждении, мог бы даже кое-что добавить из того, что относилось к сфере его всеведения, кое о чем рассказать, например о том, что на прошлой неделе, ночью, в годовщину своего исчезновения, бывший жилец вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. И что как раз в это время наверху, на площадке шестого этажа, показался Илья Ильич. Гость, услышав шаги, ментально испарился, исчез, как это обычно бывает с ними, но когда Илья Ильич прошел к себе в квартиру, он-таки снова появился. Одет был, как и следовало ожидать, в бушлат и ватные штаны, босой, глаза открыты, весь испачкан землей. Заляпал глиной всю лестницу. В общем, он оказался мало похож на себя, если кто помнит, это был очень аккуратный мужчина, просто-таки щеголь; шел, держась за мошонку, так как — по сведениям, опять же известным только богу, — следователь бил его сапогом в пах. И так далее. Но ни о чем таком старый бог не рассказывал, во-первых, потому, что мы жили в самой счастливой стране и он боялся, что ребенок услышит, а во-вторых, никто бы ему не поверил, никто не поверил бы, что мертвые могут самовольничать. Да и в самого бога никто не верил, эти люди отказывали ему в статусе реальности. За исключением, может быть, Полины.

Так или иначе, по им явно пренебрегали, с демонстративной брезгливостью разгоняли ладонью махорочный дым (мальчику он очень нравился) и не желали даже выслушать его мнение, хотя оно полностью совпадало с их мнением. Бог, в жилетке, которую пересекала цепочка из поддельного серебра, в белых пейзах, вылезавших из-под ермолки, и с громадной самокруткой в беззубых устах, сидел на табурете среди примусов и полок с кастрюлями и своим неуместным поддакиванием, глубокомысленным киванием бородой и всевозможными «вот! вот! а что я говорил?» нарушал тонкую коммунальную дипломатию. Его

позиция полностью совпадала с их позицией и даже больше. Кашляя и изрыгая вонючий дым, он заявил, что Полина Сергеевна вполне заменила мать ребенку и что от добра добра не ищут. Мальчик давно заметил, что старик заискивает перед Полиной. Но женщины по-прежнему высокомерно игнорировали его присутствие, и никто ему не ответил.

\* \* \*

Тогда-то, в тот день, когда отец нарядился в вишневый галстук, и произошла история, о которой мальчик не мог вспомнить без стыда и содрогания. Дело в том, что некоторая интимная сторона его жизни, в которую Полина была посвящена совершенно естественным образом и без малейшего насилия над его стыдливостью (сколько раз она выговаривала ему за то, что он не умеет пользоваться бумажкой! — в ответ он лишь нагло передергивал плечами), теперь, судя по всему, должна была открыться ей. Не говоря уже о пугающем вопросе, вдруг мелькнувшем перед ним: кто будет его мыть? И вот, на пороге этого трудного будущего, в ответственный момент знакомства с красивой, смущавшей своею красотой, парадной и кокетливой дамой, — как он опозорился перед ней!

Как и отец, он был при параде. Об этом необходимо упомянуть, потому что костюм сыграл роковую роль в этой истории. Он стоял на площадке, под доской с Тельманом, в скрипучих ботинках, в проклятых, предавших его парадных штанах, к тому же слишком коротких, при каждом шаге выглядывают резинки. Словом, он был одет, «как жених», эти слова в устах Полины прозвучали бесхитростным комплиментом, вполне свободным от задней мысли. Ибо от всех других женщин «ма» радикально отличалась тем, что никогда не говорила напоказ, то есть так, чтобы слова ее только по видимости были обращены к нему, а на самом деле предназначались для другого, — в данном случае для отца, которому они действительно подошли бы гораздо больше. Мальчик знал, что для Полины он всегда был истинным адресатом, последней целью и конечной инстанцией. Увы, отец был в этом смысле небезупречен; и он заранее готовился к тому, что сейчас там наверху начнется лукавый, неестественный разговор, в котором он должен будет исполнять роль какой-то игрушки; отец и Желтая дама, таинственно улыбаясь, станут по очереди обращаться к нему, а на самом деле — друг к другу.

Он знал, что она встретит его в дверях льстивой, ослепляющей улыбкой и ему станет не по себе оттого, что она так прекрасна; ему, а не отцу, она скажет первое слово; но эта улыбка на самом деле предназначена не ему, и отец тоже знает об этом, только делает вид, что не знает, и усмехнется. Но и его усмешка только для виду обращена к мальчику, а на самом деле — к ней. И поцелуй, который она наклеит ему на щеку (и будет потом стирать помаду удушливо-надушенным платком), этот поцелуй будет лишь символическим актом, означающим что-то другое, а не то, что обыкновенно означает поцелуй. Причем же тут он? О, как тяжело играть в игру, где ты считаешься полноправным участником, а на самом деле ничего не понимаешь, ничего не выигрываешь, и не лучше ли было бы сразу, пока они еще не поднялись туда, вернуться и содрать с себя этот противный, тесный костюм.

«Трудящиеся, совместной борьбой...» Он переминался с ноги на ногу, по привычке держась за руку отца; возникла какая-то неловкость, заминка, нужно было идти, но отец медлил, уж не решил ли он в самом деле отменить экспедицию? Но отец оставался неуловим. «Веди себя как следует», — сказала Полина, в ее словах звучало наставительное понимание важности их визита. Это был как бы смотр ее воспитательных достижений, и она призывала не ударить в грязь лицом. Оглядела его от крахмального воротника до белых чулок и сверкающих ботинок, в который раз поправила бант. «Не испачкай костюмчик». Его костюм, оф! Можно было подумать, что мир перевернется, если он посадит на него пятно от торта. Он был почти уверен: посадит. Но мир в самом деле преобразился с той минуты, когда он сменил застиранную одежду на этот претенциозный наряд, налагавший противоречивые обязанности, превративший его и в «большо-

го», и в слишком уж маленького. Ибо в новом костюме он должен был играть сразу две роли, роль сурового послушника, безукоризненного отрока с книжкой в углу, и роль мальчика-куколки, — голубой бант, шедевр Полины, обязывал его изображать ангелочка. Ненавистный бант, щекотавший подбородок и делавший его похожим на девчонку!

Они шагают по лестнице, и Полина, сложив руки на животе, умиленно глядит ему вслед. Он чувствует ее взгляд, но в последний момент, оглянувшись, делает неожиданное открытие: Полина смотрит не на него. Она смотрит на отца. Что-то проплывает, нет, стоит в ее парализованном взгляде, что-то такое, что наполняет мальчика мгновенным страхом, пронизывает догадкой. Как если бы вдруг оказалось, что под твердым полом, по которому ходят, на котором сидят и играют, находится темный подвал, где живут неизвестные существа. Но тут лестница поворачивает, впереди новый марш, мальчик тащится вслед за отцом, он цепляется за железные прутья и ждет, когда хлопнет внизу дверь. Дверь так и не хлопнула. Выше, выше; звонок. Желтая дама выпархивает навстречу, точно она уже стояла наготове за дверью, поцелуй, платок — все, как он предвидел. Через минуту он сидит на полу, на красном ковре, от которого слабо пахнет плесенью: в качестве образцово-показательного ребенка он разглядывает картинки, покрытые папиросной бумагой, в старинной полуразвалившейся книге.

Вот тогда и настало время произойти этой трагической истории. Уже давно, два часа назад, когда они сидели за столом посреди целого выводка веселеньких синих чашек с золотым ободком, таким же, как ее волосы (в тот день она была особенно хороша, оживлена и в то же время задумчива, ресницы ее были покрыты черной краской, и он ждал, когда один кусочек, висевший на самом кончике, упадет в чашку), так вот, еще два часа назад, даже раньше, когда он разглядывал на ковре приключения маленького лорда Фаунтлероя, или даже еще раньше, когда они шли наверх и он видел глаза Полины, устремленные на отца, еще тогда, как ему кажется, он чувствовал, что ему нужно сходить в одно место. Теперь это чувство заслонило все другие. По опыту он знал, что можно забыть о нем, если заняться чем-нибудь другим. И некоторое время это ему удавалось. Он твердо знал, что никакая сила на свете не заставит его попроситься, то есть, в сущности, только спросить дорогу *туда*: это значило бы навеки опозорить себя перед красивой, надо все-таки отдать ей должное, удивительно красивой дамой. Он терпел, потом забывал, вспоминал и снова терпел. И когда он предпринял сверхъестественные усилия, чтобы откусить от огромной глыбы торта, которую ему навалили на тарелку, и не запачкать проклятый бант, когда целый пласт, оторвавшись-таки, шлепнулся, к счастью, не на штаны, а на скатерть, — то и этот несчастный инцидент, наполнивший его стыдом и горем, был, в сущности, подарком судьбы, так как отвлек его от неумолимо грызущего и нарастающего желания. Но ненадолго.

Его позвали за чем-то; он не мог встать с ковра и сделал вид, что вновь с необычайным интересом углублен в приключения маленького лорда. Потом наступил момент, когда он не мог сидеть и, прямой, как палка, проковылял гусиным шагом к окну; впивался там неподвижным взглядом в нечто далекое и неопределенное, стоя на цыпочках и сжав побелевшие губы. Отец беседовал с дамой. Вдруг отец встал и подошел к нему. Спросил вполголоса. «Да», — сказал мальчик жарким шепотом. Дама подпрыгнула, всплеснув руками. Бедняжка, почему он молчал?! Точно это требовало объяснений, почему он молчал. Она повела его, упорно глядящего перед собой, по коридору, щелкнула выключателем, он остался один, близкий к обмороку, с бусинками пота на висках, полузадушенный своим бантом.

О-о, проклятье. Мальчик так торопился, что оставил пятно — вызывающе темное пятно на светлых штанах. Он все еще переводит дух, испытывая невыразимое облегчение, но по мере того, как он приходит в себя, ужас случившегося становится все очевиднее. В струящемся шелесте электрического света он стоит над сверкающей чашей, оцепенело глядя в желтую лужицу с дрожжащим маслянистым блеском, не зная, что предпринять. Ждать, когда высохнет?.. С судорожной торопливостью он стягивает с себя штаны и пытается выжать пятно над фа-

янсовой чашей. Тщетные старания, не выдавливаются ни капли. Он надевает их и с огорчением видит, что мятое пятно выделяется еще больше.

А дама? А отец?.. Они должны были спохватиться, обеспокоиться его долгим отсутствием. Наконец, просто проведать — как он там. Его всегда угрозами выгоняли из уборной, когда он сидел слишком долго.

И тут ему приходит в голову-мысль — и успокаивающая, и страшная. Отец забыл о нем. Он просто *забыл*, настолько его поглотил разговор с дамой. А она — она, может быть, и помнит, возможно, догадывается, что у него что-то не в порядке, но ее это не волнует. Они оба слишком заняты. Им не до него! Эта мысль стоит перед мальчиком, словно написанная на стене.

С расставленными ногами он стоит, забыв спустить воду, оглушенный сознанием измены. Пятно постепенно бледнеет по краям. Струится свет, маслянистый отблеск слепит и гипнотизирует взгляд, кровь медленно стучит в висках у мальчика, на шее, он стоит и не слышит, не желает слышать идущие по коридору медленные, большие, долгожданные шаги отца.

## 9. ОН ИХ УВИДЕЛ

...Был человек, даже не человек, а горло, картонное горло, которое без усталости говорило, пело и играло, всех развлекало, всех перебивало, вмешивалось во все разговоры и болтало, ничуть не смущаясь тем, что его не слушают. Неистощимое, оно постоянно напоминало всем, что оно здесь, и не обижалось, когда кто-нибудь рассеянно протягивал руку и выдергивал из гнезда вилку с лохматым проводом, который служил этому горлу вместо шеи. Стоило только заезваться, задуматься, стоило машинально протянуть руку к вилке, и оно оживало, бодрое и веселое, как ни в чем не бывало. Нет, оно тоже простужалось, как все, говорило сиплым голосом и натужно прокашливалось, но никто еще никогда не замечал, чтобы его феноменальное красноречие, его благословенная словоохотливость от этого сколько-нибудь пострадала, чтобы счастливый человек-горло хоть капельку приуныл. Он прикидывался то мужчиной, то женщиной, с утра пищал голосами детей из детского сада, благодарил за счастливое детство, потом, прочистив горло, начинал говорить голосом грозного и веселого дяди. Потом пел, хором или в одиночку, и играл на разных инструментах. Днем, отдохнув полчаса, картонный человек снова принимался говорить, почти всегда об одном и том же. Он говорил о родной стране. Эта была единственная в мире, неповторимая, неслыханно счастливая страна, так что за многие тысячи лет никто никогда не знал такого счастья, которое выпало гражданам этой страны. В сущности, люди всегда трудились, поэты сочиняли стихи, а крестьяне пахали землю для того, чтобы появилась такая страна, люди только и мечтали, чтобы дожить до такого счастья. И вот оно наконец наступило. В этой стране все улыбались друг другу, смех и звонкие песни не умолкали с утра до вечера, люди жили в просторных светлых домах, похожих на дворцы, ели все самое вкусное и шли на работу бодрым шагом, под музыку, стройными рядами, держа на плечах отбойные молотки, серпы и что там еще полагается держать. И, работая, продолжали петь. Словом, в этой стране можно было ни о чем не беспокоиться. Но чтобы было яснее, как замечательно живется в этой стране, черное горло мрачным погребальным голосом сообщало, что творится в других странах. Там происходило что-то ужасное. Там царил голод. Города состояли из трущоб. Тюрьмы и застенки были переполнены борцами. Помещики и капиталисты надели на шею всем трудящимся одну широкую петлю и с каждым днем все туже ее затягивали.

Но кто же был тот, кому обязаны были своим счастьем все граждане юной, прекрасной, могучей и справедливой страны, к кому тянули свои ручонки счастливые дети и на кого с надеждой и любовью взирали угнетенные народы всех стран? Конечно, это был он, товарищ Сталин, это его окошко светилось в Кремле, чьи звезды, как петушки на палочках, сверкали над всеми странами и океанами, это он булькал водой из графина. После чего черное горло, свесив со шка-

фа свой заостренный зад, говорило кишечным, сдавленным голосом самого вождя. Он начинал с того, что, собственно говоря, ему говорить не о чем, все, что надо было сказать, уже сказано в речах наших руководящих товарищей, и поэтому получалось, что он вынужден говорить и вынужден терпеть бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Мальчик любил вождя. Когда нужно было дать честное слово, давал честное ленинское, сталинское и всех вождей, при этом само собой разумелось, что Ленин имел смысл лишь в том отношении, что был предком вождя, а «вожди» — Ворошилов с кухонным ножом, Ежов в ежовых рукавицах, Молотов в пенсне и Каганович в фуражке с молоточками — постольку, поскольку они его обрамляли и выглядывали из-за его головы. Разумеется, мальчик знал, что однопопый черный зад, сидящий на шкафу, лишь косвенно и отдаленно дает через себя поговорить вождю народов и, в сущности, не имеет с ним ничего общего. Мальчик перешагнул возраст, после которого становишься хозяином собственной мифологии, и превратился из мифотворца в эстета. Ему не нужно было объяснять, что это горло, которое, как пес на цепи, сидело на длинном проводе между папкой для нот и футляром-саркофагом, на самом деле и есть то самое, чем оно выглядит, — старый дребезжающий картон; но насколько интересней было видеть в нем живое существо! Мальчик усвоил опасную истину, согласно которой действительность моделируется нашим воображением.

Картон пел песни, частушки; в сущности, его цель состояла в том, чтобы отвлекать от нехороших мыслей и прогонять дурное настроение. Что он и осуществлял весьма успешно. Таким образом, то, что он не умолкал ни на минуту, имело резон. Ведь дурные мысли могут прийти в любое время. Но эта сорокабелобочка была всегда себе на уме и, может быть, притворялась глупее, чем была на самом деле. В конце концов всегда или почти всегда было ясно, чем она кончит фразу, едва лишь она ее начинала, и от этого казалось, что она выражает ваши собственные мысли. Картон стал членом семьи.

Картон сыграл марш «Если завтра война», казалось, он был слегка раздражен тем, что эту войну обещали каждый день, каждый день ее откладывали на завтра, а она все не наступала. Он исполнил песню о вожде, в которой были слова «с песнями любви и изобилья»: это И-И-И тягучим эхом неслось потом через все тридцать лет. Картон объявил арию Хозе. «Кармен, тебя я ува-жа-аю!» — заорал мальчик. Раздался грохот, из другой комнаты зашлепали быстрые шаги. Картон запел арию Герцога. Снизу послышалось: «Сердце краса-авец! Словно кызме-е-не».

Услышав эту ужасную абракадабру, говорящий картон не мог усидеть на шкафу. Со словами: «И к перемене! Как ветер мая!» он спрыгнул на пол, волоча за собой провод, и стал приплясывать перед мальчиком; так они спели сообща оба куплета. И вдруг раздалась три звонка. Три протяжных звонка в коридоре.

Это не могла быть тетка, ее звонки были короткие и суетливые. Это не мог быть отец. Отец не приходил днем. Выбежала Полина, заспешила по коридору. Из комнаты напротив выглянула соседка, Анфиса Федоровна; в дверях своей каморки появилась сухая и плоская, точно голова старой черепахи, головка старой Марьи Александровны.

Широко, до отказа растворился парадный вход, молчаливый и небритый человек вошел боком и отколушнул верхний запор. Все с любопытством наблюдали это событие. Затем в зияющем распахе дверей, откуда дуло холодом, показались снова тот же человек, спиной вперед, он обнимал гигантскую плетеную корзину. Чудовище, подобное букве Н, где корзина служила перекладной, вдвинулось в коридор и пошло медленными шажками четырех ног прямо к их двери. Мальчик пролез, мешая им, в первую комнату и стал рядом с Полиной. Ее рука опустилась и привлекла его к себе, к животу. Двигаясь все так же, задев плечами за косяки и едва не сорвав занавеску в прихожей, носильщики достигли первой комнаты, густой голос спросил: куда ставить? Все это происходило медленно, тяжеловесно и неотвратимо. Блестел паркет, картонный рупор смиренно помалкивал на шкафу, но посреди комнаты, на дороге, алело похожее на редиску рыцарское сердце, картинно пронзенное мечом. Над ним вилась лента с девизом «Я Воскресение и Жизнь», представлявшим такое нагромождение



ошибок, что прочитав его могла только Полина. Задники сапог надвигались на него. «Щит!» — закричал мальчик, фанера хрястнула, человек машинально отшвырнул ее в сторону. Такими же инстинктивными шаркающими движениями раскидал он кубики, нога наступила на адмирала Нельсона и потащила его за собой. Наконец корзина была водружена на отведенное ей место. Носильщики, не дав себе передохнуть, пошли за другими вещами. Явился китайский шкафчик с перламутровыми уголками. Принесли две спинки эмалированной кровати, повесив их на каждое плечо. Втиснулся, взбрыкивая изогнутыми ножками, овальный туалетный столик. Все это были кокетливые, прихотливые вещи, рядом с которыми убогие вещи отца выглядели плебеями. Сразу стало тесно. Мальчик сел на корзину. «Слезай сейчас же!» — накинулась Полина. Могла бы и потише. Подумаешь, стекляшки. Как-то само собой получилось, что крышка плетеной корзины приподнялась, из нее явилась граненая склянка с затейливой финтифлюшкой вместо пробки. Сверкая гранями, точно брусок желтого льда, она неожиданно выскользнула из рук и шлепнулась, выронив пробку. Духи разлились, распространяя удушливый запах. «Ведь вот, говорила же!» — прошипела Полина. Мальчик бросился в прихожую, успев захватить помаду и пудру, мгновенно разукрасился перед зеркалом. И в таком виде предстал перед робко остановившейся на пороге золотоволосой, кареглазой, стройной, как стебелек, растерянной и счастливой дамой.

Итак — свершилось.

\* \* \*

Цс-с... Не шуметь. Не двигаться, не шевелиться, не чихать, не пукать. Не Ды Шать. Осмотреть местность. Мальчик ощупью находит на животе кнопку. Нажимает: открываются глаза. Сначала один глаз. Обе двери, в прихожую и туда, к ним, наглухо закрыты; за окошком щебечут птицы, кирпичный брандмауэр косо освещен солнцем; как всегда по воскресеньям, утро кажется очень ранним: везде, на дворе и на улице, тишина.

Он не успел еще привыкнуть к этой комнате, к низкому дивану, на котором спала тетка; теперь это его диван. Недурно: широко и мягко. И вдруг, мгновенно вскочив, он сбрасывает одеяло и сидит, уперев кончики босых ног в холодный пол. После минутного колебания он пускается на разведку вокруг стола. Удивительное чувство голых шелковистых ног, задевающих друг за друга, колышание рубашки, тишина, тайна, и вот он уже достиг цели. Внезапно в большой комнате взрывается треск, от которого мальчик едва не падает в обморок, громкое сердце тяжело колышется в его маленьком теле, в такт замирающим щелчкам: это последние, бессильные корчи будильника, который не завели, но забыли придавить накануне; отец кладет на него, не просыпаясь, большую ладонь, и вновь все тихо.

Медленно, медленно скрипит дверь, лицо мальчика протискивается в щель. Занавески нет, висит одна веревка. Нет иконы, нет и кровати, где спала «ма», ничего нет. В углу стоит веник. Он удивлен, то есть не удивлен, он это знал, но почему-то забыл. В эту минуту он неожиданно замечает, что за спиной у него, за закрытой дверью, в большой комнате, — не спят.

Они не спали, но и ничем не выдали себя; он уловил их присутствие не слухом, а чем-то, что обгоняло слух. Возможно, они лежат, скосив взгляд, и прислушиваются. Возможно, кто-нибудь из них подкрадывается на цыпочках. Сейчас дверь распахнется. А, негодяй! Он подслушивал!

Он застыл, растопырив руки, ждал до головокружения. Никто не появился. Посреди текучей, шелестящей тишины до него донесся простой и обыкновенный звук — хорошо знакомый ему вздох старой никелированной кровати. О, Господи. Ведь они просто спали. Спали и поворачивались во сне, как все взрослые по воскресеньям. Время от времени скрип возобновлялся, они не произносили ни слова, не шептались, не спрашивали вполголоса, который час. Ах, будь здесь старик, бог детства, он бы схватил его за руку и увел на кухню. Где ты, дедушка? Мальчик подошел к двери и услышал молчание: оно было полно необъ-

яснимых звуков. Дверь стала приоткрываться. Вещи жили вокруг него, так и эта дверь сама собой принуждала его посторониться. Он уступил ей, он стоял на пороге в ярком свете утреннего солнца, бьющего с улицы, он был ослеплен этим потоком света и очарован новой мыслью. Его не могли заметить, даже если бы они не спали, ведь он был невидим!

Он был невидим, зато сам видел всех. Человек-невидимка, а что тут такого?.. Несчастный Гриффин, он бежал по ослепительно яркому, залитому солнцем снегу; и лишь глубокие следы от босых ног один за другим впечатывались, уходя все дальше и дальше. По этим следам, следя за их поворотами, стреляли... Человек-невидимка. Вещь вполне естественная.

Он представил себя со стороны: длинная белая рубаха в пустоте над сверкающим паркетом. Пустой ворот, поднятый кверху рукав, все, что осталось от невидимой руки, от пальца, ковыряющего в невидимом носу. И вдруг рука опустилась. Непонятная новость, вместе с жарким, все учащавшимся дыханием там, на кровати, вывели его из прострации; высунув голову из-за дверного косяка, он смотрел с глубоким недоумением на то, что происходило за никелированными шарами.

Солнце, вставшее над крышами, било из двух больших окон, ослепляя его, блестели шары, ярко переливалось новое шелковое одеяло, наконец, он увидел — но кого? Бесформенное существо, вздымавшееся под одеялом. Тяжкое дыхание, звук борьбы. Он увидел бледно-золотистые волосы красивой дамы, спутанные волосы женщины, накрывшие и ее, и отца, потому что тот, кого она поборол, подмяла под себя, над кем она билась и кого приканчивала, — был его отец.

Но тут она застонала, словно ей самой медленно погрузили нож в низ живота. Жалобный стон перешел в долгий вздох, и на глазах у мальчика она скончалась. Они оба умерли, обняв друг друга. Наступила тишина. Солнце пылало в окнах. Мальчик плакал.

И хотя довольно скоро стало ясно, что ничего страшного не произошло, он ничего не мог с собой поделать и навсегда утратил способность быть невидимым. Они разъединились, она приподнялась, придерживая на груди край розового одеяла. «Ты уже проснулся?..» — спросила удивленно. На лице ее был странный свет. Мальчик смотрел в пол, ноги у него ооченели, и он громко икал.

Тогда она сбросила одеяло, мелькнули ее ноги, повернувшись спиной, она запахнула халат и собрала на затылке волосы. «Ну, пошли», — мягко сказала она. Она вытерла ему щеки крошечным кружевным платком, заставила его высморкаться. Он тупо поплелся за ней.

Мальчик уснул, но спал недолго. Открыв глаза, он увидел, что солнце ушло с кирпичного брандмауэра, двор наполнился густой синевою, он вспомнил, что из прихожей вынесли кровать и убрали занавеску, на мгновение увидел снова рыжий свет над крышами и никелированные шары. Он устроился поудобнее. Подложив руки под голову, он лежал на спине, глаза его блестели белым, неподвижным блеском, как вода в озерах.

Он был спокоен и суров. С холодным любопытством ждал, что она теперь предпримет. Как она начнет подлизываться.

Она вошла, напевая. *Она* — это было теперь ее единственное имя. «Тетя» не годилось; называть ее мамой, как наставляла его Полина, было немисливо. Итак, она подошла и присела на край дивана. Волосы перевязаны сзади ленточкой.

«Мы будем друзьями, да?» — сказала она глубоким грудным голосом, в который вложила все свое очарование. Он смотрел мимо нее.

«У, какой злюка.— Она пощекотала ему подбородок. Мальчик засмеялся.— Ну, посмотри на меня».

Он взглянул на нее блестящими, полными ненависти глазами. Он не знал, как ему выразить эту ненависть. «Уходи, — сказал он раздельно. — Уходи от нас. У, с-сука. Пошла вон от нас! Чтоб твоего духу!..»

И умолк, несколько удивленный ее молчанием. Он с особенным сладострастием выговорил это слово с его ядовитым и разящим, как стрела, «с», выпустил его прямо в нее и ждал бурной реакции. Но она молчала. Задумчи-

во смотрела на него, подперев подбородок узкой рукой с лакированными ногтями.

Потом, вздохнув, она встала. Мальчик думал, что она начнет собирать вещи. Она коснулась рукой волос и направилась в большую комнату, к отцу. В большой комнате тихо играло радио. Она прикрыла за собой дверь. Но он все равно услышал бы их разговор. Может быть, отец спал? Она вернулась, снова села к нему на диван и посмотрела на мальчика непостижимым взглядом, какой он иногда замечал у взрослых, — на него и в то же время сквозь него.

«Ты прав, — проговорила она, — дети всегда правы, но, Боже мой, я ведь не навязывалась! Я сама говорила».

Он уловил новую интонацию в ее голосе, она признавала себя побежденной и не старалась больше его обворозжить. Он позволил себе некоторую снисходительность. Милостиво слушал, подложив руки под голову.

«Да, ты имеешь полное право так говорить... Но причем тут я? Вы все меня ненавидите. За что? Что я вам сделала плохого? Прямо заговор какой-то. Эта горбунья, похожая на бабу-ягу... Или эта, как ее... с заячьей губой?»

«А, — процедил мальчик. — Анфиса?»

«Послушай... Кто этот старик, о котором они все время говорят? Разве у тебя есть дед?»

«Какой дед, — сказал мальчик презрительно. — Это бог».

«Бог?»

«Ну да. Вообще-то его нет, но он иногда сидит на кухне. Такая игра», — пояснил он.

«Сумасшедшая квартира. Ты знаешь, — продолжала дама, горячо глядя на него, — я их боюсь. Честное слово. Особенно эту с губой. Мне кажется, она что-то замышляет. А?»

«М-м... как сказать?» — замылся мальчик, польщенный тем, что она обращается к нему, как к взрослому, и совершенно не имея представления, что ответить.

«Я так боялась выйти на кухню, что поднялась к себе наверх и там приготовила обед. А вечером прихожу, она стоит, представляешь себе?..»

Мальчик напряг внимание, все еще не понимая, что она имеет в виду.

«Представляешь, и запела: За красу я получила первый *прыз*, все мужчины исполняют мой *капрыз*!.. Ты думаешь, для кого она это пела?»

\* \* \*

Да, завершение этого слишком затянувшегося утра можно было назвать счастливым: ибо оно закончилось как-никак примирением. Щеки дамы порозовели, она старалась успокоиться, прижимая к ним тыльной стороной пальцы с прохладными полированными ногтями. Но что-то изменилось.

Догадывалась ли она, что облегчение наступило просто благодаря двум-трем фразам, которыми она обменялась с мальчиком, этим бедным, запущенным сорванцом, за чье воспитание она теперь, будьте покойны, возьмется? Ибо если он бесконечно затруднял и усложнял жизнь взрослых, то ведь он же и служил для них чем-то вроде громоотвода. Но главное — это был неожиданный смех мальчика. Услыхав про «капрыз», он расхохотался, как безумный!

Этот смех все развеял.

«Клянусь тебе, я никогда...» — говорила она взволнованно.

«Ка...прыз», — лепетал мальчик. Время пафоса миновало.

Она тоже смеялась.

Так прошло несколько минут, а затем смех прекратился. Мальчик сердито посмотрел на даму и показал ей язык.

Озадаченная, она сказала: «Ах ты, маленький злюка».

И тоже высунула язык.

В ответ мальчик надул щеки, напрягся, не спуская с нее глаз, стал медленно краснеть и вдруг пукнул.

«Фу, — сказала она презрливо. — Какой срам».

Он не знал, что ей еще ответить, и сказал:

«А я знаю».

«Что ты знаешь?»

«Я видел».

«Ну и что? — сказала она, глядя ему в глаза. — Глупец».

Мальчик почувствовал, что его преимущество слегка обесценилось. Тайна выглядела уже не столь жгучей. Возможности шантажа уменьшились.

«Когда люди любят друг друга, — сказала она, — это не стыдно. Вырастешь, поймешь. И потом, если бы этого не было, то и тебя бы не было».

«Как это?» — спросил он.

«А вот так. Ты хочешь, чтобы у тебя была сестричка? Так вот, без этого она не родится».

Он был сбит с толку: какая еще сестричка. Что она там несет? Не хотел он никакой сестрички. Он хотел быть один, с отцом. И с Полиной. И чтобы никого больше не было.

«Дурачок, — пропела дама. — Иди ко мне».

Очевидно, как все женщины, она полагала, что таким способом можно разрешить все проблемы.

Он колебался.

«Ну?..»

Что-то произошло. Он сидел на коленях у женщины, которую не хотел признавать, к которой был равнодушен, если не считать какого-то раздражающего любопытства, которое влекло его к золотоволосой даме, и все же было приятно расквашиваться и слушать, как она мурлыкает: «Спи глазок, спи другой». И еще что-то в этом роде... Спи глазок! У него было чувство, словно он в чем-то безвозвратно вязнет.

«Не надо», — сказала она запахиваясь.

«Нет, — прощентал мальчик. — Что это?»

«Это грудь. Не надо, будь хорошим».

«Какой большой». Сосок затвердел в его руке. «Я хочу туда, пусти», — сказал мальчик, стараясь раздвинуть полы халата.

«Нельзя. У мамы нельзя смотреть».

Это был рискованный шар; и она постаралась как можно небрежней произнести это слово.

Он сделал вид, что не слышал.

«Ну хватит». Она встала и подошла к двери в большую комнату.

«Илюша! Хватит спать».

Мальчик не сообразил, к кому она обращается, потому что это было и его имя, и никто при нем еще не звал так отца. И он понял, как много между ними стоит нового и чуждого.

«Илюша, — в голосе дамы появилось нечто кокетливое, — можно нам к тебе? Мы теперь друзья!»

## 10. ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Мальчик стоял, выпучив глаза, с видом героического самоотвержения, влача смычок по струнам; в программе — Шрадик, «Упражнения», «Ария» К. В. Глюка, «Ригодон» неизвестного классика, фамилия была оборвана, и ряд других произведений; но уголком глаза он следил за «мамой». Она удалилась на цыпочках, деликатно прикрыв за собой дверь. Ее каблучки простучали по коридору, хлопнуло парадное, и сейчас же он бросил скрипку, схватил стул и потащил в прихожую. Это было непростым делом, принимая во внимание, что то, что он искал, находилось в самой глубине, среди батареи пыльных склянок; путь преграждали велосипедные колеса, одно из которых всегда вращалось, напоминая о том, что и земля не стоит на месте, — здесь, наверху, это чувствовалось, пожалуй, еще отчетливее. Он чуть не полетел вместе с табуреткой, водруженной на стул, рискуя обрушить на себя ветхую антресоль, все же операция была доведена

до благополучного конца. Но теперь нужна была особая осмотрительность. Она появилась как раз в тот момент, когда он шел с кухни — отнес табуретку и заодно проверил, растворяется ли эта вещь в воде, — как раз в эту минуту раздался три звонка. Беспечная, как все женщины, она не заметила, что стул стоит в прихожей, а мальчик тянет все то же ларго, от которого можно повеситься. Она позвала его нежным голосом, предлагая на время прервать самоотверженный труд.

На столе стояло молоко и коржики, которые она испекла, это было одно из ее нововведений, пить в двенадцать часов молоко, и, чтобы подать пример, они пили вместе. Мальчик был благоденствен. Он уселся, в точности не представляя, как он осуществит свой план, но тут весьма кстати зазвонил телефон. Она встала и пошла в коридор. Звонили ей. Он вытащил из кармана спичечный коробок. Потом он побежал и бросил коробок в форточку. Сел. Она все еще разговаривала.

Когда она вошла, мальчик размешал молоко и подвинул ей чашку. Так решил тайный суд, заседавший под сводами подполья: все в черных капюшонах, закрывающих нижнюю половину лица. «Что с тобой?» — спросила она. «Ничего, — сказал он. — Пей».

Она улыбнулась. Победа за победой; правда, он еще никак ее не называет, но уже говорит ей «ты».

«Хитрец. Я выпью, а ты нет».

«Подумаешь, — сказал он. — И я выпью».

«Умница».

Она откусила коржик. Он не сводил с нее глаз. Радио шелестело на шкафу. Что-то не нравилось ему в его плане, что-то не то, но раздумывать некогда. Внезапная идея озаряет мальчика, он выхватывает чашку из ее рук, быстро пьет и больше уже ни о чем не думает: его захлестывает неистовая радость. Тотчас начинается рвота, он корчится на диване, кажется, все внутренности лезут наружу, но ничто не в состоянии заглушить эту бешеную, жестокую, злую радость.

\* \* \*

А колеса вращаются, повинувшись кружению земли, а веселый человек шепчет в черном картоне, а солнце косо освещает розовый брандмауэр, встает над кирпичным домом, и плакат на углу сморщился, отчего штык, похожий на кухонный нож, переломился надвое, и на улице у подъезда стоят кучкой люди.

Веселый, бессмертный человек, он поет во все горло в окне кирпичного дома напротив, уже совсем тепло, и женщина с голыми ногами моет раму. Он живет всюду, говорит со всеми, неунывающий человек-горло, и ведь правда — до чего замечательно все на свете! Как прекрасна жизнь! Но никто не радуется.

Вот стененно, как на демонстрации, выходит шествие из-за угла, медленно идут друг за другом: Полипа, в монашеском уборе, с ней рядом Святитель в белом, в белых лаптях и с золотой подковой вокруг головы, за ними старый бог детства с седыми пейсами и цепочкой из поддельного серебра, за ним Тельман в красной рубашке, рот-фронт, держит кулак; за Тельманом еще много всякого народа, несут на палках портреты вождя и портреты мальчика. Все выстраиваются у подъезда. Конечно, так не бывает. Конечно, это только фантазия, просто люди собрались перед подъездом, ждут и тихо переговариваются. Тут кто-то спрашивал, как называется эта отравка. Так я вам отвечу. Крысид. Хорошенькое название, а? Вот именно, от крыс. Вскрытие показало. Должно быть, несчастный случай. Вот что значит оставлять детей без присмотра.

Да как же без присмотра, ведь она даже бросила работу, чтобы с ним сидеть. Ха, тоже мне работа. Машинистка в конторе помогать кому делать нечего. Вертихвостка, прости Господи. Все они такие. А знаете ли вы, где ее муж. Вот то-то и оно. Свою собственную дочь оставила, не то что за чужим смотреть.

Но тут все речи смолкают, и картонный человек поспешно сворачивает ноты, потому что в это время вдали, на Спасской башне, начинается неспешный мелодичный звон. Пикают сигналы точного времени. Из темной квартиры на площадку, где пахнет крысами, на весеннюю улицу, в переулок, полный про-

хладной синевы, плывет узкий деревянный челн. Суется, грозным шепотом распоряжается тетка, Эсфирь Ильинична.

Открываются задние дверцы. Все хотят помочь, все лезут, до чего бестолковый народ. Шофер сам, отстранив всех, вдвигает мальчика в темный, как погреб, автобус. И как широченные рукава, как руки, разведенные в танце, над всем переулком плывет: «Широка страна моя родная».

Выходит отец. Об отце-то все и забыли. Он выходит, держа в руках щит с алым, пробитым насквозь сердцем. Лезет в автобус, ничего не получается, шофер ведет его, как слепого, с растрепанными, развевающимися волосами, покаяется, куда деть.

А где же она? Говорят, ушла наверх, в старую квартиру, лежит, не может встать.

В тот самый момент, когда шофер захлопывает задние дверцы, предлагает гражданам посторониться, из-за поворота, но не оттуда, откуда шла демонстрация, а с противоположной стороны, раздается звон, бряцают подковы, и выезжают закованные с головы до ног всадники. Они останавливаются, лошади в малиновых пополах грызут железные удила и переступают копытами. Синь небес отражается в серебряных латах. Рыцари опускают копыта. Конечно, так не бывает. Просто из-за угла, мелко стуча копытцами, бредет ослица. Трусит вдоль тротуара, бренчит колокольчиком. А на ослице едет Спаситель. Оказывается, это не соседи столпились перед автобусом. Это ученики, это окрестные крестьяне, бродячие торговцы амулетами, цыганки, высматривающие детей, словом, всякий люд. Но и это, конечно, выдумка, потому что так не бывает.

— Эй! Мальчик!

Это возглас любви и жалости.

— Мальчик! Выходи!

1976



---

---

## Илья Рубин

### СВОЕВОЛИЕ БОРИСА ХАЗАНОВА\*

Уже несколько лет из промозглых советских потемок постепенно выплывает на свет Божий неведомый прежде остров, называющийся Борис Хазанов, — рассказы, повести, стихотворения, переводы, статьи. И все чаще встречаются люди, которые, говоря о современной русской литературе, естественно дополняют этим именем короткий список, составленный из немногих, ставших уже привычными, имен. Хотя — если проверить гармонию хазановской прозы дотошной литературоведческой алгеброй — обнаруживается одна трудно объяснимая странность (другому писателю подобная странность могла бы стоить репутации!): Хазанов кажется нам совершенно самостоятельным и оригинальным писателем, а между тем многие его произведения (признаваемые всеми в числе лучших) с простодушной откровенностью кого-то или что-то напоминают — Томаса Манна («Час короля»), Кафку («Дорога на станцию», «Частная и общественная жизнь начальника станции»), Камю («Идущий по воде»)… Чем больше я размышлял над этим противоречием, тем более важным оно мне казалось, пока я не понял, наконец, что в нем-то и зарыта «зеленая палочка», скрытая в глубине творчества всякого истинного писателя…

Около пяти веков назад старец псковского Елеазарова монастыря Филофей сформулировал известную историческую концепцию «Москва — третий Рим». «И странное дело, — с удивлением отмечает современный историк, — теория эта обосновывала право московских князей на центральную власть в России, предрекала Москве роль вечного центра мировой истории, ибо четвертому Риму «не быть», но тем не менее она осталась, в конечном счете, всего лишь теоретической конструкцией, не получила широкого и долговременного применения в практике московского правительства». Одним словом, концепции псковского старца не повезло; с концепциями, как и с людьми, это бывает. Ее не то что забыли, но вспоминали как-то без энтузиазма, а порою — и с явным раздражением. Уж больно неримским был филофеев Рим — с его неуклюжей свирепостью, немилосердной стужей и раскосым христианством. Но через много сотен лет обнаружилось, что старец был не совсем не прав…

«Что мы знаем твердо, так это то, что мы пришли после катастрофы», — утверждает в одной из своих статей Борис Хазанов. И далее: «Мы живем в сознании великой потери». А раз была катастрофа, раз произошла великая потеря — значит, был и Рим? Конечно, Москва Василия Темного и Малюты Скуратова не была истинным Римом — в той же самой мере, в какой всамделишный Рим Нерона и Домициона не был тем Римом, который стоило бы оплакивать. «Тюрьма народов», «жандарм Европы», «нация рабов» — эти бранные клички одинаково годились и для императорской России, и для императорского Рима. Но великие и бесчеловечные Империи не только казнят, запрещают, завоевывают и подавляют — они меценатствуют, забывают, прощают и смотрят сквозь пальцы. В жестких складках шкур этих Левиафанов ухитряются кое-как коротать свой век Достоевские и Петронии, Овидии и Пушкины, Чаадаевы и Тациты… Их объявляют безумцами, ссылают в Дакию или на Кавказ, убивают на дуэли, им высочайшие приказывают перерезать себе вены — и все-таки их венчают лавровыми венками, все-таки они плоть от плоти Империи, ее посмертная гордость, вечный укор ее совести. Империя не только убивает их — она их возвеличивает (часто против своей воли), и они, смиренные каторгой или смертью, платят ей тем же.

А потом — потом приходит Катастрофа, и варвары волокут по живому телу Империи чичиковские брички, приспособленные под пулемет… Тогда (неожиданно!) наступает время великих слез: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города ве-

---

\* Статья перепечатывается с небольшими сокращениями из прижизненного сборника автора «Оглянись в слезах». Иерусалим, 1976.

ликого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Иона, 4, II). Тогда и оказывается, что настоящим Римом — и первым, и вторым, и третьим — можно воистину сделаться лишь после гибели. Ибо настоящий Рим строят не голодные рабы, не крепостные мужики — настоящий Рим вспоминают, оплакивают («Мне ли не пожалеть...»), возводят в своем милосердном воображении поэты. Тогда-то вырастает на месте страшного Петербурга «Медного всадника» тот светлый город, где захоронено мандельштамовское солнце.

Тогда на пустом, загаженном месте снова возникает римский патриотизм, очищенный от кровавых пленок верноподданнического патриотизма времен Империи, — патриотизм-воспоминание, патриотизм-иллюзия, патриотизм-химера, патриотизм — поэтическая выдумка. И самыми яростными патриотами оказываются чаще всего не италийцы, и не великороссы, а так называемые инородцы. «В своих великолепных панегириках Клавдиан, стоя на краю бездны и не желая замечать грозящей опасности, прославлял богиню Рима, ее величие и мощь. Римский патриотизм этого греческого выходца из Египта был неподделен и глубок. В любви к «золотой богине Рима» ему не уступал младший его современник, Рутилий Намациан из южной Галлии. В 416 г., покидая Рим перед возвращением на родину, он целовал ворота Рима, обливаясь слезами». Так пишет о последних римских поэтах, влюбленных в свой (чужой?) гибнущий, несчастный город, историк Голенищев-Кутузов. И еврей Борис Хазанов вторит ему, признаваясь в своей безнадежной, гибельной, безответной любви к третьему Риму и его языку, золотой пушкинской латыни: «Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только в этом невидимом граде я могу обитать... Безумие мое бредит по-русски... Земля моих отцов — та, на которой мыкаюсь я сейчас. Или вообще никакая» («Новая Россия»).

Гибель Империи — это не только и не столько загаженный нечистотами Форум или взорванный храм Христа Спасителя — это крушение Космоса, всеобъемлющего иерархического порядка, который сам по себе вполне заслуживал Божьей кары, но в то же время таинственным образом организовывал и животворил великую культуру. Уникальная и самодостаточная культура всегда целиком реализует себя в контексте одного национального Космоса, одного иерархического порядка, хотя отдельные проявления культуры могут (а может — и должны) быть чужды этому порядку или враждебны ему. С известными оговорками можно сказать, что культура и порядок дополняют друг друга, вместе исчерпывая до конца национально-историческую ситуацию, хотя осуществляется это дополнение не в процессе добровольного сотрудничества, но в борьбе, в атмосфере взаимного непонимания, отлучений и анафем. В России, например, основополагающей исторической ситуацией было растущее из века в век отчуждение народа от государства, правящей элиты, интеллигенции. Славянофилы строили на этом отчуждении оптимистическую концепцию избранности (богоносности) русского народа, а западники предсказывали неминуемое крушение Империи, если отчужденность не будет преодолена, государственные деятели и революционеры пытались манипулировать народом — в собственных интересах или в интересах самого народа, как они их понимали. В 1917 году гордиев узел извечной русской ситуации был разрушен, и весь круг проблем российской культурной традиции перестал существовать. Возник своеобразный исторический вакуум — и положение в нем интеллигенции было подобно положению Робинзона на другой день после кораблекрушения. Ведь само понятие «необитаемости» крайне условно — для коз и попугаев или для дикарей, устраивавших на острове пикники с песнями, плясками и поеданием себе подобных, остров был вполне обитаем. Он был необитаем лишь с точки зрения Робинзона Крузо — единственного на острове носителя европейской цивилизации. Когда Даниэль Дефо подробно описывает сложный процесс изготовления глиняных горшков или героическую эпопею перетаскивания лодки, наш интерес ко всему этому вызывается не только «остранением» — литературным приемом, когда знакомый предмет, увиденный как бы впервые, кажется нам странным и необычным. В романе Дефо обновляются не предметы, а отношения: «остранение» из литературного понятия становится понятием экзистенциальным. Нас глубоко трогает и впечатляет по-



пытка одинокого человека заполнить культурную пустоту, не выжить любой ценой, но активно противостоять «необитаемости».

Это же противостояние я усматриваю и в творчестве Бориса Хазанова. С той же кропотливой настойчивостью, с какой Робинзон воссоздавал вокруг себя материальные символы утраченной цивилизации, Хазанов в условиях «необитаемой» России строит свои повести, рассказы и статьи из обломков европейского гуманизма. В самих концепциях Бориса Хазанова нет, пожалуй, ничего нового — как не было ничего нового в технологии изготовления Робинзоном глиняных горшков; впечатление новизны производит одинокая попытка на островах воспетого Солженицыным необитаемого Архипелага отстоять человечность Томаса Манна и скептицизм Чаадаева. Эта попытка трагична и заранее обречена на провал, и автор знает об этом — недаром гибнут романтические гвардейцы, выступившие в защиту своего монарха, гибнет сам король, нацепивший во имя чести желтую звезду, гибнет Ларёшник, во имя чести отказавшийся уплатить уркам положенную дань...

Трагизм позиции Бориса Хазанова состоит в том, что он отказывается ошибаться вместе с эпохой и судить себя ее судом. Это и создает атмосферу добровольного одиночества, что пронизывает почти каждую его страницу, — одиночества русского интеллигента, добровольно признающего себя евреем, одиночества еврея, добровольно решившего остаться русским интеллигентом. Если окружающий тебя мир безумен, неприемлем, отношения с этим миром сужаются до отношений с самим собой: «Безвыходность избавляет от ответственности — перед кем? Перед другими. Но не перед самим собой» («Час короля»). Нравственный выбор в безвыходном положении — вот основная тема творчества Бориса Хазанова.

В повести «Час короля» этот выбор осуществляет король Седрик X, архаический символ порядочности и разума — тех добродетелей уходящей Европы, которые были ее способом существования, ее мифом, но в XX веке были растоптаны и осмеяны. Одиночество Седрика помножено на одиночество его крошечной державы — она по воле автора самая беспомощная из всех беспомощных скандинавских стран: всесильное и наглое зло настолько больше ее, что военный конфликт автоматически превращается в нравственную проблему.

Почти навязчиво Хазанов убеждает нас в немотивированности поступка Седрика, отбрасывая все возможные практические, утилитарные цели, которые он мог бы преследовать. Этот поступок автор именуется «абсурдным деянием». В статье «Идущий по воде» Борис Хазанов разъясняет философию «абсурдного деяния»: «Так рождается концепция Деяния с большой буквы, того самого «мгновения истины», когда человек раздвигает сетку узаконенных координат, словно прутья решетки... Абсурдный шаг, нелепая выходка... Это свобода, которая апеллирует к самой себе». Если в XIX веке еще верили, что справедливость и свобода достижимы в рамках рационально построенного общества, то в XX веке свободу обретают лишь одиночки, способные поступать нелогично, иррационально, абсурдно. Все это может показаться сколком с философии Раскольникова («своеволие заявить»), но за сто лет своеволие поменяло знак на противоположный: если во времена Раскольникова своеволие заявляли убийством, то сейчас своеволием и абсурдом звучит отказ от убийства. Причем изменилось не только «преступление», но и «наказание». Раскольникова за убийство двух женщин приговаривают к каторге. Седрика за проявление неуместного сочувствия к евреям расстреливают. Так повысилась цена свободы.

Лагерные рассказы Хазанова показывают нам тот мир, который, казалось бы, тоже хорошо знаком всем, читавшим Солженицына, Шаламова, Синявского, Марченко. Но есть какой-то неуловимый сдвиг точки зрения, заставляющий нас не столько увидеть, сколько почувствовать по-новому хазановский Архипелаг. Для большинства современных русских писателей, и прежде всего для Александра Солженицына, ситуация лагеря допускает внутри себя квазинормальное человеческое существование, то есть может идти речь о физическом и нравственном выживании, о полноценном социальном выборе между подлостью и честью, добром и злом. Праведность Ивана Денисовича — это нормальная праведность нормального человека в очень трудных условиях. В сущности,

лагерь не изменил ни кавторанга, ни Цезаря, ни Алешки-баптиста, ни Ивана Денисовича. В этом мире они не встретили ничего такого, что заставило бы их поменяться ролями или исполнить одну и ту же роль. Солженицын сравнивает сталинскую систему террора с Дантовым Адом (отсюда — название романа «В круге первом»). Но Ад у Данте — это царство торжествующей справедливости, одно из условий разумно устроенной вселенной. Лагерь уже настолько стал необходимым элементом нашей вселенной, что мы решаем, как вести себя в лагере, молчаливо предполагая его закономерным продолжением повседневного бытия.

Для Бориса Хазанова лагерная ситуация почти исключает человеческое поведение. То есть она настолько абсурдна сама по себе, что делает невозможным «абсурдное деяние», утверждающее свободу. Если Седрик и его гвардейцы вольны выбрать почетную смерть, то эски слишком мертвы для того, чтобы подобный выбор имел хоть какое-нибудь значение. Лагерь Хазанова напоминает не Дантов Ад, где страдают живые души, а языческий Аид, серое царство теней, чуждое всем человеческим чувствам, кроме чувства бесконечной тоски. В этом сером мире исчезают обычные мерки, обесмысливается честность, обесценивается жизнь, становится будничным преступление. Голодное и раздавленное полуживотное, в которое превращен заключенный, перестает подлежать суду своей совести. Подвиг Седрика, его карнавальное переодетие превращаются во всенародный карнавал. Зло враждебно не только Седрику — оно враждебно его стране, его подданным, с которыми он связан одинаковыми понятиями, привычками, моралью. Ларёшника наказывает его собственное общество — его честность в этом обществе неуместна, даже преступна. Поступок Седрика вызывает безоговорочное восхищение, упорство Ларёшника — почти раздражает: а не лучше ли было уступить уркам? Стоит ли «заявлять своеволие» в этом мире — даже самому себе?

Сам Борис Хазанов на этот вопрос отвечает все-таки утвердительно. Да, стоит. Стоит заявить своеволие России: «А родины-таки нет. Есть чужая страна, ссылка, египетская пустыня... А мы-то думали, что по крайности сидим на Венериной горе, что это плен Тангейзера в изукрашенном гроте. А это подлинно Египет, Египет с его фараоном» («Идущий по воде»). Стоит заявить своеволие и своему еврейству, пригрозив ему Новой Россией в Новой Зеландии. Разве сама проза Хазанова не выглядит «абсурдным деянием», «хождением по воде», возмутительным своеволием на этом громадном и почти необитаемом острове по имени Россия?

В наши дни гуманизм превратился из смутно чаемой возможности в возможность несбывшуюся. Судьба интеллигентов, еще продолжающих оборонять последние его форпосты, иногда напоминает мне жестокий эпизод из романа Артема Веселого «Россия, кровью умытая». Во время гражданской войны красногвардейцы, отступая под натиском белых, устраивают забавную шутку — приказывают солдату-китайцу остаться и оборонять до последнего патрона важный военный пункт — деревенский сортир. Лишенный чувства юмора китаец героически погибает. Быть может, всем нам (и Хазанову) тоже не хватает чувства юмора? Ведь сказал же об интеллигенции в 1920 году советский прокурор товарищ Крыленко: «Эта социальная группа отжила свой век, и, думается мне, нам нет нужды добывать отдельных ее представителей».

В те минуты, когда я чувствую себя китайцем, обороняющим сортир, и совсем уже готов согласиться с мнением товарища Крыленко, в те дни, когда остров кажется мне особенно необитаемым, я вспоминаю последние строки статьи Хазанова «Идущий по воде»: «Вы скажете: а почва? Как же можно жить, имея под ногами вместо родной почвы — бездну? Но удел русских евреев — ступать по воде. Вы скажете: ходить пешком по воде противоестественно. В ответ я могу лишь пожать плечами. Мне нечего на это возразить». Но почему-то эти несколько слов разгоняют тоску. Становится не так одиноко — будто на горизонте наконец показался долгожданный парус...

---

---

## Кари Унксова

(1941 — 1983)

### МИНУВШИХ ДНЕЙ ОПАЛЬНАЯ ЧРЕДА

Что значит для русского поэта жить и умереть? Жить — значит, обмирая, пророчить в пустоту. Умереть — значит быть прочитанным.

Жить — значит приготавливать смерть. Умирать — значит готовиться к жизни.

Так нет ли возможности жить и умирать беспрестанно? Всегда? Чередовать жизнь и смерть без конца?

Есть. Эта возможность — строка.

Так нет ли еще и возможности встать над жизнью и смертью?

Есть. Это — строфа.

Нет ли возможности вложить в себя навечно то и другое?

Есть. Это — стихотворение.

В своей неопубликованной автобиографии Кари Унксова написала, кто она и откуда, кем были ее родители, написала о своих латышских, татарских и русских корнях, о том, какие музыкальные кристаллы «известковались» в слабеющем ее позвоночнике.

Однако я все это забыл. И из всей вздымаемой в небо автобиографической лестницы запомнил сразу и накрепко лишь четыре перекладины, четыре ступеньки:

*В ограде призрачных шагов — это рождение и детство Кари.*

*На рваном ветру — юность.*

*Изба, где ворон складывает крылья, — предчувствие зрелости.*

*Все собралось в немислимый клубок,*

*А он покатит, может быть, дорогой,*

*Путем неправедным и совестью нестрогой.*

*Печеры. День. Монашеский клубок...* Это, как известно еще из Чехова, — смерть.

Вот и все сведения о Кари Унксовой, необходимые до стихов.

Если ж стихи будут прочтены, то по ране, нанесенной вам лапой одичавшей в людской пустыне кошки, по силе удара и по крутизне наклона, взятого опечаленной женщиной, сладко и постепенно восстановится в вас ее жизнь.

Жизнь, в которой было чуть больше смерти. Всего на щепоть больше, чем это надо для равновесия.

Но как раз столько, сколько нужно для возникновения поэзии.

Б. Е.

### КЛАССИЧЕСКИЕ СТАНСЫ

Мне мнится мир устал искать причины  
Подробно освещен усилием луны  
И нет в пределах наших тишины  
И утомились прежние личины.

Изнемогают сумерки над льдом  
Над водами лишь правота беспорна  
В глубинах пашни утомились зерна  
Давать плоды осенним сентябрем.

Короче радость, ближе горний гнет  
Надежда не стоит у изголовья

И торжествуя над остывшей кровью  
Виски слегка охватывает лед.

Как мчится день, чтоб отвратить беду!  
Как ночь за ним спешит, не успевая!  
Но и в преддверии весны и мая  
Мне мнится — не успеют. Я уйду

Ничья рука меня не завернет  
Ничьи глаза обратно не помянут  
И даже день беды не отведет  
И даже ночь тревогой не обманет.

\* \* \*

Постом постом я напишу стихи  
Потом пойму — их некому читать  
Потом, потом я замолю грехи  
Потом пойму — их некому прощать  
Неумолим звезды парящий диск  
Остыло небо и уходит друг  
А в глубине спящий обелиск  
Обводит тенью осиянный круг.  
О, погоди, побудь со мной, побудь,  
Подай мне год, хоть день, лишь чуть минут  
Хоть вспомни меня когда-нибудь  
Заря встает и петухи поют  
Куда идешь, усталый человек  
Почти размотан маленький клубок  
Исчислен диск и обозначен век  
И ты бредешь на выгнутый восток  
И хриплые деревья цепи рвут  
Вдогонку воют, чуя мертвеца  
Благословен ли постоянный труд  
Идти в восток, не ведая конца?  
Кузнец, кузнец — от кованых сапог  
Смотри, уж не осталось ничего  
Отец, отец, взгляни на раны ног  
И пожалей о нищенстве его.

\* \* \*

Умылось небо и блещет прекрасной мечтой  
Красиво красиво как дерево выгнулась твердь  
Береза оделась берестою как наготой  
А рядом хохочет и бьет топориная смерть  
Источник отчаялся звук первозданный издать  
А рядом хохочет и бьет топориная рать  
И кличет осина кукушку на рваном ветру  
Оранжевым соком исходит ольха — никогда не умру!  
Кукушка зашла на суку никогда перестать  
А рядом хохочет и бьет топориная рать.  
Там спелую лошадью плотно заполнен садок  
Там скачут в камзолах беря у курносой урок  
И зрак золотистый косится на радостный гром

Копыта сметают барьеры, ревет ипподром.  
Лошадки дрожат раздраженно и темен их пах  
В них страх притаился зашитый неведомый страх  
Ах как же когда же и где же достанет топор  
Лошадки по кругу проедут и весь разговор.

\* \* \*

Изба, где ворон складывает крылья  
Поток где вдруг смешались две струи  
В единый ствол в последнее усилие  
И ты кто остановишь дни мои  
Ездок кто запоздалый без огня  
Един кто отвечает мне сегодня  
Мешок что отложили для меня  
Убивец кто спускается по сходням  
Та ветвь где ворон складывает ношу  
Поток где неизменны две струи  
Венок который оборву и брошу  
И Ты кто остановишь дни мои.

## ПЛАЧ ПО КОМНАТЕ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА

Между мшелыми задворками  
Вверх по лестнице зауженной  
За порог всепотыкаемый  
Проходя промозглым путником  
И за дверью приоткрытую  
В невеселом коридорчике  
Скинь пальто свое усталое  
В угол шубами заваленный  
А потом протиснись в комнатку  
Где в дыму радеет лампочка,  
Кипятком где малый чайничек  
Третий раз уж доливается.  
Хочешь в кухоньке извилистой  
Подогрей себе сосисочку  
Хочешь смутные творения  
Слушай гениев забытых.  
А не хочешь подремли под свист  
Говорящей канареечки  
Чудаки и мудрецы сидят  
Пьют чай и сухари едят  
И рассказывают баечки  
То короткие то длинные  
Но всего милей хозяина  
Обходительность старинная  
Опустеет скоро комната  
Обдерут обои дворники  
А хозяин новый наперво  
Врежет в дверь замочек намертво.

## ЖАРА В ПЕТЕРБУРГЕ

На Петербург пришла жара —  
— Афины гордые пропорций —  
Тогда в звучанье малых терций  
Секунды сыпала зурна.

Гремят в оградах соловьи  
Восток, затравленный и жаркий  
Простер в закат тугие арки  
Неукоснительной зари.

Жара всползла на Петербург  
В ответ вспылал он куполами  
Надежно медными углами  
Сковав в квадрат условный круг.

Но идет тать и льется медь  
Из черных жерл погибших улиц  
Сколочен конь, смеется Улисс  
Лукавец медленный как смерть.

Ярило ханское хазар  
Надменно распускает брюхо  
И роют бронзовые мухи  
В гортанном клекоте базар.

И крики вьючных ишаков  
Ревут восторг — сквозь хрипы чаек.  
О Троя — пристальный молчальник  
В ограде призрачных шагов.

Уже победные костры  
Горят у стен ее безмолвных  
И атлантические волны  
Сжигают гнутые мосты —

Прощай Петрополь — и сгори  
Расти в своих подвалах время  
Когда чума оставит семя  
Под белым севером зари.

## ЭСТОНСКАЯ ДОРОГА

Рожь пушисто сияет  
Доспевая под линзой заката  
И неровные ромбы полей  
Довернулись изгибом шоссе  
Сизокрылый овес  
Сохраненный предутренним дымом  
За дорогой дробится и пляшет  
В зеленом дожде  
Неотступная сушь  
Серовато прошла по гороху

Посыпают дорогу  
Полопались камни стручки  
Переспелые травы  
Пыль в косые сметает снопы  
И посеянный буднично  
Весел галантный картофель  
Округлилась капуста  
Под листьями плод прикрывая  
Брызжут стаи несметные  
Мелко просеянных птиц  
Венценосный укроп  
В огородах струящийся ладан  
Монументы коров  
В каменистых цепях ледника  
Угол крыш попривольней  
Чем в наших селениях русских  
Поплотнее пришиты  
И шире наплывы стекла  
Долговязые парни столбов  
Деловито идут проводами  
Не припомнится ли  
Направляющий бег кораблей  
То не эти монашки  
Склоняючи ртутные лики  
Над привитым модерном, —  
То простая дорога полей.

\* \* \*

Минувших дней опальная чреда  
Как издали ты нам непредставима  
Проходят мимо злые города  
Истаивают и проходят мимо  
Вместе  
Вместо  
Пока непредставимо  
Пока не поставлена точка  
Не выкинет нас из квадрата  
Катапульта полей  
Не кидает обратно в лазурь,  
Этот пахарь оратай за ним задымилось  
А он  
Сам не ведая то  
Проходит твердьню лазури  
Голубой и рассыпчатой в прах рассыпается белый  
Высыхает и вновь голубеет напитанный слабым дождем  
До земли не доходят его  
Легкие капли  
Чаша эфира  
Это гретое сакэ  
Три покойничка выпьют на крыше  
Духи  
Разговаривают степенно и вежливо  
Крыша поката  
Им легчайшим она нипочем  
А тело сползает  
И страшно  
Медлит эфир на губах

Покато  
Пьем за здоровье душ  
Легкий и медленный дождь  
В небе проходит  
И даже на крыше тепло  
И сухо  
Хоть пахнет травой  
Даже нет вечерней росы  
Непонятно сколько времени  
И когда закричит петух  
Они сбились  
И голосят как попало  
Богатые молдаване  
Жгут в курятниках  
Ртутные лампы  
Куда же ты уходишь кто с позором  
И со стыдом любовью и вином  
Так празднично прошел и с отвращеньем  
Так радостно с такой глухой тоской  
Так мимолетно так к себе остынув  
Борец и трус интеллигент и вор  
Породистый плебей  
Такой красивый  
И слабый  
Ты еще зовешь меня  
Протягиваешь руку с этой крыши  
И о долгах каких-то говоришь  
И указуешь на вечерний дождь  
Не достигающий земли  
О детях просишь  
Я люблю когда темно уже в партере  
И открываются неслышно двери бенуара  
Проскальзывает тень или мужчина  
Пахнет старым бархатом  
Дорогими духами  
Предвкушением жизни  
Нежитью и нетопырями  
Шоколадными конфетами  
Апельсиновыми корками  
Легким потом  
Парадного вождения  
Лаком тесных туфелек  
Холодом золота  
Кружевами и пылью  
Я люблю только это  
Фаготы и дикие тихие трубы  
Рев приглушенный  
Невзнузданных скрипок  
Распущенных виолончелей  
Мягкие угрозы контрабасов  
Пока на пульте не зажжется свет  
И обсыпанный перхотью дирижер  
Не погонит стадо оркестра  
К водопою постыдного действия  
И скука легким щелчком  
Откроет черепаховый веер  
Запах пластмассы и сыра  
Так я любила любила навечно навечно



Запах красок сырых  
Растворителей  
Грязного мастихина  
Череп у которого шатались зубы  
Запах первого усилия  
Запах холстов и пыли  
Вчерашнего пива,  
Забывтой помады  
И модной бензиновой зажигалки  
Голода старого чая пустых бутылок  
Милый образ  
Твоей небольшой комнаты  
Где ты начинал  
Пробовать и сражаться  
В руках манекенщицы  
В ее корректном платье  
Высыпается из кожаной сумочки  
Старым трамвайным билетом  
Прошлогодней запиской  
Визитной карточкой  
Давно уехавшего дипломата  
Из страны  
Которую упразднили  
Поделили и аннулировали  
Нотой прошлогодней сессии  
ЮНЕСКО

\* \* \*

Как ты внезапно умер!  
Можно ли так с друзьями  
Мы не успели подготовиться  
Мы не успели  
Пристойно украсить тело  
Повспоминать о прошлом  
С поспешной молитвой на лбу  
Ты зарыт в случайной могиле  
Что же ты делаешь на крыше  
Зачем пьешь сакэ  
Петух пропел.  
Где?  
Нигде  
Обитающий прав но ему никогда не случится  
Ответить на этот вопрос  
Месяц мелкий и тонкий  
Немножко сочтется. Он прав  
Прав он прав.  
Драгоценные люди  
Так что же с вопросом?  
По волосу капля стекает  
Любимому негде приткнуться  
А сколько погибло людей  
Боже мой  
И еще собираются гибнуть  
Ищу ответа в каменных затеях  
Особняки привстали в переулках  
Их вид прекрасен формы неподкупны

Они замысловаты и мертвы  
 Нет устали в мерцании коробок  
 Нет в хижинах миров.  
 Родился месяц  
 Как будто кто-то будит постоянно  
 Как будто кто-то бредом истолкован  
 Напрасно где-то берегом бредет  
 Кому мы братья?  
 Где уста и уши?  
 Мы братья черным птицам и воронам  
 Господь спаси покинутые души  
 Когда судьба руки не отведет.

\* \* \*

Что ж ты, моя душечка, уходишь за окно?  
 Что ж ты моя радость меня не дождалась?  
 Что ж ты мое сердце покинуло меня?  
 Что ж вы мои цветики так рано отцвели?  
 Что ж ты мое горюшко мучаешь меня?  
 Что же вы подружки расшептались по углам?  
 Что ж вы мои снега не кроете леса  
 Что же это дождик все лупит по прудам  
 Лупит по прудам да по мокрым деревьям  
 Что же не приходит, не приходит Рождество  
 Свечки не горят, гости трезвые стоят  
 Ручки все сложили, о погоде говорят  
 За столом утопленник, а возле телепат  
 Милые хозяйшкы прелюбы не творят...

\* \* \*

Все отпускает птиц не держит лес  
 Деревья — листьев дочь ушла к подружке  
 А небо столько отпустило звезд  
 В росе Земля и стынет пар над кружкой

Все что горело страстью и трудом  
 Зарей далекой ныне отгорает  
 Одна луна стоит как вечный дом  
 И высоты своей не уступает.

\* \* \*

Тяжелая рука не подымает гласных  
 Слова спеклись. Какой кромешный жар —  
 Ты в мастерской раскалываешь цвет —  
 Я здесь над словом чутко умираю.  
 Так суждено. Не успеваем жить  
 Как гарпии стоят над нами музы  
 И тяжелой ночью млечные дороги  
 Один наш общий пресекают путь.  
 На горе нам когда мы ноги нудим,  
 Ища друг друга по земному дну

Что что тогда мы хриплые бормочем  
Что мы творим, о Господи прости  
Пока настанет осиянный вечер  
В тяжелом блеске двинутся стада  
И только тени этих облаков  
Летят и плачут плачут вдоль по травам.

\* \* \*

Прощаешься.  
И волчий твой досуг  
Проходит снова этот долгий отзвук  
Разбой кустов. Неповторимый остров  
И ласточки мгновенный полукруг.

Прощаешься.  
Ну что ж. Повремени  
Пожалуй. Не спеши. Пожалуй поздно.  
Пожалуй наплевать на эти сосны,  
На звук протяжный, редкие огни

Пожалуй и не стоит воевать  
Судьбе пустой бросать без эха вызов  
Сквозь мокрые кусты продраться низом  
Чтобы к истокам замкнутым припасть

Высокий ангел не дудит в трубу  
И леший не берет пустую дудку  
Русалки в вечеряющем пруду  
Испытывают медленную муку

Но это все невнятно. Полу плен  
Не веселит в пыли никак подкова  
У Покрова не вымолить покрова  
Бегут ромашки под трухлявый пень.

И день нейдет. И ночь не спишь без сна  
И острый месяц глядь — уже ущербен  
Трава не прет из каменных расщелин  
И ветер не разносит семена

Все собралось в немислимый клубок  
А он покатит может быть дорогой  
Путем неправедным и совестью нестрогой  
Печеры. День. Монашеский клубок.

*Публикация Н. Доброхотовой*

---

---

## Александр Будников

### ГРЕШНИК

#### Повесть

— Лучше я эту десятку изорву, чем паразитам в глотку отдам! — гневно выкрикивала Раиса. — До вечера просижу на бревне на этом, а денег от меня никто не получит!

— Вот наградил Господь! Не жена — мытарь...

— А зачем же бегал за мной? Родню улещивал...

— Да у тебя и родня-то с мякишем... — съехидничал Андрей. — Своеобычники! Любое дело от людей на отличку! Твой дядя Кузя — покойник, царство ему небесное, — не дурак был, вроде, а поросят ракушками надумал кормить, и все передохли... А уж у него ли пшеницы не было? На всем выгадывал. Когда хлеб резал, ножик в воду макал — чтобы лишние крошки не приставали... Не блажи, Райка, дай на экскаваторщика червонец, а то он пыли вместо угля зацепит...

— И шоферу надо червонец, и этому негру тоже?!

— Все так делают.

— Двадцатка! В глотку! А, мамоньки! Удавлюсь, а не дам!

— Ну, и сиди.

Раиса начала поспешно перечислять, чего и сколько можно купить на двадцать рублей, и не переставала ужасаться. Но Андрей знал, что без этой двадцатки не обойтись — неделю в топсбыте просидишь, и страданий жены как бы не замечал, хотя и был с ней согласен. Слушая слезные причитания Раисы, незаметно покосился на нее из-под кепки — и усмехнулся. Она сидела настороженно и прямо, словно девчонка на свидании. «Ткни пальцем — и убежит!» — весело подумал Андрей. Дочернино ситцевое платье в полинявший цветочек, тапочки, каких здесь, в городе, не носят. На голове беленький платок — чтобы угольная пылица в волосы не набилась. На лице и на голых до плеч руках — ровный темный загар. Ноги тоже будто варом облиты — до колен. Выше начинается снеговая, режущая глаз белизна, которую и Андрей, и сама Раиса разве что в бане созерцают... А больше как-то и некогда.

Раиса удивленно посмотрела на мужа, замолчала и натянула платьишко на колени. Андрей вспомнил, как два года назад дочь надела в праздник вот это самое, новое тогда платье и надралась на молодежном вечере самогонки. Пьяную девятиклашку Светку уволок в разрушенную часовню городской пацан Вовик. Андрей шел с рыбалки, его встретила на краю деревни мрачная старуха Волчихина и предупредила о намечавшейся беде. Андрей пробрался по бурьяну к часовне и железным голосом позвал дочь домой. До сих пор не выветрилось из памяти, как щелкнула о Светкин живот резинка, показалось — щелкнула громче выстрела, на весь белый свет. Но, слава богу, до беды еще не дошло, пьяный злодей-студент терзал свою жертву слабо и неумело. Светка выбралась из руин и в ужасе предстала перед отцом. Андрей завел ее за часовню в лунную тень и выпорол ольховым удилицем. Наказал не за то, что с парнем водится, а за скверну великую — слыхано ли было когда-нибудь на святой Руси, чтобы девок в часовнях шупали?! Матери они ничего тогда не сказали. На другой день Андрей починил бабке Волчихиной крыльцо и ворота, а Светка помогла продавщице сельмага Зине, внучке бабки Волчихиной, вымыть в доме бабки окна и потолок. Божья старушка умилилась и пообещала помалкивать. На подоле платья осталась заметка от удилица — вон она, возле цветка заштопана, сучком изорвал.

Андрей отвернулся от жены и стал наблюдать топсбытовскую неразбериху. Едва заметные в пыльном мареве желтые экскаваторы «Варунки» непрерывно черпали каменный уголь и торфяной брикет, самосвалы расторопно грузились

и уезжали, а очередь с утра до обеда нисколько не подвинулась. Бродили между машин обезумевшие от жары и жажды братья-колхозники, понаехавшие со всего района, изнывали в подзаборной тени пригородные пенсионеры, ветераны и инвалиды, канючили норму у конторы одинокие дамы-домовладелицы. Орала и металась нахальные снабженцы в галстуках и халатах, шмыгали пьяные чумазые грузчики, важно гуляло лысое топсбытовское начальство. Все на виду, а не поймешь, к кому подойти, с чего начать...

— Соберемся с мальчишками, бывало, — допекал от скуки жену Андрей, — и айда на реку — глядеть, как дядя Кузя ракушек в затоне черпает... Снасть придумал такую, навроде трала. А самая кульминация — это когда дядя пороссятам корм задавал. Ох, веселое действо было! Натуральное игрище! Он в обрыве пещеру выкопал, стенки, пол, потолок бревнами забрал, загородку сделал дубовую... Ну, пороссята и бревна у него грызли, только треск раздавался!

— Не ври-ка!

— Да тебе года четыре было, ты не помнишь... И вот наловит дядя ракушек, подгребет их к пещере — и давай лопатой метать!.. Визг, хряск... Поросят штук пятнадцать, все поджарые, длинные, как щуки... Морды оскаленные, хищные, что им ни кинешь — на лету цапают... Ну, потом вырвались, конечно, на волю, и вся деревня на засовы закрылась! А они слопали в МТС бочку солидола — и пузо кверху... Дядя Кузя их там же и закопал... Да и сам вскорости скончался — на том же месте примерно... Ты-то не помнишь, а дело-то вот как вышло. Оборвал оп вишни в своем саду, да и сдал их, значит, в сельпо. Идет оттуда с пустыми ведрами, и догоняет его на мотоцикле сосед — тоже с ведрами. Ну, остановились, калякают. Дядя Кузя полюбопытничал — откуда, мол, едешь? Да вот, говорит, вишню в районе сдал. Почему? А тридцать пять копеек кило. У дяди Кузи лик сразу перекоксился и зенки на лоб полезли — он-то вишню по тридцать копеек сдал! Брякнулся на дорогу, только ведра запрыгали. Пока сосед за его женой сгонял, у дяди Кузи и язык уж отнялся. Братья его старшие прибежали, фельдшер, соседи... Жена плачет, спрашивает для приличия: как уж это ты, что с тобой? А он сказать ничего не может и только пятерню ей показывает — на целых, мол, пять копеек прогадал! Ну, и помер там же, возле канавы...

— Ладно уж, возьми десятку, Андрюша.

Раиса вынула из-за выреза платья кошелек. Андрей вместо десяти рублей схватил тридцать и помчался в контору. Раиса не успела даже спросить, зачем ему сейчас столько, и, растерявшись, бросилась следом. Но кругом были люди, и она в смущении воротилась на бревно.

Из конторы муж вышел с какой-то дамочкой и, не глядя на свою Раю, болтал довольно долго и весело.

— Сунул я ей червонец! — доложил он потом жене. — И завтра утром первый самосвал нам загрузят... Эта цаца лично проследить обещала. Давай-ка еще червонец, Рая. Ночевать к родным без пузыря не пойдешь...

Раисе надо было ехать домой — вечером они с дочерью заступали на дежурство на ферме. С одной окраины на другую, сначала через старинный город, а потом через застроенный панельными домами новый район добрались на автовокзал. К обеденному автобусу опоздали, а следующий уходил поздно вато. Побрели на шоссе, и там после часа голосования Андрей посадил жену на попутку. Ощущая вялость и утомление — встать пришлось очень рано — он потащился в магазин и еще часа полтора простоял на улице в очереди за водкой. Ноги стали гудеть, плечи бессильно опустились, голова с непривычки заболела — в гомонящей, скандалящей толпе бывать случалось не часто. Накурившись до одурения и купив наконец бутылку, направился к одному из своих двоюродных братьев. По дороге прихватил печенья для ребятешек. «Бутылку, значит, сразу на стол, на стол ее, родимую, сразу же... — повторялось навязчиво в отупевшей от усталости голове. — Захожу, значит, и бутылку прямо на стол...»

Каменноугольный период, ежегодное наказание господне, слава Господу, почти кончился. Считай, отделились дешево и легко. Вот раньше каждое лето была натуральная морока — собирались артелями, как в извоз, и по неделе прямо в топсбыте ночевали. Шоссейной дороги не было, машин колхоз не давал, в

райцентр ходили пешком по грязи, на деревенской околице с женами, с ребятишками прощались... Добывали неисповедимыми путями транспорт, до умоту поили трактористов... Но водяное отопление с лихвой покрывало всю мороку. Печь, какая она ни будь, все углы в доме не прогреет, дров нужна уйма, а они готовые не валяются. В прежние годы и валежник-то приходилось добывать по ночам, украдкой, и, как только надвигалась зима, переднюю избу запирали и всей семьей устраивались на кухне, поближе к печи. Русские печи в деревне до сих пор никто не ломал, на них отогревались зимой набегавшиеся по улице ребятишки, в них по-прежнему пекли пироги, топили молоко, парили щи с мясом и картошку. Как и у всех, у Андрея имелись и печь, и баня, и он каждое лето, едва раздевшись с углем, брал в лесничестве ордер на дрова.

Двоюродный брат, к которому явился Андрей, ушел на охоту. В палисаднике, пригороженном к барaku, металась молодые собаки, на крыльчке рыжие братнины детишки кормили из блюдечка ежа. Получив от дяди гостинец, племяши сбегали к соседям за матерью. Поговорив с ней за чаем, Андрей вдруг выяснил, что брат ушел на целые сутки. С супругой брата Андрей виделся редко, знал ее мало и просить о ночлеге постеснялся. Да и пить в одиночку не хотелось.

Пришлось искать иного пристанища. Другой брат получил квартиру где-то неподалеку, но адреса его Андрей не помнил. Заходил как-то с Раисой на минутку, а записать и в голову не пришло. Решил все-таки отыскать, надеясь на зрительную память. Побродил по одинаковым асфальтированным дворам, нашел знакомый вроде бы дом, поднялся до черной памятной двери, позвонил.

Дверь открыла Инна Угарова.

Они вместе кончали школу, даже сидели на одной парте. В деревне тогда имелся маслозавод, и папа Инны, обретаясь на нем директором, царствовал над округой. В середине шестидесятых завод неожиданно прихлопнули, и с тех пор Андрей о семье Угаровых почти ничего не слышал. Рассказывали только, что папе Инны дали в городе такой же завод и выделили без очереди квартиру. Вроде бы посыпались жалобы, раздались вопли возмущения. А первый районный секретарь сказал на это правдоискателям: «Угаров готовит первосортное масло для Москвы. Никто из прежних директоров не делал хорошего продукта. За масло мне присудили орден. Пожелай Угаров еще и летнюю виллу — дам!» Для Андрея, для одноклассников и для всех, кто Инну хоть как-то помнил, она осталась Инкой Директоровой.

Обнялись и расцеловались, словно великие друзья. Сорокалетняя Инна то и дело тормошила Андрея, смеялась и прыгала, как девчонка. Андрей даже и не заметил, как очутился в ее квартире. А через пять минут слушал веселое щебетание уже из ванной. Отыскал на стеклянной полочке неизвестно чей бритвенный прибор, соскреб с лица седеющую щетину. Вымылся — а уж и стол с угощением стоит. В разговоре мало-помалу выяснилось, что Инна несколько лет живет одна, а до этого моталась с мужем по заграницам. Хотели заработать на безбедную веселую жизнь, да чем дальше, тем печальнее выходило. Кончилось тем, что развелись. Ни детей, ни денег, ни надежды на счастье. В райцентре она недавно, сменялась сюда квартирой. В большом городе врач никто, а здесь какое-никакое, а положение. Ну, и воспоминания юности, конечно...

Вера Андрея в людей была поистине велика. Доходило порой и до смешного. В старой колхозной кузнице, где работал Андрей, собирались частенько мужики. Папиросные эти бдения назывались в деревне «Андреев клуб». Зная, что Андрей почитывает журналы и очень интересуется экзотическими народами, друзья наврали ему: был в сельсовете нынче какой-то столетний дедушка из лесного сельца Березова, дедушка чрезвычайно дикий, косматый, колдун заведомо — в носу у него серебряное кольцо... Бывать в Березове Андрею как-то не приходилось, знал лишь — дорога туда плохая, потолки в домах там бревенчатые, полы земляные, а печи глиняные: то ли из-за нехватки кирпича, то ли по старому обычаю. Считалось также, что в Березове сохранились самые красивые девки, и в последнее время многие брали там невест. В дедушку с кольцом Андрей романтически уверовал и пошел в сельсовет разузнать о нем. Смеялись очень долго и всей деревней.

Ночью бывшая однокласска Инна вытворяла в постели чудеса, которых Андрей не видывал, о которых не слыхивал. Знать, крепко истосковалась баба, решил Андрей. Он ни разу не изменял Раисе и жил в спокойной уверенности, что всегда устоит, удержится от греха. Ведь было же, вешались ему на шею, да покушение не удалось ни одной. Продавщица Зина, внучка бабки Волчихиной, заманила его недавно елецким «Беломором» к себе в сельмаг, заперла дверь и лукаво созналась, что папиросы давно уж кончились. Андрей изрядно перепугался и смутился — Зина была чуть старше его дочери Светки и ждала из армии жениха. Высадил дверь плечом и тем спасся. А сейчас валяется на чужой постели — и вроде бы так и надо! Ох, Раиса! Как теперь позабыть измену? И как удержаться и не преподать Раисе веселую науку, не обучить тем фокусам, которые показала ему ненасытная Инна? Возможно, Раисе и понравится, да ведь допрашивать станет — откуда узнал, где вычитал? А врать-то он не умеет, не приходится как-то, привычки нету такой... Беда!..

— Я столько лет одинока! Это невыносимо! — с надрывом стонала Инна. — Я не смогу теперь без тебя, нам нужно видиться!

— Мы с женой девятнадцать лет доживаем, — испуганно отвечал Андрей, — и вдруг все кончится? Дочь любимая — и та меня проклянет...

— Приезжай хотя бы раз в месяц! — жалобно умоляла Инна, роняя слезы ему на грудь.

— Нет.

— А можно — я сама приеду к вам в гости? Все-таки одноклассники.

— Нельзя. А если заявисься — ничего у нас с тобой не получится. Все мы там живем на виду, не скроешься...

Еще не опомнившись ото сна, Андрей услышал нетерпеливый возглас: прощаемся, милый! Инна включила магнитофон, принесла на подносе коньяк и кофе. Городская жизнь явно имела свои особенности. Но припомнился вдруг длиннющий бантустанский барак, где жила семья рыжего братана-охотника. Нет, вряд ли братану до тонких таких обхождений.

Прощание затянулось часа на три, лишь к восьми Инна нехотя засобиралась в свою венерическую больницу. Вышло, конечно, так, что Андрей проводил даму чуть ли не до кабинета и только после этого помчался в топсбыт. Опоздай он туда немного — и вертлявая цаца смылась бы куда-нибудь по своим надобностям. Случись это — Андрей, на счастье себе, возненавидел бы Инну как врага.

Крутобедрая симпатяга-цаца повела его вдоль колонны грузовиков, нашла одной ей известный самосвал и забралась в пустую кабину. Андрей устроился рядом. Она по-свойски обняла его, удобно расположилась у него на плече и принялась сигналить. Тотчас появился шофер, и самосвал без очереди въехал в искореженные топсбытовские ворота. Выходя из кабины, девка вдруг энергично извернулась и едва не откусила Андрею ухо. Взревев, он саданул ладонью по крутым бедрам — к великому ее удовольствию.

— Слышь, дурица! — возмущенно крикнул шофер. — Ты зачем себе позволяешь? Жена увидит — и страдай мужичок?

— Да пусть соврет ей: домовый укусил! А ты, — велела она шоферу, — когда вернешься, можешь вновь без очереди грузиться!

— Совершенно диковинная девка! — рассказывал Андрею шофер. — Есть у нее один рефлекс. Мни ее в кабине, как хочешь, а на воле и близко не подходи, и не дотронься! Привыкла к кабинам — и конец. Как зверь к клетке.

Андрей надвинул поглубже кепку, заметался, захопота и через минуту напрочь забыл о странной девке. Сунул червонец экскаваторщику — чтобы пыли не зацепил, мерзавец. Еще червонец — шоферу, бог весть за что. За то, скажем, чтоб не выдумывал, что с утра заклинило поршень. Свой резон у шофера, конечно, есть — кому охота пилить в глухую деревню? В городе за это же время всемеро больше зашибешь. Но шофер затребовал двадцать пять. Андрей уныло и молча вывернул перед ним пустые карманы.

И вот, наконец, уголь ссыпан возле дома. Обозленный неудачей шофер поехал порыскать по деревне — авось, найдется какой-нибудь калым на обратную дорогу. Покури в у печи с соседом и рассказав ему угольную эпопею, Андрей по-

шел в хлев — взглянуть, все ли в порядке. Корова и овцы были в стаде, гуси на речке, поросята вроде накормлены. Мимоходом сгреб лопатой навоз, скосил у ворот незаметно подросшую крапиву, помахал метлой во дворе. В доме никого не было: Светка с матерью, утомясь на ночном дежурстве, спали в старом амбаре на огороде.

— Обедай там... — шепнула жена спронеся. — У кого ночевал, Андрюша?

— Да на том же бревне в топсбыте, где мы сидели... Братана старшего не застал, среднего не нашел... Ночь нынче теплая была...

— Десятка-то, значит, целая?

— Нет, пропил. К утру прохладно стало.

— Господи! Уж не с той ли мадамочкой?

— Что ты! Она бы меня загрызла... Выпили с мужиками, там много народу ночевало...

— А ухо где прищемил? Неужто с кем разодрался?

— Когда лежал на бревне, собачонка подкралась, да и цапнула...

— Страшно много народу! — сказала проснувшаяся Светка. — И все ночуют в топсбыте, и все пропивают по десятке. И всех кусает по очереди собака. Папа, не умеешь врать — не ври. Не способен сам и меня народил такую же! Иди поешь, да дуй в свою кузницу, за тобой уже приходили...

Полежали, слушая поступь удалявшегося главы семейства. Раиса тяжело вздохнула.

— И зачем я, дура, вчера уехала? Помни, девка, вперед наказываю: выйдешь замуж — мужика ни на секунду не оставляй!

— Избили папку бичи какие-нибудь... — грустно предположила Светка. — Врезали по уху свинчаткой, да и вынули деньги-то. А он стесняется нам сказать.

— Расскажет, не беспокойся. Все как на духу выложит... Да! А как там твой Вовик? Что пишет? Вроде бы вчера ты письмо опять получила...

— Сразу два. Пишет — как-нибудь вырвусь и приеду.

— И все?!

— Что ты, мама! Читаешь — и сердце замирает! Если, говорит, ты меня разлюбишь, то для меня свет померкнет, а жизнь потеряет свою прелесть.

— Это хорошо, ты эти письма сохрани, дочка. Мы с отцом всегда вместе были, друг другу никогда не писали... А речи — они забываются с годами...

— Благодарю, говорит, судьбу за то, что оказался тогда со стройотрядом в вашей деревне. Ну, и о родителях снова пишет... Слышать не хотят они обо мне, родители-то... Невесту нашли ему богатую, мне наверняка не чета. А он пишет — ты, Света, мое единственное сокровище! Бесхитростное, говорит, создание!

— Парню двадцать четыре года, не мальчишка. В эту пору любят по-настоящему. Твоя измена будет ему погибель, знай. И свою верность ни на какие алмазы не разменивай. Может, и тяжело придется, да с чистой душой невзгоды легче переносить, чем с отравленной. Мне золотые горы обещали, у ног валялись, а один даже стрелялся из-за меня — царство божье ему, да если я отца твоего люблю, то я закрыла глаза и через все это перешагнула...

Светка повздыхала, повертелась на раскладушке и опять легла лицом к матери. Раиса, сидя на старой деревянной кровати, задумчиво смотрела на открытую дверь, на зеленый зной огорода. В амбаре порхали бабочки, жужжал и тыкался в сосновые бревна большущий мохнатый шмель.

— Мам! — тихо позвала Светка. — Зашла я вчера в сельмаг, а там людей никого... Ну, и поговорили мы с атаманкой этой, с Зинкой... Вхожу, а она мою прическу да юбку новую увидала и руками всплеснула — настоящая, говорит, блядь! Смотрю — это она так, для красного словца. Взаправду мной восхищается. И говорит после-то: я вот тут всегда при товаре, а ни обуться, ни одеться со вкусом не умею... Но, говорит, мы и без того любого парня прищемим!.. И животом дернула. Че, говорит, Андрей ко мне не заходит? «Беломора» вон сколько навезли...

— А ты ей на это?! — возмутилась Раиса. — Ох, жалко, меня там не было!..

— Да что? Прикинулась дурочкой: кто Андрей-то? Отец мой, что ли? А она смеется — правильно, Света, догадалась! Приведи-ка ты мне его, я тебе сестре-



нок, братишек нарожаю, играть будете! Ну, тут я оглянулась на дверь — нет ли свидетелей каких, и сказала — мол, лично я папиросы не курю, Зина, а вот спичками по детской глупости еще балуюсь. И в случае чего сожгу тебя вместе с твоим сельмагом, сука! И ушла. А она красивая, мама.

— То-то и оно... Ты, девка, вот что — вставай, да пойдем-ка уголь таскать...

Андрея ждал в кузнице лесник, привел ковать верховую лошадь. Он редко навещался в деревню, и Андрей возрадовался удаче: на днях придется заниматься дровами, авось, лесник ответит добром на уважение и даст делянку поближе. Надо только продумать дипломатию, не начинать разговора в лоб. Но пока срывал старое железо с копыт да дергал вросшие обломки гвоздей, да подчищал роговицу, лесника увели и напоили. А когда подгонял под размер казенные штампованные подковы, тот уже орал песни. Андрей уложил лесника спать на верстаке, освободил из станка лошадь, стреножил ее, пустил пастись на лужайку и пошел домой убирать уголь.

Возле кучи уже возились с лопатами жена и дочь. Раиса и Светка облачились в одинаковые черные трико и футболки, в эту женскую колхозную униформу, и различить их издали можно было лишь по тому, что Светка шебутилась и пританцовывала, а движения Раисы были сильны и точны. Совсем недавно их путали, обозначались. Всего-то с годик прошло, как Раиса пританцовывать перестала, — возраст.

Забавы с углем хватило до поздней ночи. Кое-как сполоснулись у колодца на огороде, попили на крыльце чайку, и Светка тут же, на крыльце, уснула. Будить ее пожалели, принесли ей подушку и укрыли байковым одеялом. Раиса свалилась на диван, а Андрей улегся в амбаре.

За дневными делами, за привычными хлопотами и заботами образ Инны, хоть и преследовал его непрерывно, однако жить не мешал. Правда, охватывала легкая оторопь и даже находил страх: Инна чудилась независимо от его воли, больше того — против желания. Андрей успокаивал себя тем, что попросту не доспал, а к завтраму наваждение пройдет и все позабудется. Сейчас он с ужасом понял, что уснуть вряд ли сможет. В голове, словно у пьяного, шумело, в груди полыхал уничтожающий последние силы жар. Голос Инны слышался явственно и громко. Память навязчиво повторяла мельчайшие подробности встречи. За несколько часов этой пытки Андрей превратился в больное, одержимое существо.

Он открыл дверь амбара и, глядя на тихое рассветное небо, взмолился о ниспослании сна. Упал на колени и в отчаянии бил кулачищами в грудь и по голове. Тягучей болью полоснуло в сотрясенном мозгу. Но голос Инны не умолкал, и память по-прежнему крутила свое бессмысленное кино. Все книжные, мальчишеские грезы Андрея и все его недавние, мужицкие представления о героизме, крепко усвоенные из телевизора и не имевшие ни малейшей связи с его жизнью, вдруг оказались явью. До этого все-таки не верилось, что где-то там взаправду есть женщины, которые могут по-книжному восклицать в постели: «Ах, милый, я еще не удовлетворена!», «О, мой родной! Не размыкай до утра объятий!..» Или произносить восторженные длинные монологи и быть при этом бесстыднее пьяной гуляющей девки. В глубине души Андрей был уверен, что любить женщину следует непременно молча, а если и разговаривать с ней о чем-то интимном, то немногословно, иносказательно и, конечно же, только шепотом.

Умоляя господу послать забыть, Андрей вдруг вспомнил, что Раиса и Светка выстояли на днях большую очередь в сельмаге и купили две упаковки дефицитного ныне тройного одеколона — укусы комариные мазать, ноги натирать от простуды... А с другой стороны — люди берут, значит, и нам надо. Поспешно натянув брюки, Андрей прокрался на цыпочках мимо спящей на крыльце Светки, отпер сенную клеть и отыскал на ощупь одеколон. На огороде достал воды из колодца, синтезировал при рассветной мгле в стеклянной литровой банке жгучую белесую гадость и выпил залпом. Не снимая брюк, улегся на раскладушку и уснул под дивные литературные речи голой Инны, парящей над ним с широко раздвинутыми ногами, с руками, по-зарубежному вытворяющими хрен знает

что... Ох, Инка, милая одноклашка! Стыд и срам, товарищ венеролог Угарова — или как там тебя по бывшему мужу?..

Проснулся разбитым и обессиленным, в том же глубоком помрачении — и первым ощущением была жажда увидеть Инну. И следом — мертвящий страх навсегда потерять семью. Андрей сообразил, наконец: Инна ему понравилась, вот и все. Между ними не было ни единой тяжелой минуты, все в этой женщине было для него диковинно и ново. Ему понравились ее восторженность, ее голос и откровенное, искреннее стремление ублажить дикаря Андрея всем, чем только возможно.

А во времена, когда они сидели на одной парте, она вела себя отчужденно. Ни с кем из девчонок не дружила, а мальчишки боялись даже и подойти к ней. Учителя перед ней заискивали. Но понять Инну можно, обижаться на нее тогда было не за что. В начальную школу Андрей пошел в рванине, голова зудела от вшей, руки раздирала чесотка — нечего сказать, приятный мальчик! А иные выглядели и хуже: в классе сидели босиком, фуфайка на голое тело да старые заплатажные штаны. В продаже ни белья, ни одежды, ни даже мыла хозяйственно-го после войны долго не заводилось — обо всем прочем не говоря. Чем жили — невозможно сейчас представить. Слаще моркови, воистину, ничего не ели.

Андрей родился в сорок седьмом, отец его помер через год. От какой болезни — бог весть. Отчебучил мужик войну да после маршировал с винтовкой под барабан год с лишним — молодежь всю повыбило, новые солдаты не подросли еще, служить было некому. А воротился домой — и на погост. Мать тоже долго не прогостила на земле. Переживши и голод, и страшную военную каторгу в колхозе, она погибла в памятном пятьдесят третьем — растапливала бензином печь, обгорела и скончалась в мучениях. Странные были времена. Ни техники, ни дорог шоссежных, а бензина — залейся. Как на последнюю дрянь на него смотрели, но людей он погубил много. Мать Андрею не помнилась, знал о ней только по рассказам. Может быть, и запомнил бы, да она в колхозе все время пропадала, затемно уходила, потемну возвращалась. После ее смерти остался со старшим братишкой Женькой, родившимся еще до войны. Брата убили в городе. Ходил в военкомат за отсрочкой. На окраине райцентра встретили его на мосту урки, зарезали и ограбили. Взяли десять рублей старыми деньгами. Тогда это было не в диковинку, убивали-грабили на всех дорогах, и за Женьку никого не посадили. Словно бы деревенский и не человек вовсе. Дивные дела на нашей земле творились. Люди были всего лишь живой рабсилой, а порядки всюду, как в армии: подчиняйся не умному, а начальнику.

Сироту Андрея приютили двоюродный дед Николай и баба Маша. Было им в ту пору за семьдесят и жили они на деньги, присылаемые великовозрастным сыном. Его тоже звали Андреем, и приемыш стал у стариков Андрюшкой-меньшим. Денег не получал в колхозе никто, потому дед и баба считались людьми богатыми. У них брали в долг, по праздникам угощали пирогами, посылали к ним ребятишек наколоть дров и выполоть огород. Дедушка Николай до революции служил в речном пароходстве в Нижнем, а в деревню вернулся сразу после гражданской. И больше, кажется, нигде не бывал и нигде не работал. Воевал он где-то в Сибири. Его воспоминания о том времени всегда звучали, словно хорошо заученный белый стих: «Посадят нас в тулупах на сани, везут ночь, везут другой день... Все мы богатыри, противник дрогнет, бывало, да отойдет... Скинем тулупы и гоним его верст пять, а то поболее, бьем из винтовок залпами... Тут опять тулупы подвоят, баранину в котлах варят... Корму нам требовалось много, но кормили нас хорошо... Одевали тоже порядочно. Шинель трофейная, офицерская, на плечах не чуешь ее. Мундир из английского сукна. Вместо орден часов серебряные давали...» Рассказывал это дед и в двадцать пятом году, и одинаково — в шестьдесят пятом. При этом обязательно вспоминал своего отца, который воевал еще с Турцией: «Турки-то сабли в зубы да в платье. А наши-то дали залп, ружья в сторону и топят турок шестами. Ружьишки-то кремневые были, с дула заряжались, второй-то залп давать уж и некогда! Иное дело у нас в отряде: чуть, бывало, на фланге небольшая заминка — и сейчас туда пулемет на санях, на тройке!..»

Когда служил в конторе акционерного пароходного товарищества, брал жалованье только золотыми монетами. Мысль была сугубо практическая — а ну как пожар?! Сколько себя ни помнил, чуть ли не каждый год целые деревни выгорали. Отношение к золотым пятирублевикам и червонцам было тогда почти презрительное: маленькие, тяжелые, в карманах не враз отыщешь, а уронишь — грязь дорожную на аршин прошибают... Скандалили, требовали жалованье ассигнациями, а над чудачеством конторщика Николая даже кассир посмеивался, любопытствовал о пожарах.

Сбережений хватило аж лет на тридцать. И сами не голодали, и детей в институтах выучили. А потом Андрюшка-большой, единственный, уцелевший на войне, присылал отцу свои полковничьи брюки и мундиры и снабжал стариков деньгами. Выделяясь в деревне достатком, дед Николай и сам по себе смотрелся весьма почтенно. Держался прямо и важно, носил белую пушистую бороду, ходил всегда с тростью, да и ростом был преогромный. Баба Маша была высохшей до невозможности, малорослой, немного сгорбленной, хворой особой. Носила старинные одежды, обувалась в дамские вычурные сапожки, привезенные когда-то дедом из Нижнего. В молодости старики были красивой парой. В передней избе до сих пор висит возле иконы большая застекленная фотография. Раиса как-то нашла, что муж походит чем-то на деда, хоть и двоюродного.

Воспитывали Андрюшку-меньшого своеобразно. Читает парень книжечку — не потревожат, хоть изба загорись. Уроки учит — старики под окном сидят, мальчишек палкой отпугивают. А чтобы летом в колхозе поработать или наняться у общества в пастухи, как раньше с братом покойным нанимались, это упаси бог. «Головой работай! — говорил дед. — Учися! Иначе, какая же нам радость?» Бабка изъяснялась еще проще: люди они степенные, существуют при своем капитале и посылать Андрея «в работы» ни к чему. Вот окончит школу, добудет в армии специальность или в институт пойдет какой-нито — вот, тогда уж, Бог даст... Об институте, правда, говорили всегда с боязнью: помрут, не выдюжат!.. И не хотелось, чтобы Андрей-меньшой навсегда улетел из дома, как улетели когда-то пятеро собственных детей. По всякой малости совещались, строили подробнейшие прожекты — у кого из мастеров валенки заказать, какое пальто купить Андрею. Да крепко ли он возмужает на службе в армии? Ежели не купишь на точный вырост — и продавай его, пальтецо-то! Мало окажется!.. Пролетела мода на брюки-дудочки, заполыхала на брюки-клевш. Явились первые джинсы. А Андрей ходил в школу в торжественном шерстяном костюме, словно на ежедневные экзамены. Смело и с большими-таки надеждами стал поглядывать на вертлявую соседку по парте...

Старики тоже прикидывали, гадали, у кого взять невесту. У тех есть девка, и у тех девка. Да эта девка больно чернява, и тетка у нее возится, возца у тетки в руках, егозит, сучит руками баба... А у другой девки прадед кассу хозяйскую промотал, вор, да и сбежал в Астрахань на пароходе — в одной конторе в Нижнем служили, знаем... Девки, о которых шла речь, в куклы еще играли, но Андрей мало кручинился об этом. Не считал заботу своей, как-то привык к мысли, что вот вернется он из армии — и старики укажут ему достойный дом. Найдут невесту — не ошибутся, отыщут самую наилучшую. И точно! Не успел приехать, докладывают: у Беззаботнова у Ивана девка недавно вымахала — чудо какая, уберечь бы! Ну, в десятом-то классе сильно не избалуется, а там мы ее и приберем... Правда, у Ивана свояк Кузьма с порядочной придурью был, покойник, водяную свинью мечтал создать, да ладно, закроем глаза на это, свояк — он родня не кровная... На свадьбу приезжал из Москвы Андрюшка-большой, звал родителей к себе на житье — не согласились. Дождались Светку и померли у Райсы на руках. Последней скончалась баба Маша. За три года общения с ней Раиса усвоила и ее мораль, и манеры. Глядя иногда на жену, Андрей дивился, насколько сильна наука покойной бабки. Мелочь Раиса непременно завязывала в угол носового платка, а прочие деньги, если заводились когда, держала только в крупных бумажках, в десятках на самый худой конец — чтобы жалко было разминивать. А рубли, трешницы и пятерки — эти, как вода, утекают! Сберкнижка нам ни к чему, другие — пусть, как хотят, а мы люди степенные, живем своим капиталом.

Дай просящему в долг, вот тебе и сохрана, и никакая власть твои деньги не арестует... Книгу или журнал Раиса читала за столом у переднего окна, чтобы проходящие видели, какой у нее хороший муж, как он ее жалеет и лобит — сам работает, а она книжкой забавляется... Не так давно Андрей ошарашенно отметил, что всю эту идеологию с удовольствием взяла на вооружение и Светка.

Он просидел на раскладушке все утро. Не было воли встать, не находилось сил протянуть руку за ботинками и рубашкой. Благо хоть папиросы лежали рядом. Ныла избитая собственными кулаками голова, но эта боль казалась уж и привычной, и пустячной. Вконец изводила мысль, что сейчас надо будет тащиться на люди, в кузницу, да держаться там молодцом — как его изо дня в день публика лицезреть повадилась. И некуда скрыться, не найти нигде одиночества. Позорно майся, подыхай с тоски у жены родной на глазах, у деревни всей на виду. Будь его воля, враз сошел бы с ума — и босиком побежал бы в город. Подумав об этом, Андрей восчувствовал блаженную радость, мышцы налились силой. Тоска исчезнет и наваждение отступит только при свидании с Инной. Кажется, что ее облик и ее голос вечны, что затмить их не способно ничто. Похоже на тяжкую болезнь. Господи, да придет ли выздоровление? Наступит ли перелом в болезни? Это чудовищное кино не может длиться без срока! Надо как-то перемогаться, ждать и не показывать виду. Месяц, пожалуй, выдержим. Больше — вряд ли.

Андрей исхудал, выдохся, опустился. Он почти ничего не ел, страдал от постоянной бессонницы, работал много и через силу, ходил небритый и редко менял одежду. Бесперывно курил, на друзей и случайных собеседников смотрел затравленно и угрюмо, словно на палачей. Инна не исчезала ни на минуту, и самым надежным спасением от кошмара казалась смерть. При мысли о царствии теней на его истерзанную недугом душу нисходило сладчайшее успокоение. Случалось, грезил даже о том, что если бы вдруг Раиса полюбила другого или взяла да и померла бы — тогда уж ему ничего не помешало бы навеки соединиться с Инной. А потом, подумав, решил, что погодит кончать свою жизнь, пока не начнут галлюцинации. И чувствовал — до этого недолго осталось. При хорошем-то разуме смерть на любимую жену не кличут...

О его хвори никто пока не догадывался. Раиса с дочерью, умотавшись на ферме и поспав несколько часов, шумно суетились по дому, копались в саду и на огороде, маялись со скотиной.

Андрей был рад, что они в горячке летних трудов совсем о нем позабыли. В конце недели его источенная пыткой душа не выдержала напряжения и организм надломился. В субботу Андрей возился в кузнице со старыми боронами, устал, надышался окалины и дыма. Домой пришел на закате, пропотевший и закопченный. На вопрос Светки, почему не обедал, соврал, что захватил угром протокваши. Раиса меняла постельное белье, дочь мыла пол, на столе стояла приготовленная к чаю посуда. Андрей стыдливо мялся возле порога, словно не по делу забежавший сосед. Чуя хозяйскую беду, у ноги терлась и жалобно мяукала кошка. Не зная, за что приняться, сказал, что сходит взглянуть, хватит ли воды в бане, хорош ли пар. Светка подивилась на бестолковое поведение отца — баню она топила мастерски, но перечить, конечно, не посмела.

На садовой тропинке Андрея вдруг начало покачивать, и он почувствовал смертельную истому. Сознание туманилось, уходило. Медленно опускаясь на колени, мимолетно вспомнил удивительный рассказ бабы Маши — когда-то, в девках еще, сбили ее на улице конем, она потеряла сознание и увидела себя на лужайке среди нарядных и веселых людей, в раю, иным словом... Из груди Андрея вырвался лучик света и тихонько подался к небу. Падая, Андрей перевернулся-таки на спину и успел еще раз взглянуть на странное излучение. А затем неожиданно увидел себя, лежащего на тропинке, увидел сверху и понял, что душа его отделилась и воспарила. Однако в небо не улетает и в тело пока не возвращается. Держится на луче, как на леске, ловит закатный росистый ветерок — и парит. Весу-то в ней всего-навсего двадцать один грамм, прочитал давно где-то... Доктор один — кажись, со Скандинавского полуострова мужик — клал всяких там ихних умирающих на спецкровать и взвешивал в момент смерти. Исключительно

все легчали на эту цифру — и безработные, и нормальные. Народ вполне христианский, хоть и не православный. Ну, наши тут же, конечно, комментарий — мол, вот оно, так называемое достижение буржуазной медицины, товарищи! Никакого сравнения с наукой нашего общественно полезного строя!..

Андрей смотрел на себя и содрогался: ужас, как не хочется возвращаться в свое тело — пропотевшее, грязное, йсхудалое, невмоготу сызнова вращать в эти жилистые косматые ноги с большими верблюжьими коленками, в эти грубые руки с черными трещинами на пальцах... Противно думать, что надкушенное оригинальной девицей ухо будет зверски ныть и болеть перед любой непогодой — уж ныло разок перед дождем... Голова неделю не чесана, зубы не чищены... На диво отросшие за время тоски, обломанные работой ногти драли замусоленную рубаху, судорожно царапали загорелый треугольник на мосластой груди.

Он отвел взгляд от трепещущего на сырой земле тела и воспарил чуть выше. Улицей брело стадо. Светка с кусочком хлеба встречала кормилицу-корову. Плотным косяком протиснулись во двор овцы. Следом за ними неукложе и не очень уверенно вышагивала на двух толстых коротких ножках красноватая оплывшая пирамида. Высотой сантиметров шестьдесят, плоская и, вроде, пластмассовая. На округлой усеченной верхушке — то ли уши, то ли рога. Существо вело себя хитро, норовило не отстать от овец и примеривалось к их шагу. В пирамиде было что-то овечье, к тому же, странное это существо ловко отводило глаза: ни пастух, ни Светка его не видели. На лужайке сидела молодая соседская сноха — и тоже смотрела сквозь него. Зато ее маленький сынишка дивовался на невиданную овцу во все глаза. Интересно, запомнит он это чудо или нет? Должен бы. Пусть, как во сне, но запомнит.

Андрей забыл лицо своей матери, а нечто чудесное, происшедшее во время похорон, в памяти все-таки осталось. На кладбище тогда Андрея не взяли, оставили одного в избе. Помнится, дождь шел со снегом, а изба холодная, темная... Но вошла через запертую дверь веселая ласковая девушка в легком не по сезону платье, стала Андрея забавлять, цветочки на полу посадила, птичек, бабочек ярких напускала... Очень интересная девушка — с тремя глазами.

Дети многое замечают. Там, где любой взрослый кинет привычный взор, да и пройдет, ребенок остановится и взглянет внимательно. И окажется, что на месте топтаном, хоженом притаилось чудо великое. В детстве и слух, и зрение совсем другие, и дети часто улавливают сокрытую суть вещей. Рассказывал покойный брат Женька: «Было дело перед самой войной. Идет, помню, товарный поезд, а тятка на руках меня держит, на паровоз показывает. Наверно, они с мамкой в город ходили за чем-нибудь... И вижу будто через туман: в одном вагоне лежит на помосте баба голая, дикая... Ростом, быть можа, с дом, метров пять. По рукам, по ногам цепями скована. А околь помоста люди суетятся какие-то, и все они в белое одеты, лиц не видно. И начал я тятку теребить — что, мол, за бабища за такая? А он и не понимает ничего, все вагоны, говорит, закрытые были!..»

Существо робко задержалось в воротах, и Андрей как бы услышал вопль — пусти, хозяин, еще на ночку-другую! «А чего же раньше не спрашивалось?!» Существо пало на колени. «Ладно, ступай, ночуй...» — позволил милостиво Андрей. И смекнул — наверно, космический пришелец, с Сатурна с какого-нибудь, бедняга. Звездный, так сказать, гость. Ну, да не в одной Америке им бывать. Глядишь, и в нашем колхозе приживутся, привыкнут... Куда теперь деваться от них? Часовенка в деревне разрушена чуть не семьдесят лет назад, и никто, кроме разве бабки Волчихиной, креста на себе не носит... Американцы, они же сектанты все, крестным знаменем не осеняются, вот вся эта нечисть пришельческая к ним туда и повадилась, и одолевает их...

Кинув взгляд на округу, Андрей задохнулся от восторга. Надо же — уродуем и мордуем землю из года в год, ничем не украшаем ее, ни единого живого места не сохранилось на ней, а она все равно красивая! Пейзажей всяких повидал Андрей великое множество, прыгал в армии с парашютом десятки раз. Доводилось выбрасываться аж на готические зарубежные крыши, на дивно ухоженный ландшафт в окрестностях древней Праги... Много кой-чего повидал

Андрей, обо всем, пожалуй, и не расскажешь. А милее родимой стороны нигде ничего не встретил. На службе несколько вполне современных специальностей освоил, а вот коптитя у горна в кузнице, сменил покойного старика Волчихина.

На затененном березами лугу распустились белые ночные цветы, а на ближних холмах, в пятнах золотистого, бьющего с горизонта света еще атели цветы дневные. Над лесными полянами струился горячий воздух. Овраги синели сумраком, верхушки осин и ветел на пойменном берегу реки жадно ловили последние теплые лучи. С востока двигалась тишина. Душа Андрея ощущала мир и покой. Прекрасна есть русская земля, и да пребудет она во веки!

Увидев Андрея лежащим на земле, Раиса бросилась к нему с протянутыми руками, но не добежала и рухнула на тропинку едва не замертво. Подползла, впилась глазами в лицо. Миг — и она закричала бы на всю деревню.

— Ты чего? — непринужденно спросил Андрей и довольно-таки бойко поднялся. От страха до безумия напугать жену он очухался очень быстро. — Ну, изустал на работе человек да и прилег подремать маленечко...

— Да кто это поперек тропы, на луковой грядке дремлет? — Раиса не говорила, а причитала, умываясь горячими слезами. — Ох, показалось мне, ты умер, Андрюша! Подумай, кто я останусь без тебя?..

Андрей молча и хищно сорвал большой огурец, ополоснул его у колодца и, присев на корточки, с великим удовольствием уничтожил. Недоуменно оглядываясь на мужа, Раиса побрела к дому.

— Спит, как индеец, на тропе, — выговаривала она, собирая мимоходом зелень для ужина, — ест на корточках, как китаец...

— Живем своим капиталом! — заметил без улыбки Андрей и полез в помидорный куст. — И на своем огороде нам никто не указ!

Инна больше не чудилась. Осталась непоправимая вина, душа дрожала перед обманутой и оскверненной Раисой. И Андрей знал, что многие годы будут и бессонные ночи, и непонятное для жены заискивание, и внезапные приступы тоски. Все будет. Помыслишь — и оторопь берет. Со временем и уляжется, возможно... Да вряд ли.

А пока пойдем поглядим, как там приبلудное существо с овечками нашими устроилось...

Андрей включил свет и облазил все закоулки во дворе, но никакого пришельца не нашел. Решил: отводит, подлец, глаза. Вот вырастет уже соседский мальчишка — возьму я его в свидетели и всем докажу: был, ночевал у овец, бродяга!

В хлеву даже и при ярчайшем свете Андрею было отчего-то не по себе. Стоило шагнуть за порог во двор — и ощущение это пропадало.

Андрей не поленился сходить домой и принести крещенской воды, лет двадцать хранившейся в сундуке запасливой бабы Маши. Сделал веничек из соломы, умакнул его в банку и начал кропить углы. Обойдя хлев по солнышку, брызнул водой и на овец. Из охапки свежей травы, лежащей у края на сеновале, вдруг вывалилось березовое полено, невесть как там очутившееся. Оно треснуло Андрея по голове и едва не выбило из руки соломенное кропило. В тот же миг резко открылась дверь — как бы от сквозняка. «Что, милый?! — довольно улыбнулся Андрей. — Не понравилось хозяйское угощение? Уноси ноги по холодку...» Забросив кропило на сеновал, он выпил оставшуюся воду — за двадцать лет она нисколько не изменила вкуса.

Потом он сидел на стуле посреди горницы, под люстрой, а Светка стригла его, посматривая на портрет деда Николая. Ковер был сдвинут, на голых плечах Андрея висела вчерашняя газета, в которой Светка проделала отверстие для головы. На крашенный гладкий пол летели свалявшиеся лохмы. Светка торопилась на танцы и, кончив труд, первой умчалась в баню. Раиса подоила корову, сварила ужин и теперь возилась с овечьей шерстью — за стеной жужжала электропрямка. Никого не было, настал удобный момент разделаться наконец с ногтями. До этого как-то не замечали, а увидят — и завозмущаются обе: надо же, отрастил какие! Остриженные ногти и волосы подмел на газету, засунул в топку и сжег. Так было велено бабой Машей, а значит, неукоснительно соблюдалось и

при Раисе. Баба Маша действие сие толковала вполне язычески, и по ней выходило, что через волосы и ногти можно нанести человеку порчу, что ими охотно воспользуется всякий «врах». Раиса о порче не внушала, но волосы и ногти всегда бросала в огонь. Светка, конечно, тоже.

Мылись, словно работали, так сильна была дневная инерция. Не муж и не жена, вроде, а просто хорошие друзья. Раньше, во времена первых разорений, в деревне стало обычаем ставить одну баню на несколько семей, иначе можно было попасть и в кулаки. Станный этот обычай держался долго: разорение шло за разорением, бросили раскулачивать — началась война. После нее и крышу-то на избе починить нечем было, а о собственной бане и речи никто не вел. Мыться ходили вперемешку свои с чужими, и к этому за тридцать лет притерпелись, и казалось, что так и надо. Дед Николай одно время топил баню с Иваном Беззаботновым и кузнецом Волчихиным. Вот эту самую баню, давно перешедшую во владение Андрея. Первыми мылись мужики, последними — ребятня под присмотром тех, кто постарше. Отрок Андрей поливал из ковшика маленькую девочку Раю да приговаривал: «С гуся вода, а с Раечки худоба!» Бежал через заснеженный огород, относил Раечку домой. Дочь кузнеца Волчихина, одев других ребятшек, оставалась попариться. Возвращался париться и Андрей. Будущая мать красотули Зины была немного старше Андрея, она и бровью не поводила на мальчишку. И Андрей тоже смотрел на нее без интереса, хотя и знал, что она девушка разудалая и в любовных делах не промах. Парились по очереди — и все. Уж так тогда было заведено.

Выйдя в предбанник освежиться, Андрей и Раиса перестали разговаривать и, будто опомнившись, ласково посмотрели друг на друга. Раиса убрала с плеч и бросила на скамейку полотенце, но вдруг задичилась, застеснялась и выключила в предбаннике свет. Обнялись в темноте и минутку-другую слушали доносившуюся из клуба музыку. Да еще на минутку позабылись и не слышали ничего. А после открыли дверь и, отдыхая на скамейке, смотрели, как луна-разлучница всходит. По очереди попарились, оделись в чистое и пошли по ночному саду, молчаливые и умиротворенные. Попили дома чайку и съели нехитрый ужин, оставив третью часть Светке. Раиса высушила волосы феном, напустила на высокий лоб челку, надела модный жакет и ушла к подружке под окно посумерничать. Андрей зарылся в журналы — за неделю одичания он не прочитал ни одного печатного слова. Дождавшись из клуба Светку, договорился с ней, что утром поедут в город, в лесничество. Смотреть кино запретил, велел спать, чтобы завтра вскочила свежая, аки зеленый огурец...

— Завтра же воскресенье, папа! — взвилась задремавшая было Светка. — Сам ходишь, как опоенный, и меня такую же народил!

«Совсем одичал! — подумал виновато Андрей, включая поспешно телевизор. — А может быть, стареть начинаю?..»

— Папа! — снова закипятилась Светка. — Ты же лампу настольную включил!

«Ох, наверняка старость! Поседею скоро, как дедушка Николай...»

Фильм гнали молодежный, глупейший, а отчасти даже и жутковатый: ничего русского, кроме языка, да и тот мало походил на человеческий, разговорный. Светка принимала сюжет на веру и восхищалась с непосредственностью дитяти. Героями были с о в р е м е н н ы е юноши и девицы. Они добивались высоких байдарочных рекордов, бесновато-весело отдыхали, упорно тренировались под началом бодрого старенького наставника и врачей-психологов — и опять ставили рекорды. То ли жизнь, то ли сивой кобылы бред. Никаких вам в фильме родителей, дедов, бабок, дядек, теток, лель, крестных, кок и няняк... Никого из тех, с кем общается и от кого зависит от рождения до могилы всякий российский человек. У любого из горожан, как бы он ни выглядел с о в р е м е н н о, отыщется и троюродный «братка Стенька» в глухой деревне, и старушка «невестка Любка» на рабочей окраине. На презрении к кокам и нянякам воспитались целые городские поколения. Всякие н е с о в р е м е н н ы е родственники считались носителями убогого мещанства и сельского умилного православия. Основатели сей новейшей и немислимой философии сполна хватили ущерб-

ных радостей в казенных домах для престарелых. Сколько помнил Андрей — и в фильмах, и в молодежных журналах героини сплошь были современные, а значит, по мысли авторов, резковатые одиночки как бы без роду-племени. Внущалась навязчиво романтика — дальних городов и всего, что ни назови, и на ней едва не свихнулись. Возникла захватившая всех простаков искусственная возня между «физиками» и «лириками», умным не было от нее спасения. Герои книг не алегке срывались куда-то, спорили до хрипоты в самолетах и поездах, орали песни в общежитиях под гитару. Были в моде очки арки и туристики. Миллионы ровесников Андрея ходили зимой без шапок, словно в Италии. Носить валенки считалось позором — а зимних ботинок в магазинах не продавали, и вспыхнула мода на летние легонькие туфли. Болели, уродовались, оставались инвалидами на всю жизнь, но старались выглядеть, как в кино. У всякого героя кино непременно имелась еще и своя комната в квартире предков, и он был волен уехать куда-нибудь, и папа с мамой по ним али его. А если не по ним али, он с ними рвал. С тех не столь давних пор у героев и героинь сменилась мебель и резковатость перешла в агрессивность. Иных перемен Андрей за ними не замечал, и тогда, и сейчас проповедовалось одно: молодежь — это нечто отдельное от народа.

Вот и Светка глядит на эту чушь и себя от счастья не помнит. Ни лжи, ни фальши не видит, чужую легкую тележизнь со своей не сравнивает. Посмотрит, как на сладкую сказку, а завтра встанет часиков в шесть — мать не поднимет ее в четыре ради святого воскресенья — и начнет пироги месить. Это — вроде отдых, забава. Между делом, до обеда еще, сбегает с подружками за реку, на луга, где стадо пасется. Принесет полный подойник молока, а путь-то не близкий, туда-сюда километров пять будет... Ну, стирать в воскресенье не полагается. Закрутят с матерью огурцов банок двадцать, варенье сварят... Светка в амбаре или на огороде с журналом, с магнитофоном часок-другой повалается. Вечером опять дойка, возня со скотиной, а в ночь — на ферму. Не бывает выходных у крестьянки. Разве что иногда зимой. Но, опять же, надо печь истопить, корову подоить... Сенокос в этом году тяжелый выдался, ветрище, ливни. Вдвоем со Светкой косили, ворошили, метали, а мать одна на ферме вкалывала. Управились кое-как. Куда денешься?! Ох, долго ли, коротко ли будет продолжаться такой порядок — кто знает? Видимо, всему свой черед, и всякому человеку свое место. Вот и дочь выросла, и до сих пор еще молодая жена не задумала — нет причины переживать. А он взял да и заработал наваждение. Добро хоть не во время сенокоса. И счастье, что не пришлось готовить дрова, лег бы в лесу костями. Каждому по грехам его — и, видно, без этого не жизнь. Был ли хоть кто-нибудь из людей себе хозяин? Ой, не верится что-то! Судьба играет человеком, так говаривал покойный дед Николай. Гляди вот: скоро заявится злодей-лингвист Вовик, и умница Светка падет жертвой, образно говоря, его преступных наклонностей. Эх, с дровами бы до свадьбы разделаться! С картошкой — с ней навряд ли успеется... Вот что сердце теперь томит, вот что нагоняет печаль: возьмет да и увезет Светку злодей-лингвист, и не увидишь дочку... Не пойдет же он молотобойцем ко мне! А если и осядет в деревне, воткнется, скажем, при школе где-нибудь, то надо оставить им дом, а самому с Раисой купить избенку бабки Волчихиной — не буду я в собственном доме возле порога спать, перед зятем на цыпочках ходить! Бабка, авось, продаст избу, выручит. Надо будет поласковее с ней. Мама у лингвиста — кремень, Светку уже ненавидит заочно. Так что годов пяток Вовик наверняка протоскует здесь. А там, возможно, и совсем осядет.

Жди перемен, Андрюха! Как ни верти, а в начале будущего лета придется дедом назваться. И не столь уж далеки времена, когда, подобно дедушке Николаю, можно будет рассказывать внучатам: «Все мы богатыри, гранатами-автоматами увешаны... Посадят нас в самолет, бывало, и летим над Европой час, летим другой...»

Ночью Андрей едва не поседел от кошмара: приехал будто бы к Светке ее разговорчивый лингвист, а Андрей присмотрелся хорошенько — Инна переодетая! Проснулся в полубезумии, и первая мысль была — выпить скорее одеколо-ну. Но треклятая Инна не мерещилась, покурил на крыльчке и уснокоился.



В понедельник они со Светкой благополучно стогнали в город. Ехать в одиночку Андрей попросту опасался, с дочерью же никакая Инна страшна ему не была. Светка не выпалась после фермы, и Андрей хотел было отложить поездку, но посещение районного града было для дочери большим событием, она и слушать ничего не стала.

Выправили ордер в лесничестве, осмотрели все магазины, пообедали в ресторане и сходили прямо с сумками и коробками в новый роскошный кинозал. Светка зорко посматривала на встречных девиц, ловя последний крик районной моды. Вернулись на попутной машине, очень довольные, хотя в кузове и наглотались пылинки.

Вечером Андрей заново наточил пилу и топор, сложил в мешок кувалду и железные клинья. Всякий год, собираясь на заготовку дров, он заводил с женой разговор о покупке бензопилы, но переупрямить Раису не сумел. Логика ее была совершенна, и баба Маша наверняка похвалила бы свою сноху.

— Другие пусть, как хотят, — твердила Раиса, — а я и вздумать не смею, чтобы мой муж работал на людей за стакан! Полдеревни — моя родня, а другая половина — твои друзья. Никому не откажешь, будешь всем дрова бесплатно пилить, да и сопнешься!

Ходила с Андреем в лес, как в юности с отцом, и работала до изнеможения, но на своем стояла до конца. Подросла Светка — стали ходить втроем. Валили высохший древостой, разделявали на метровые кругляки и раскалывали на удобоподъемные плахи клиньями. Раиса била кувалдой наравне с Андреем и заговорщицки поглядывала на Светку — они договорились делать вид, что с наслаждением отдыхают на природе. Светка освоилась в лесу настолько, что прошлым летом роняла и разделявала сушняк одна — мать дежурила за нее в телятнике и чуть ли не каждый день гоняла в районную больницу: Андрея продуло сквозняком в кузнице, и он свалился с воспалением легких.

В шесть утра Андрей пошел на разведку к леснику на кордон — или, как говорили еще в деревне, «на домик». Раиса выдала ему давно припасенную бутылку водки и двадцать пять рублей. Перед сим, конечно, страдала и противилась, но Андрей убедил ее, напомнив, что без угощения и денег лесник, если и даст деланку по ордеру, то в ольховнике на дальнем болоте, как три года назад: и намаешься, и дрова не вывезешь, куда трясына не замерзнет.

Лесник встретил Андрея хорошо, а после того, как положил в карман четвертную да выпил водки, изволил даже поблагодарить за подковы. Полбутылки запрятал на опохмелке в стог — и наконец назвал место деланки — левой Заудельной гривы, не доходя до Скита-горы. Андрей подался туда — взглянуть на лес, прикинуть, пройдет ли там по дороге трактор. Место оказалось приличное: лес сухой, чистый, веселый, дорога твердая, хоть и малоезжая. До деревни — не больше часа ходьбы, и часть пути по лугам можно проехать на велосипедах.

По дороге домой нашел и разгрыз первый в этом году орех. Чудесный плод, предел голодных мальчишеских мечтаний. Горсть орехов зимой казалась раньше сказочно богатым гостинцем. Орехи в те времена никто почти и не собирал, да и рыбу не ловили в реке, и зверя в лесу не били — голодным, заморенным работой людям не хватало на это ни сил, ни времени. Помнится, задумали с братом Женькой запастись на зиму целый мешок орехов, да не вышло, не до этого было. В колхозе из хомута не вылезали и со своим усадом едва до снега управились.

А за дровами и за лыками для лаптей вот сюда с братом приходили, под Скит-гору, только место уж не узнать теперь, новый лес вырос. Летом таскали сухостой на себе, зимой ездили на салазках. Зверь-объезчик догонит на коне махом — и давай салазки рубить!.. Дров нигде не выписывали, а в лес — нельзя! Как знаешь, колхозничек, так и грейся. Диво!

И диво не замедлило явиться Андрею: навстречу ему, мелькая в солнечных жарких пятнах, во весь дух неслась по тропе румяная красотуля Зина. В моднейших девчоночьих брючишках и яркой спортивной курточке она выглядела моложе юных своих двадцати двух лет. Андрей ужаснулся, растерялся, но встретил Зину улыбкой и вежливым поклоном. Бежать от нее почему-то не решился — и

тут же обозвал себя дураком: Зина с налета повалила его в густой зверобой. Целовала-миловала с ожесточением, исходила любовью неразделенной. И доняла-таки великомученика Андрея. А не надеялась и в удачу свою не верила, несчастная. Стеснительно фыркнули, взвываясь на куст, иноземные легкомысленные штанишки. Румяные щеки Зины побледнели, зеленые буйные глаза закрылись. Разделила девка свою любовь, навела на грех серьезного человека. «Что ж!.. Имай, Зиночка, симпатичных мужиков, да только помни: самый первый — самый хороший, дальше — хуже...» Зверобой настолько умяли-укатали, словно тут и не росло ничего. А кустарник с краю поляны — он молодой, гибкий. Полег, но выпрямился. Надевая за деревом штанишки, Зина вдруг заявила мрачно и даже зло:

— Был бы ты ровня по годам — отбила бы я тебя у Райки!  
 — Слышал — у тебя парень в городе есть...  
 — Был! Не говори, Андрей, никому: женился в армии, сволочь!  
 — Ну, туда ему и дорога. Наверяд ли лучше сыскал.  
 — Наверяд ли...-Пойдем-ка чай пить. У меня вон там, на другой поляне, термос, печенье разное... Увидала тебя — и руку облила кипятком. Подуй, а то не пройдет! — Зина по-детски доверчиво протянула руку. Андрей подул. Девка снова полезла обниматься — просто так, уже через силу, про запас. Андрей посуrowел, посерьезнел.

— Перестань, Зина, не зноби мою душу! Нет у нас общего с тобой. К тридцати годам ты еще красивее станешь, а я к пятидесяти засохну и поседею. Пойдем, попить хочется... Должно, с похмелья — с лесником «на домике» долбанули...

Сели на траву под кустом калины. Над салфеткой шныряли осы, услаждались печеньем и пролитым Зиной чаем. Рядом стояли нарядные пластмассовые пакеты — девка собирала орехи. Андрей вспомнил, что она печет торты по рецептам, а без орехов тут, конечно, не обойтись. Бабка Волчихина кого ни встретит — не нахвалится рукодельной внучкой.

— Ты меня не бойся, Андрей! — заоткровенничала Зина. —пей чай и слушай... Райке больше дерзить не буду. И продолжала бы, да вижу — баба свихнуться может... Приходит в сельмаг — и руки трясутся у нее... К тебе на людях тоже не пристану теперь. Спасибо, свое взяла... А уж если подкараулю случайно где-нибудь, как сегодня, то извини — с живого не слезу. Так и знай!

-- Ладно, буду настоroje.

— Но сейчас-то ты мой! — заплакав, крикнула Зина. — Не ушел сразу — не обижай!

Потянулась к нему, повисла камнем на шее, впилась в щеку маленьким жадным ротиком... На этот раз вели себя помирнее, даже калину не сломали и термос не опрокинули — сразу же отодвинулись подальше. Пакеты все же как-то рассыпали, орехи разметали, а высокую мягкую траву убили до плотности ковра. Зина кое-где порвала одежду, да ведь в лесу-то всяко случается... Отлежалась, вздохнула резво — и сделала сальто на зеленом ковре. На лбу у нее царапина, ледяные глаза сверкают, по плечам косы растрепанные мотаются — кабы не модная на ней одежда, так вылитая волхва.

— Ну вот, теперь и лущить не надо! — сказала она с веселым удивлением, и принялась сгребать орехи. Андрей лежал под калиновым кустом, дымил папирской, глядел сквозь листья на облака и думал — попускают небеса грехам нашим, ох, попускают!.. Узнай сейчас бабка Волчихина, кто обесчестил ее любимую внучку, — и не дотянет с горя до ста годов... Не доглядела за Зиной, старая! Да разве за такой уследишь...

Собрав орехи, Зина расчесала, заплела косы и мирно уселась чаевничать.

— У нас с тобой традиция давняя... — говорила она неспешно. — Дедушка мой с бабой Машей якшался в молодости, когда муж у нее в Нижний Новгород уезжал. Деду моему лет двадцать едва исполнилось, а бабе Маше — все тридцать пять... Да и ты к моей матери неравнодушен, по слухам, был. Отец как-то упомянул, что дрался с тобой на танцах...

Кавалеров мать Зины не считала, роem вились. Что уж было, то было.

И насчет традиции тоже верно. Старик Волчихин, идучи вечером из кузницы, всякий раз подходил под окна бабушки Николая, звал бабу Машу и просил напиться водички. Напившись, говорил ласково: «Ну, Маша, глянул я на тебя, и слава богу. Теперь до завтра!» Дед Николай, завидя его издали, привычно указывал супруге: «Ступай к окошку, Марья. Друг твой сердешный приближается!» Деду Волчихину памятник бы поставить — за долготу и силу любви. Вся деревня о его чудачестве знала, девки на свидания эти смотреть бежали и теперь своим дочерям рассказывают. Знала обо всем и бабка Волчихина — и молчала.

Зина собрала с салфетки свои припасы. Андрей подхватил пакеты с орехами. Пошли по дорожке рядом.

— Скажи, Андрей, а как тебя Инна захомотала?! — в голосе Зины звучали и удивление, и ревность, и острое любопытство. Андрей на несколько секунд онемел, но затем решил не таиться:

— Да случайно! Я братана искал, ну, и залетел к ней в квартиру... Дома одинаковые все... Мы в школе на одной парте с ней сидели. А сейчас она врач, культурная, возвышенная такая... Ведет себя не по-нашему совсем, речи говорит об искусстве... Сеттеченто... Кватроченто... За границей долго жила... Представь, я даже голову потерял! Насилу прошло, чуть с тоски не загнулся. Что самое страшное — и не расскажешь ведь никому...

— Ясное дело! — сочувственно откликнулась Зина. — А я тоже на стенку лезла! Каждую ночь плакала! Ну, думаю, и Андрей!.. Инну эту самую, собаку эту облезлую всю изъездил, а от меня бегают, брезгует... Но за сегодня я тебе все прощаю!

— Давай теперь ты рассказывай — если можно, конечно.

— Обязательно поделюсь! А для начала скажу вот что — была она врачом когда-то, а сейчас санитаркой в венерической пашет. Заграницу и в глаза не видела. Кувыркалась, правда, по большим городам. Оттянула лет семь за аферизм, вернулась — ударились в разврат. Выслали ее сюда, по месту рождения. На работу через милицию устроилась. Ох, и дубины же там сидят! Развратницу — и в венерическую! Зольщицей ее в коچهгарку!..

— Да она говорит — квартирами поменялась.

— Лживая — спасу нет! Не было у нее ни угла своего, ни мужа. Живет у отца из милости. Он ее презирает — даром, что сам такую вырастил. Но она ему девок водит, тем у него и держится. Мамочку она давно уж в гроб загнала. Да и папочка еле дышит, бесперечь в больнице валяется... Видишь, Андрей, на кого ты Райку свою сменял?

— Лучше бы не рассказывала, Зина.

— А ты спроси, как я обо всем узнала?

— Да что-то не до этого мне сейчас... Так-то мне стыдно, так паскудно, что в пору бы и не жить... Ну, ладно уж, говори.

— Прислал мне жених письмо — извини, мол, Зинуля, и все такое... Прочитала — освирепела. А до этого один ревизор в любви мне поклялся. Такой весь из себя государственный красавец... Звоню ему, он обрадовался, кричит — приезжай, мы пикник тебя ради организуем! Ну, приехала. Сели в микроавтобус шесть человек. Мы, значит, с ревизором, друг его с этой Инной, а для шофера дуру какую-то пригласили из топсбыта — не успели сесть, она обниматься начала. Добрались до ближайшего оврага, заехали в него — вот и пикник. Из автобуса только по нужде выбегали. Кругом бурьян, банки консервные, неподалеку свалка дымится... Страх! Начали они коньяк лопать, а я не пью, веньгаюсь, а на самом деле за себя опасуюсь. Ревизоров друг давно нагишом, Инна — тем более. Смотрю, и шофер насмелился, вжикнул замком на брюках. Инна верещит беспрерывно, от одних ее речей с ума спятишь... Я трезвая, а руки ходуном ходят, сами тянутся чулки отстегнуть. Но все же опомнилась. Неужели, думаю, расстанусь с девичеством среди такой мрази? Поберегусь-ка я для Андрея... Вот тебе крест, Андрей! Честное слово, так подумала!..

— То ли мне похвалить тебя, то ли выпороть да в угол поставить?.. — Андрей свернул под деревья в тень, устало прилег на травку и достал из кармана ковбойки папиросы. — Садись, Зина. Лес скоро кончится, а лугами, сдается мне,

надо все-таки порознь... Раиса вместе увидит — не обрадуется, рукой не замашет...

— Да уж! Прошлой осенью было — мы с тобой по улице прошли нечаянно вместе, помнишь? А жена твоя меня встретила — и давай потаскухой крыть! Дорвусь, говорит, когда-нибудь до тебя! Наемся, говорит, твоего сучьего мяса, напьюсь крови!.. Я ночь не спала от страха. С ведьмой, Андрей, живешь...

— Ладно, ты досказывай свое приключение, да я пойду потихоньку.

— И сидим с ревизором, значит... Он пьяный сделался, руки стал распускать... Всю меня измуслякал. Обещал осчастливить, сумку австралийскую подарить — из крокодила. А по мне, что лягва, что крокодил — одна малина... Бв-в-в!..

— Отвлекаешься!

— Исцапал, измуслякал меня... Стало мне думаться. Подхвачу, думаю, такой вот спидометр!.. — тут Зина резко поднялась на колени и сложила вместе два кулака, чтобы показать величину и силу страшного вируса. — Вот, думаю, прославлюсь! Буду передовая во всем районе!.. Понеслась опять в город, а в венерической слушать не хотят. Все же осмотрели меня. Выхожу я оттуда, а в дверях Инна в белом халате! Вот это врач, думаю... Испугалась, конечно.

Инна сразу меня за талию — ах, какая вы, милочка, наивная, какая дикая... И в глаза упялиться норовит. Начала к себе зазывать, мальчики, говорит, будут, девочки... Сейчас, говорит, снова в моде групповой секс, приобщайтесь! Вынула карандашик, чтобы адрес свой да телефон написать... Смотрю — а на бумажке твоя фамилия! И каракули какие-то насчет угля. Инна эту запись оторвала, бросила в урну и смеется — надо же, говорит, где попался! А я спрашиваю — муж, что ли? Муж, говорит, да только отнюдь не мой... Так, дикарь-самоучка. Девятнадцать лет с женой прожил, а об эrogenных зонах не слыхивал. Пришлось, говорит, целую ночь потратить, чтобы зверя в нем разбудить... А я смотрю на нее и думаю: неужто, баба, у тебя других разговоров нету?! Расстались мы с ней, бумажку ее я выбросила да и пошла к девчонкам своим в контору. Выспросила об Инне, торгаши обо всех все знают... Телефон тогда, в тот вечер не надрывался?

— Замаями!

— Подружки звонили. Собирались, видно, на групповой сеанс, да ты помешал. Дорвался, страдалец, до бесплатного!..

Лет пятнадцать назад Андрей крепко перепил на гулянке, взял зачем-то у друга мотоцикл и поехал неизвестно куда. Выдвигал десантные кунштюки. И зубы разбил, и мотоцикл. Разбудили на другой день и сообщают: вечером умерла баба Маша. А он весь в синяках, весь опух и на ногу припадает. Что удивительно, никогда прежде не напивался. Чуть умом от стыда не тронулся, да вчерашний день не воротись... Мотоциклы видеть с тех пор не может, да какой прок?

Не воротись, увы, и день, когда повстречался с Инной. Ничего не воротись, ничего не исправишь. А теперь, вот, третья печаль — неизвестно еще, как откликнется завтра нынешнее лесное ауканье...

— Андрей! — позвала Зина, лукаво сузив глаза. — Ты бы на мне женился?

— Уймись-ка, Зина.

— Ну, если бы, скажем, Райка к другому убежала?

— Отбывался бы, как только мог. Слышал я о тех дурачках, которые на молоденьких позарились. Самая страшная судьба. Приходит старость — умирают собачьей смертью... Эх, девка! От одиночества вся эта фантазия твоя!

— Пустые твои слова, Андрей! Уж сколько лет жду, когда душа у меня перегорит!.. Из головы моей не выходишь... Горе ты мое горькое! Живу да маюсь, словно честна вдова...

— Не причитай. Даст Бог, пройдет и у тебя наваждение... Лишнего, девка, раскалякалась, далеко зашла... А я-то ведь тоже человек, и сердце-то у меня не каменное...

— Ладно, Андрей. Это я так... по молодости, по глупости. Иди домой, отпускаю... Да только помни — люблю я тебя, Андрей! Спасибо тебе за все сегодняшнее!

— Промолчишь, Зина?

— Ну, как тебе доказать?.. Зацепила, помню, студента Вовика, а он с гулянки-то со Светкой вашей ушел. Батюшки, думаю, девчонка-то в стельку пьяная, да и рановато ей любовью с парнями заниматься! Перепугалась я за нее, да и домой, да бабке своей и рассказала. Та сразу к тебе. Остальное сам знаешь... И молчим с бабкой-то! Никому не растрезвонили! Светка ваша такую собаку на днях на меня спустила! Такую собаку! А я и то ничего. Я молчу, глядишь — и люди обо мне промолчат... Чай, в одной деревне живем...

*г. Шумерля*  
1987



---

## Владимир Леонович

### ГРИФ ДСП

#### УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Трудный с воздуха мусорный дух.  
Печь не топлена. Пусты бутылки.  
Ребяенок полутора-двух  
на соломенной голой подстилке.

Что тут, право? Такой кавардак.  
И мальчишка зареван. Однако  
он кричит — по-карельски, никак? —  
ох, по-русски совсем: — Идинаккуй!

У Апостола сказано: Бог  
есть начало Творенья и речи...  
По колено болотный сапог  
непотребно торчит из-за печи.

Понимаю... А стужа в избе.  
Батька с маткой свалились в одеже.  
У мальчишки песьяк на губе —  
то-то лает. Два года — не больше.

Или проклятой жизни итог  
матерясь возглашают младенцы?  
Батька лезет — поставил сапог.  
Ничего не хочу — пячусь в сенцы.

#### ВОЛГА ЦВЕТЕТ

*Ахсану Баянову*

Волна из гущи скатывает плеть —  
русалки ни при чем и врать не буду:  
они как дети начали болеть  
И водяной прогнал их всех отсюда.

Фальшивый плес безрадостно простерт,  
напахивает свежестью гниенья.  
Так проза у Катаева цветет  
красивой плесенью, травой забвенья.

Врет красота, когда она стыдна.  
Синя и зелена сопля эпохи.  
По лесенке Ламарковой до дна  
сойдем, утопленники-углебохи.

Я до древлян дошел, ты до болгар —  
примерил жабры — с легкими расстался.  
Состав воды — Господен Труд и Дар —  
с основы стронулся и зашатался.

И угораздило же! Изнутри  
его нарушили, порвали связи...  
Нет, мы не варвары, не дикари —  
но кто мы в мире наших Безобразий?

\* \* \*

Словно вымерли ветры — тихо.  
Небеса ночные июня —  
как подушечка для булавок.  
Фонари над пустыми скамейками —  
напряженный свет, дробящий движение.  
Тысяча зеленых сердечек —  
просвечены листья липы —  
на лиловом бархате теплом.  
Ресторан, а за ним посудомойка:  
матерки долетают мелодично,  
громыхают жирные тарелки:  
— Не дожрали, а окурков-то, Господи...  
Звон и грохот. Митинг судомоек —  
о душе, о ней единой...  
Мотоцикл,  
целый парк просверливая фарой.  
— Парень, ноги береги! — мчится мимо,  
как спасательный катер, что на пляже  
отравляет нам существованье...  
Спасена будь, женщина ночная,  
привлеченная трепещущим светом,  
возникающая рядом на скамейке.  
Парк, потом лесопарк,  
лес и речка —  
по тропинке уйдем,  
костер затеплим.  
Все равно: о душе,  
о ней единой.

## НА ОДНОМ ОСТРИЕ

*И. Д.*

У Сэндюги-речки великая свалка.  
Ворона шагает степенно и валко,

и нехотя-медленно-косо, как дым,  
возносится стая над лесом худым.

И где залегает кольцо обороны,  
не знают шпионы, а знают вороны,

а мы, заблудившиеся грибники,  
наткнемся на зону — плюемся с тоски!

Не нашим с тобой разумением и толком —  
вороны питаются кабельным током,

который выклеывают из глин,  
и наши воззрения сводят на клин.

А милый пейзажик из поля и леса  
стоит на платформе бетонно-железа,

она же — весьма вероятно сие —  
покоится вся на одном острие.

## СЕМЬ КУЛАКОВ

*В. Суховскому*

Твои рассказы про ГУЛАГ  
душе моей невмоготу.  
В социализм не врос кулак —  
он врос в тайгу и мерзлоту.

На черном Севере страны  
семь кулаков сидят кружком,  
и снимали зипуны,  
и все присыпаны снежком.

И в мужиках дыханья нет —  
они витают в теплых снах.  
И лишь мальчишка малых лет  
как будто дышит в зипунах.

Высоко вытаял сугроб,  
лежит на теплине малец,  
замерзли все, и нету дров,  
и этот мальчик не жилец.

Как поминальная свеча,  
он долго теплится в снегу,  
уже земля не горяча,  
и я ему не помогу...

И как ему поможешь ты,  
покуда милует мороз,  
пока по следу теплоты  
еще густеет белый ворс?

Минует время — горе, гнев, —  
одно минует за другим.



Семь кулаков, окаменев,  
сидят над мальчиком своим.

## ПЛЕВОК

Фабричной плотины гребенка,  
железного хлама отвал.  
В едучей воде у рыбенка  
спинной плавничок отгнивал...

Уж он трепыхался, пытался  
уйти в рыжеватую муть  
придонного тока хлебнуть —  
но всплыл и плевочком остался

на радужной глади пруда.  
Слезится на попуске ерик,  
где нынче вода — не вода  
и берег железный — не берег.

Повсюду помечен урез  
нарывчатой сыпью кровавой.  
Болезненный скрежет желез  
я слушал, бродя по отвалам.

Ну вот, вместе с жизнью ушли  
слова, я подумал устало,  
от праздной и ржавой земли  
и гнилостного водостава.

Блеснет, как презренья плевков  
с заоблачного полета  
какой-то фабричный ставок,  
и свалка, и крохотный кто-то...

## ГРИФ ДСП

Покуда пьют, покуда спят,  
несеянное пожинают,  
Онегу-реку гонят вспять  
и на равнинах распинаят.  
«Антионеги» этажи  
гнетут несчастных каргополов.  
Окаменели горы лжи,  
каких не видывал геолог.  
Мордатые трудовики,  
кровоглазы и поддаты,  
уже ломают Соловки  
и сваливают в тело дамбы.  
Дрожит Секирная гора,  
взлетает к небесам Голгофа...  
Нам обеспечена — ура! —  
неслыханная катастрофа.

Теперь Онежская губа  
заткнулась и распространилась,  
по воле плавают гроба,  
как в страшном сне Рубцову снилось.  
А тот, кто участь разделил  
с рекой, лесами, деревнями,  
соляркою себя облил  
и в чистое облекся пламя.  
Не пробудил нас Божий глас,  
не вразумил народный вопль...

Но в самый раз рванул Чернобыль  
и вскорости пришел Указ.  
Он не был этой вдохновлен  
бедой позорной и безмерной,  
но льстил общественности нервной —  
«Проект» прикрыт был... и продлен.  
И на онежском берегу  
приспущен вымпел Минводхоза  
(как понимаю, это проза —  
я у нее всегда в долгу).  
Ослабла правая рука  
и в левую переложила  
16-ю ПМК,  
что каргополов ублажила,  
рабочий кадровый народ  
перекупая за десятку,  
дорогу и водопровод  
начальству посулив как взятку  
за гибель края... Скажешь — бред?  
Ан нет. В райкоме горевали!

«Проект» застрял на перевале  
восьмидесятых бурных лет,  
и праздных тысячи умов —  
немудрено — зашли за разум,  
создавши страшных сто томов,  
приостановленных Указом.  
Гриф ДСП: кубы, грунты,  
узлы, урезы, перемычки...  
Словарь и дух анатомички:  
копаются в тебе, а ты —  
а ты живой! Ушли под гриф  
болота Лаче, хрящик Свида...  
— Я жив! — ору. — Нет, ты не жив!

Мы живы. Сатана, изыди.



---

---

## Юрий Храмцов

### КУЛАКИ И УКАЗНИКИ

Из книги воспоминаний

*Рукопись Юрия Александровича Храмцова принесла в «Согласие» Марина Кудимова — поэт, обозреватель «Литературной газеты», народный депутат подмосковного сельсовета, и мы сразу же решили ее печатать, но вот автора долго не могли разыскать, ибо оказалось, что он нигде не прописан. Как и все крестьяне дохрущевской поры, Храмцов до ареста — а посадили его вскоре после войны на основании Указа от 4 июня 1947 года — паспорта не имел. Выйдя же «на волю» после двадцативосьмилетнего заключения и получив соответствующую справку, в сердцах ее разорвал. Вот и остался — на всю оставшуюся жизнь — «беспачпортным», а значит, и «непрописавшимся».*

*Однако мы печатаем фрагмент из воспоминаний «указника» отнюдь не из одного сострадания к его мукам. Будь это так, в «Согласии» просто бы помогли Юрию Александровичу выхлопотать «вид на жительство» и пенсию, благо теперь это не такое уж безнадежное, хотя, увы, и непростое предприятие. Печатаем из уважения к качеству текста, в котором не поправили ни слова, к умному уму его автора, к бездонности его памяти, а ну же всего восхищенные его речью, полученной в наследство от дедов-прадедов — достаточных уральских крестьян — и не испорченной ни пятью классами советской школы, ни отрицательным опытом долгосрочного ГУЛАГа. Печатаем, ибо уверены: шестьсот с лишком страниц Храмцова — явление уникальное, воистину летопись бед народных.*

*Если же искать в российской словесности литературный аналог, то ничего, кроме до сих пор полностью так и не расшифрованного труда Андрея Тимофееча Болотова, хотя он восхищал еще Пушкина, лично я припомнить не могу.*

*Скоро ли издательство «Милосердие» сможет опубликовать рукопись Ю. Храмцова отдельной книгой, не знаю: ситуация в издательском деле непредсказуемая, но записки «непрописавшегося» мы непременно будем печатать в журнале «Согласие».*

*Народ должен знать свою историю по первоисточникам.*

*Алла Марченко*

**КУЛАКИ.** Заводская работа — все одни и те же движения изо дня в день. Руки опускаются. То ли дело, когда видишь плоды своего труда: мешки с зерном в амбаре, кучи картошки в подполье, кадушки с квашеной капустой. Плетенки лука, твеса с маслом и медом. А как бодрит душу весенний запах раскопанной земли, когда готовишь грядки на огороде.

Свой хутор — вот что меня привлекало всю жизнь. Это влечение от деда и бабки: они были крепкие крестьяне, но не оставили наследников.

Совсем маленький, ушастик, я жил у тетки, когда в нашей деревне стали строить колхоз. Как-то поздно вечером я лежал на полатах и глядел вниз: тетка затопливала железную печку. Скоро пламя загудело в железных трубах, по горнице запрыгали желтые отсветы, сразу потеплело под потолком. Тетка прилегла на свою кровать у кухонной перегородки.

Вдруг в сенцах затопали шаги, приглушенные голоса донеслись, что-то со звоном упало. Дверь избы широко распахнулась с морозным скрипом и долго не закрывалась. В горницу повалил холод. Я прислушался — к нам зашли несколько человек, видел, как вскочила тетка, торопливо зажигала лампу, руки у нее тряслись.

Через брус полатей я смотрел на мужиков. На днях тетка выучила меня считать до десяти — нетрудно сосчитать всех зашедших к нам: их было пятеро.

Двое бородатых — наши соседи, мои знакомые. Незнакомым был бритый мужик в новом полушубке, подпоясанный широким коричневым ремнем. Двое мужиков остались у двери. Их я плохо разглядел, хоть и старался пониже свесить голову.

Что было дальше?

— Показывай, Васильевна, где что у тебя спрятано, — описывать будем, — сказал новый полушубок.

— Как описывать? — боязливо спросила тетка.

Мужик в новом полушубке разъяснил:

— Вот так, по решению сельсовета. Имущество, которым ты распоряжаешься, тебе не принадлежит, а твоим раскулаченным родственникам. Это против наших советских законов, кроме того прочего — заявление о добровольном вступлении в колхоз писать не хочешь. Так ведь?

Тетка молчала.

— Выходит, заодно ты с врагами сельской бедноты.

— Не враг я, — сказала тетка, — со своим огородом не управлюсь.

— Огород мы тебе обрежем, — пообещал новый полушубок, — у тебя сколько сажен огорода? Целая десятина до самой речки, а единоличнику полагаются тридцать соток.

Складно говорил новый полушубок, я слушал, раскрыв от удивления рот.

— Чем я жить буду? Вон малец еще, — тетка кивнула головой вверх ко мне на полати.

Мужик в полушубке и двое возле него взглянули на мою стриженую голову. Внимание мужиков меня смутило, захотелось спрятаться, но любопытство пересилило: что еще будет говорить новый полушубок? Мужики, стоящие у порога, на меня не посмотрели.

— Так, мужики, — обратился к ним новый полушубок, — выноси из избы все, что есть, складывай в сани. Сундук, самовар, половики, зеркало... Иконы не надо — пускай молится своим заступникам. Одежду берите.

Он ходил по избе, осматривал наши убогие пожитки.

— Стол не надо, куда мы его денем, лавки тоже не троньте. Забирайте перины, одеяло, подушки, валенки, — он заглянул ко мне на полати, — войлок снять и взять.

Мужики принялись за работу.

— Мука есть? — обратился бритый к тетке.

— Есть немного в чулане.

— Муку взять, горох, крупу, солод. Самогонка есть?

— Какая у меня самогонка.

— Поищите, мужики. Хлеб печеный не надо, картошку тоже не берите.

Скоро наша изба совсем опустела. Один мужик напоследок залез на полати, вытащил молча из-под меня войлок, свернул в трубу и вынес.

Новый полушубок удовлетворенно оглядел пустые углы:

— Все, Васильевна, остальное — твое. Можешь жаловаться.

Тетка стояла у пустой кровати, сжав губы. Я видел, что ей хочется зареветь, мне и самому хотелось зареветь, но я побавивался нового полушубка.

Не спеша, один за другим, мужики вышли в сени, даже на полатах стало зябко. Последний мужик задержался у порога.

— Не обижайся на нас, Васильевна, — сказал он вполголоса, — не по своей мы воле.

Тут тетка не выдержала. Сжатые губы жалобно задрожали, морщинистое лицо искривилось, по впалым щекам покатались слезы. И я заревел, вдруг оскорбившись тем, что у нас нет теперь пузатого блестящего самовара.

С плачем тетка озиралась по избе, будто хотела увидеть, что же осталось. Потом она сходила в сени, заперла дверь избы на засов, закрыла трубу. Она легла рядом со мной, подстелив на двоих свою старую шубейку.

— Хватит ныть, — долго уговаривала меня, — хватит. Выкуплю я самовар.

— Ты сама ноешь, — возразил я, всхлипывая, и незаметно уснул у нее под боком.

Утром прибежала соседка, принесла нам крынку молока под передником, любопытно оглядела пустую избу, чтобы рассказать по деревне.

— Вот лешие, все описали, подчистую. Вот ироды, прости, Господи.

Тетку тогда растрогивала любая участливость. Долго она и соседка сидели рядышком на лавке и плакали. Тетка горько, соседка просто так, для участия: ее мужик и она уже записались в колхоз.

— Что делается, Васильевна, я, дура, ничего не пойму. На работу нас бригадир каждое утро выгоняет, а за работу — кукиш, трудодень называется. А для чего — никто не знает. Я уж стараюсь всяко дома остаться. То, говорю, печь топится, истоплю, тогда прибегу; то, говорю, ребенок захворал. Не верит, в избу заходит: «Где ребенок-то? — Смотрит. — Он у тебя только с виду хворый. Больно быстро вы все врать научились, то сама больная, то ребенок, то печь топится». И вправду, никто не хочет в этом колхозе робить.

Соседка тяжело вздохнула:

— Тебе, Васильевна, все бабы завидуют: сама себе хозяйка, а у нас, как на каторге: чуть стукнут в окошко на работу — так и затрясешься вся. Право. А сундук отдадут: Фекле Микулиной отдали, со сломанным замком. Ты в уезд сходи.

Однажды я прибежал с улицы и остолбенел: на столе кипел самовар, наш, полуведерный, блестящий. С медалями по всему широкому брюху.

— Выкупила?

— Отдали. В район пожаловалась.

Вечером тетка привезла на саночках сундук из сельсовета, две бабы ей помогли, потом притащила муку в мешке. На следующий день в избе появилось все остальное наше имущество. Только солод не отдали.

Я был рад, но этим не кончилось. Перед весной пришли снова, но почему-то не было мужика в новом полушубке, предсельсовета. Мы с теткой опять испугались: оказалось, пришли не описывать. Сельсовет вынес новое решение: половину нашей избы — переднюю горницу и половину теплых сеней — отпилить и сломать как принадлежавшую высланному кулаку. В передней половине раньше жили мои дед и бабка, раскулаченные, я их почти не помню. Они умерли у горы Магнитной...

---

Из наших мест кулаков свозили на строительство Магнитогорского металлургического комбината. Тысячи кулацких семей погибли.

В лагере я встречался с одним из немногих, выживших там. Он на несколько лет старше меня. Его родители жили между Елабугой и Чистополем.

Как-то мы сидели с ним в камере шизо — два худощавых бородача — за то, что не пошли на работу в праздник Святого Духа. Улегшись на верхних нарах, мы выглядывали от нечего делать в зону, в летнее тепло, через решетчатое окошко. И разговаривали о разном. Я вспомнил о своем раскулаченном деде, помянул Магнитогорск.

— Я сам там был, — сказал мой собеседник. Имени его не помню, фамилия — Русаков.

Он стал рассказывать, говорил незатейливо, но в каждом слове чувствовалась выстраданная правда.

Когда началось раскулачивание, к ним в дом пришли активисты из комбеда. По-хозяйски разгуливали по двору, заглядывали во все углы. Потребовали ключ от амбара. Принялись лениво насыпать зерно в мешки, которые им принес отец моего собеседника. Грузили мешки на подводы — вертявые, быстроглазые, языкатые.

— Жалко отдавать пшеницу-то? — епрашивали.

— Жалко, — признавался отец, — не ворованная, своими руками собирал по зернышку. — Он поднял к груди жилистые руки.

— Будто уж? Ладно, не горюй, ты мужик бережливый — еще соберешь.

Комбедовцы обыскали весь крестьянский двор: подклеть, подполье, по-

греб, чердак, конюшню, сарай. Забирали все как свое, грузили и увозили. Объясняли с усмешкой в глазах:

— Это теперь наше, народное, пролетарское.

Пошли упорные слухи о выселениях. Русаковы не стали ждать. Отец таскал в мешке в лес припасы, выбрал сырую осеннюю ночь и увел из деревни свою семью. Брели долго по туманным просекам, спотыкаясь о сучья. Когда рассвело, вышли на вырубку у лесной речушки. По воде плыли последние опавшие листья. Отец сел на пенек и сказал:

— Кто хочет есть и отдохнуть — ищите землянку, она здесь.

Все разбрелись по вырубке. Детишки весело перекликались из-за кустов, жена выговаривала мужу: «Что еще выдумал, мы устали». Она заглядывала под кучи сучьев. Глава семьи сидел, посмеиваясь. Оказалось, что лаз в землянку был под пеньком, на котором сидел отец.

Зиму прожили в душевной тесноте, занесенные снегами. Всю зиму не видели ни одного человека. Наступала весна, всем желанная. Потекли сугробы. Время, когда крестьянина с неодолимой силой тянет в поле. Русаковы вернулись в деревню — пахать, сеять. Надеялись, что беду пронесло, как метельную тучу.

Ночью к ним пришли и переписали всех. Через неделю приказали собираться.

Отец пошел по соседям просить помощи на дорогу. Мать со слезами побегала по соседкам. Собрали полмешка муки, четверть масла, гороху, картошка сохранилась своя в подполье. Сосед дал заднюю баранью ляжку, сам под полой принес. Собрали печеного хлеба дюжину караваев. Яиц, сметаны, меду.

Всю семью отправили в уезд. Там много оказалось таких, как они, высылаемых, в церковной ограде. Раскулаченные ютились внутри храма и в приделе. На паперти и под иконостасом. И в алтаре. Служба не шла.

За несколько дней до прибытия семьи Русаковых областные комиссары застрелили приходского священника у задней стены храма. Хоронить не велели. По белой штукатурке обломком кирпича над убитым начертили слово «саботажник», страшное и непонятное. Да и без того никто не решался подойти к убитому старику. Мальчишки только, замирая, подбирались поближе — поглядеть из-за могил. Расстрелянный лежал в рясе неловко на боку, уперев плечо в низ стены, выставив вперед бороду. Ветерок шевелил длинные волосы на голове, и со страхом чудилось, что старик еще живой.

Как-то с вечера потемнело небо, загрохотала первая весенняя гроза. Вспышки молний врываются внутрь храма через высокие стрельчатые окна, ливень хлестал по земле, по надгробьям кладбища, гудела под дождевыми струями цинковая церковная крыша. Никто не выходил в ограду в ту ночь, кроме двух мужиков с лопатой, от которых боязливо отворачивались все глаза. В ту ночь труп священника исчез, никому не известно куда. У задней стены храма, на том месте, где лежал старик, появился самодельный крест, сбитый из двух палок, воткнутой на холмике свежeverкопанной земли.

Неделю пробыли ссыльные в ограбленной церкви. К ограде подходили местные жители, передавали раскулаченным подаяние по старинному обычаю милосердия. Так поступали их деды и прадеды в далекие времена при монголах и в Смутное время, и они — в красные годы большевистских коммун. Бывший урядник, а теперь народный милиционер пытался препятствовать общению «несознательных граждан» с «враждебным кулацким элементом», но без особой настойчивости.

Русаков не спеша вспоминал, как их всех гнали на станцию под конвоем комсомольцев. Пылила дорога под сотнями ног. Десяток подвод, нагруженных мешками и узлами, тянулся следом. Остальные вещи и припасы тащили на себе.

На станции стояла вереница товарных вагонов. Торопливо в них стали грузиться кулаки, подгоняемые окриками охранников. Вагонов было мало, набились плотно, только стать да сесть. Все съестное было приказано грузить в отдельный вагон, чтобы мешки не загромождали место. Вечером, в сумерки, охранники задвинули вагонные двери, оставив только щель — помочиться.

Никто не знал, куда повезут, да никто и не старался узнать. Напуганные разгромом своих дворов, мужики тоскливо вздыхали, сидели молча в мутной вагонной духоте, каждый в одиночку думал свою тяжелую думу. Бабы тихо голосили, подняли всеобщий вой, когда тронулся поезд в неизвестную темноту.

Везли их долго. Может быть, неделю. Состав по многу часов стоял на разъездах. Тогда охранники разрешали вылезать из вагонов по большой нужде, по очереди. Оправлялись тут же у колес. Моему собеседнику казалось, что их везут на край света. Так казалось не одному ему; даже пожилые мужики знали один дальний путь — в Чистополь.

Все обрадовались, когда кончилась томительная дорога и охрана прокричала: «Выгружаться!» Вагон с съестными припасами исчез навсегда.

Медленно шла толпа раскулаченных. Мужики тащили мешки, бабы едва переступали ногами, обещанные узлами и сумками. Ухватившись за подолы, тащились за матерями детишки с протестующим ревом.

Вновь прибывших загнали на заболоченную низину, обнесенную забором, — несколько колючих проволок, наспех натянутых на криво вколоченные кольца. По всей низине в беспорядке раскинулись серые шалаши, похожие на копны прошлогоднего сена. Вылезали из них люди — оборванные босяки. Торопились выпросить у новеньких хлеба, соли, картошки, спичек. Это тоже были кулаки, уже обжившиеся на новом месте.

И Русаковых стали обживаться. Хотели выкупать землянку — был опыт. Оказалось — нельзя, близко к поверхности стояла вода. Построили шалаш, и отец стал ходить на работы: кто не работал, тот не получал пайка.

Кое-как прожили лето. Никто не знал, что будет дальше, когда опадут листья с пожелтевших берез на склонах низины.

Наступала осень, пошли дожди — первыми стали умирать дети. Понесся над низиной бабий вой и стих, когда смерть стала заглядывать во все шалаши, — не хватало слез. Сперва умерших выносили за проволочную ограду, хоронили на сухом месте под березами.

После стали закапывать прямо у шалашей в гнилую водянистую землю.

В семье Русаковых было то же. К концу осени, как начались заморозки и полетели белые мухи, их осталось двое. Отец и сын. Умерли две сестренки, младший братишка, мать.

Однажды в сырой вечер отец пришел с работы совсем разбитый. Шуршал по травянистой крыше холодный дождь, дышал ветер через занавешенный мешковиной вход. Редко капало где-то у задней стенки. Отец отклонил в сторону мешковину, залез в шалаш, лег на подстилку. Сынишка сидел в сторонке у входа, боясь пошевелиться. Он чуял: к их шалашу снова подбирается смерть.

Отец сделал все, чтобы спасти семью. Он выполнял по две нормы на стройке, стал профессиональным каменщиком. Подушечки его сильных крестьянских пальцев были стерты до крови. Он брался за любую сверхурочную работу, чтобы принести в свой шалаш дополнительную буханку хлеба; не смог спасти, не хватило силы. Колючая проволока душила за горло.

Отец лежал долго, наконец приподнялся и сел. Лицо у него было бледным, как у покойника. Он перекрестился несколько раз, с усилием поднимая ко лбу руку. На коленях он несколько минут искал что-то в изголовье. Потом сел поближе к выходу, натянув на плечи вязаную материну кофту.

Мальчик смотрел во все глаза. Редко ему приходилось видеть отца за таким занятием: отец писал. Коротеньким карандашиком на сером листочке шириной в ладонь, на доньшке обливной чашки. Он забавно шевелил перед губами кончиком языка, бормотал какие-то слова. Время тянулось.

Отец свернул листочек наподобье того, как сворачивают порошки с лекарством, он что-то еще надписал сверху. Смеркалось, дождь пошел сильнее, чаще закапало в шалаше.

— Подсядь ко мне.

Мальчик послушно подсел.

— Прочитай, что здесь написано.

Мальчик прочитал вслух: улица, дом номер, фамилия, имя, «в собственные руки».

— Повтори и запомни. Теперь слушай внимательно, что скажу. Как стемнеет, пойдешь по адресу. Пролезешь под проволокой, ты маленький, не увидят. Пишу здесь к благодетелям и сострадалям нашим, спаси их Господи, — он перекрестился. — Останешься у них, сюда не возвращайся.

— Не хочу, тятя! — отказался сынишка, почувяв разлуку. — Я с тобой.

— Молчать! Делай, что велют.

Мальчик испуганно замолчал, слезы покатались из глаз. И отец молчал. Глядел, не двигаясь, в сырую полутьму, через проем входа. Так они сидели полчаса, а может быть, и дольше, как бы невзначай прижавшись друг к другу, два родных человека.

Скоро совсем стемнело.

— Вылезай первый и осмотрись кругом, на вот, сунь в карман. — Это был кусочек хлеба. — Вот одень. — Отец стянул с себя кофту.

— Тятя, тятя...

— Не ной, пошел давай.

Они вылезли из шалаша под тяжелый дождь. Ничего не слышно кругом, только шорох капель. Шли среди шалашей, как по кладбищу, в поселке у разъезда лаяли собаки.

— Ложись теперь на землю, — шепнул отец.

Мальчик послушно лег и почувствовал, как сырость сразу проникла к коленкам и локтям. Отец тоже прилег. Рядом они поползли медленно к проволочному забору. Скоро стал виден ряд кольев, уходящих в темноту.

— Видишь столбик, тот, кривой, — шептал отец на ухо сыну, — к нему ползешь: там проволока высоко от земли, я смотрел. Проскользнешь, никто не увидит. Не бойся, давай ползи, за колючки не зацепись, с Богом. — Неловко отец перекрестил сына, шлепнул по худой заднице. — Давай.

Вдруг сильные отцовские пальцы требовательно, до боли, сжали плечо сына, воспаленные губы прижались вплотную к уху, зашептали горячо:

— Не вздумай приползти назад. Не смей, понял? Чтобы я тебя здесь больше не видел. Вернешься — убью.

Столько ледяной обреченности было в последнем, обжигающем ухе, напутствии — мальчик почувял: возвращаться нельзя — убьет.

— Ползи, за проволоку не зацепись.

По-ужиному ловко мальчуган пролез под проволокой. Он и не думал, что это так легко можно сделать. Уже далеко от ограждения он встал на ноги, смотрел назад, сгоняя ладонью струйки дождя, стекавшие на лоб, с непокрытой головы. Знал: там, за забором, следят за ним глаза отца. Мальчик махнул на прощанье в сырую мглу низины. Стал уходить прочь на огоньки поселка, не смея плакать.

Больше они никогда не встретились.

---

...Половину избы, в которой раньше жил мой дед, сломали. Бревна увезли на дрова в колхозную контору. Это так увлекало меня — смотреть, как от нашего пятистенка под круглой крышей, с теплыми сенями, остается только половина без сеней. Если отбежать подальше, можно прямо с улицы заглянуть в сумрачную утробу чердака, через широкий разлом крыши. И станут видны березовые веники, развешанные попарно на шесте. Со звонким стуком падали вниз бревна аршинной толщины, раскатывались тяжело.

Ночами тетка выходила во двор и потихоньку таскала в конюшню доски и косяки. Складывала их там в длинную кучу. Я каждое утро забегал посмотреть — куча в конюшне все росла. Мужики-рабочие тоже заходили посмотреть.

В те же дни, как отпиливали половину избы, постановили отрезать половину покотины и часть огорода. Межевые столбики не поставили: земля еще не оттаяла, поленились долбить ямки. «До конюшни и вон туда к черемухам — твоя земля, дальше вся колхозная, — показали руками, — конюшня тоже кол-



хозная, сломаем и увезем. Сад вырубим — он тоже не твой. Тропку к речке не топтать — косить тут будем».

Грозные предупреждения не исполнились. Столбики не вкопали, конюшню не сломали, председатель сельсовета куда-то исчез. Тетка распорядилась по-своему: продала конюшню в строящуюся МТС, сама выкосила поскотину, сено отдала соседке, которая подкармливала нас молоком, капусту мы, как всегда, посадили у речки на дальних грядках. О налете идейных проводников деревенской коллективизации напоминала только искалеченная изба. Она открывалась теперь прямо во двор в сторону улицы.

Вскоре расцвела черемуха, меня увезли в город. Тетка осталась одна в полуизбе.

Года два я жил с матерью на высоком берегу над широкой Камой. Научился издали угадывать все белые большие пароходы и даже многие желтые буксиры.

Тетка изредка приходила к нам, останавливалась на два-три дня в нашей комнатухе. Однажды она принесла в котомке швейную машинку. Вечером разговаривала с матерью: «Жалко машинку терять — зингерская, но есть что-то надо». Я с сомнением прислушивался к их разговору, не находя ничего общего между едой и этой изогнутой железной штуковиной, которая так мягко стрекочет, если крутишь блестящее колесо.

Тетка через несколько дней собралась уходить в деревню, в ее котомке лежало полпуда ржаной чвкки в белой наволочке и полдюжины буханок пахучего хлеба с поджаристой корочкой. Даже мне удалось выстоять длинную очередь в магазин за одной теплой буханкой.

Тетка нисколько не переменялась, когда я снова появился у нее. Такая же хлопотливая, в вечном своем белом фартуке, вся в делах. Так же сноровисто двигались руки с бугристыми жилами па тыльных сторонах ладоней. И все осталось по-прежнему — зеркало в простенке, и можно было показывать самому себе язык, самовар, гордость дома, на залавке. За время, пока меня не было, тетка пристроила маленькие сенцы из старых досок. «Сама, своими руками», — сказала она мне с гордостью.

Она обрадовалась моему приезду. С утра напекла пирогов с яйцами и луком — моих любимых. Сели пить чай в переднем углу.

Вдруг заскрипела дверь, я посмотрел к порогу. В избу зашел заросший мужичишко в рваном полушубке, как будто пришел из зимы, в то время как за окнами цвели черемухи.

— Здравствуй, Васильевна.

— Здравствуй, зачем пожаловал?

— Да иду и слышу, из твоей избы уж больно сладко пахнет. Зайду, думаю, поздравлю с праздником.

Мужичок неуверенно топтался у порога и продолжал свои объяснения:

— Думаю, может, Васильевна пирожком угостит ради светлого дня.

Тетка промолчала в ответ, мужик не уходил, выжидательно поглядывал на нас от порога.

— Часто повадился, — возразила тетка, — с праздниками поздравлять — набожный стал. Праздник наш, а не ваш.

Я поглядывал на них на обоих и ждал, что будет дальше.

— Да я не нехристь, Васильевна.

— Ладно, снимай свое дырьё, проходи к столу.

Мужик суетно стянул с себя полушубок, бросил его на лавку у дверей, пошел робко к столу в грязной холщовой рубахе.

— Руки вымой. — Тетка дала ему полотенце.

Мужик сидел за столом, совал пироги в рот, я на него любопытно поглядывал. Он и тетка о чем-то разговаривали, постороннем для меня. О Боге, о колхозе; мужик говорил так складно, что заслушаешься. Скоро он исчез, надев свой полушубок.

— Юраша, узнал ты его?

— Не узнал, тетя Настя.

— Описывал нас, помнишь?

Я вспомнил тот зимний вечер. Холод из распахнутой двери. Мужиков, угаскивающих наши пожитки, их топот. Теткины сжатые губы, слезы, катившиеся по впалым щекам, и мои слезы. Я не вспомнил мужичишку в лицо, но сказал согласно:

— Помню, в новом полушубке с коричневым ремнем.

— Он, — подтвердила тетка, — вот до чего добился, побирается, по баням спит. В людских слезах тонет.

Она всхлипнула и встала из-за стола. Я подошел ей под руку, участливо прижался к тугому крестьянскому телу. Мы долго стояли у окошка, смотрели, как облетает цвет черемух, — она и я у нее под рукой, самые-самые родные на свете. Черные, с отливом на перьях, скворцы разыскивали корм под нашими окошками.

Прошло несколько дней после Радуницы. Вечером тетка позвала меня в огород:

— Корзину возьми.

Солнце уж село. На дворе собралась теплая тишина, деревня отдыхала после длинного дня. Тянулись из труб сизые дымки — в избах готовили ужин.

Мы с теткой вышли на то место, где раньше стояла конюшня, тетка отбросила в сторону небольшой дикий камень, стала копать. Я смотрел по сторонам — нет ли кого поблизости — и не понимал, что делаем.

Земля была податливая, яма быстро углублялась. Я наблюдал, как легко лопата входит в перегной, услышал, как штык ударился во что-то гулкое. Тетка скоро раскидывала землю, потом нагнулась, что-то хотела сорвать на себя. Я заглянул в яму. С ржавым треском открылась крышка — это был сундучок, доверху наполненный посудой: фаянсовые кружки, тарелки, фарфоровые чашки, чайники, блюда ярко белели с золотистыми каемками и разноцветными цветочками. Сбоку в сундучке матово поблескивали столовые ложки. Я нагнулся и потрогал рукой все это светлое чудо. Тетка стала вынимать посуду по одной.

— Складывай осторожно в корзину, не разбей. Все, что осталось, — сколько лет сохраняла.

Я старался изо всех сил, укладывал все по теткинским указаниям. Видел, как со дна сундучка тетка взяла тряпицу, туго стянутую в узелок, нетерпеливо развернула на ладони. В тряпице лежали три маленькие желтые монетки. Мне пришлось в голову сказать, как только мы принесли посуду в дом и начали расставлять по полкам и в залавке:

— Тетя Настя, а вдруг придут и опишут?

— Не опишут, ихнее время прошло, — ответила тетка уверенно.

В далеком далеке тот тихий весенний вечер. Десятки лет прошли по заросшим проселкам среди унылых залежей. Из большой, богатой превратилась в нищую и убогую наша деревня. Я вырос, привлёкся в свидетели новых избивенный крестьян: не кулаков, не середняков, а просто «несознательных колхозников», видел сиротство во вдовьих деревнях и показательные сессии народных судов против сельчан-расхитителей.

Тяжелым эшелонам под откос прогрохотала война. На полный ход работает мельница трудовых исправительных лагерей. Коммунизм захватил половину мира. Одинокий и бездомный старик, я залег, как раненый зверь в лесу. Со слезами благодарности повторяю слова простой русской бабы: «Ихнее время прошло».

\* \* \*

Идут на север срока огромные.

Кого ни спросишь — у всех Указ...

*Из лагерной песни*

В начале лета 1947 года произошло бедствие, по разрушительности не уступающее Великой коллективизации. Президиум Верховного Совета Союза Со-

ветских Социалистических Республик издал Указ об ужесточении наказаний за хищение общественного и государственного имущества.

Меня посадили 10 ноября. Приехали из Бюка милиционеры на полторке, пришли к нам в комнату вместе с участковым дядей Федей.

— Собирайся.

Долго ли собираться совхозному воспитаннику: телогрейку на плечи и залез в кузов.

По всей стране во всю мощь действовал Указ Президиума. В каждую республику, область, район были спущены планы поставки заключенных в лагерные зоны. Руководители, перевыполнявшие планы поставки, получали крупные премии и ценные подарки. ГУЛАГ спешно строил новые зоны, расширял уже действующие.

Хватали всех подряд в колхозах, совхозах, подхозах, леспромхозах. В районных КПЗ полно арестованных, некуда сажать. Прокуратура оставляла на свободе многих подследственных, попавших по Указу, они работали вместе со всеми, пока не подошла их очередь на суд. Срок пять, семь, десять лет. Обобществленных крестьян, ни разу не получивших ни зернышка на свои трудодни все военные и послевоенные годы, сажали за карман зерна, за охапку скошенной травы. В народе это называлось «срок за колосок».

Отчаявшиеся прокормить себя сельчане безропотно шли в лагерь. Детей власти отправляли в детдома или в бессрочные трудовоспитательные колонии, имущество конфисковывалось.

Указ от 4.06.47 года — самое крупное после раскулачивания мероприятие большевиков с целью толкнуть российское крестьянство на путь социалистического развития. Миллионы колхозников и рабочих совхозов Белоруссии, Украины, Великороссии были загнаны в колючую ограду концлагерей.

Мужики, не замерзшие в окопах, не задохнувшиеся в окружениях, отпраздновавшие великую победу над гитлеровским национал-социализмом, ехали в зоны в товарных составах с заколоченными окошками и запертыми дверьми. Под охраной автоматчиков. Ехали бабы, в скорбном одиночестве всю войну выкармливавшие своих рахитичных детей. Подростки, видевшие отцов только на снимке, обведенном черной каемочкой.

Все, что было у этих деревенских людей, они отдали в военные годы, с патриотической страстью желая, чтобы из двух цепных псов, вцепившихся в горло друг друга, победил тот, что советский. Теперь настала пора искоренять патриотизм в деревне, и ГУЛАГ разбирал крестьян по своим великим стройкам. Пятьсот первая, пятьсот вторая, пятьсот третья, пятьсот четвертая, пятьсот пятая, пятьсот шестая... Снова советские пропагандисты начали удивлять весь мир трудовыми подвигами советских людей.

Мой приятель сидел тогда в Салехарде. Работал на прокладке железной дороги от Воркуты к Енисею.

По замыслу великих Сталинских Пятилеток эта дорога должна была пролечь по всему Заполярью до Чукотки, успели ее проложить до Ермакова. Смерть Сталина помешала осуществить грандиозный научно-технический проект. Работы прекратились по приказу Никиты Сергеевича Хрущева сразу после объявления амнистии узникам Указа. Сейчас от дороги не осталось и ржавого костыля: все полотно утонуло в трясине вечной мерзлоты вместе с ворохами человеческих костей.

Мой приятель рассказывал, что в их зоне за зиму сменилось три состава заключенных. Дизентерия и цинга косили людей в серых бушлатах. У лагерной опературы этот способ считался самым надежным, чтобы освободить зону для нового этапа: с доходягами не выполнишь план прокладки, а план требовал центр.

Делалось это просто. Несколько дней работяги не получали хлебных пай-

ков. Хлеб наконец привозили под вечер, за все прошедшие дни, весь покрытый плесенью. Обессиленные люди съедали его, а утром выстраивались в очередь к дальняку. Пока больные могли ходить, их выгоняли на работу. Потом доходяг запирали в барак для умирающих — оттуда выход в тундру, трупы сваливали в раскопах.

Так было на всех командировках и вблизи Салехарда, и на самых отдаленных. Как в черные годы войны — чем больше командир угробит своих солдат, тем больше пополнения получит. «Прямая выгода» — как сказал бы Чарлз Пирс\*: этому великому мыслителю надо поставить памятники на Воркуте, на Колыме, в Норильске, на Беломорканале, в Соловках и Темниках... Много памятников надо поставить ему, не меньше, чем Владимиру Ильичу Ленину. З/к\*\* рассказывают, как советские руководители продавали рабсилу в Монгольскую Народную Республику. Железнодорожный состав с производственниками останавливается недалеко от Улан-Батора. Под окрики конвоиров и лай сторожевых овчарок лагерников перегоняют из вагонов в загон<sup>†</sup> для скота. Из загон монголы гонят скот по счету: одна голова крупного рогатого скота за одну голову указника.

О железной дороге Ухта — Воркута говорят: там под каждой шпалой человек лежит. На дороге от Воркуты к Енисею под каждой шпалой в обнимку лежат двое заключенных.

В судорогах дьявольских перевоплощений десятки лет корчится ошельмованная страна.

Двадцатому партсъезду была роздана книга о преступлениях Иосифа Виссарионовича Сталина, Лазаря Моисеевича Кагановича и прочих единомышленников, открытое письмо ЦК, «красная книга», где ни слова не сказано о погубленном российском крестьянстве.

Мой приятель остался жить. Цинга уже валила с ног, уходили из тела последние силы, и его посадили в карцер за невыполнение нормы выработки.

Карцер — это конец. Немногим карцерщикам удавалось подняться в зону. У какого доходяги найдутся силы на «трудовой подвиг», какой бригадир запишет ему сто процентов — полуиздохшему: чтобы вернуть гарантийку, надо неделю работать на пониженном пайке на сто один процент, а в бригаде есть бригадир и его помощник, которым мужики обязаны зарабатывать сто процентов, а еще шестерки. Нету силы подняться из карцера.

Стоял мороз в тесной камерке, струился из заледенелого окошка. Насупилась над тундрой вьюжная заполярная ночь. Чтобы не замерзнуть, мой приятель ходил из последних сил — два шага к двери, поворот, два шага к окошку, поворот.

«Что сделать? Как выжить? — Сознание леденила безысходность. — Мастырка не поможет: мастырки не катят в заполярных зонах».

Пришла смена надзора. Мой приятель услышал голос знакомого з/к-самоохранника. Вместе вкальвали в раскопе, потом тот свинтил в охрану. Если приложить ухо к волчку, хорошо слышно, как самоохранник растапливает печку в надзорке.

— Костяка. — Мой приятель осторожно постучал в дверь камеры носком чуны из автомобильной покрышки. — Костяка.

— Чего надо, говори. — Самоохранник подошел к камерной двери.

— Костя, здорово...

— Ну, привет, еще что?

— Костя, выпусти погреться, замерзаю.

— Не положено.

Самоохранник пошел от двери. Стало слышно, как он подкидывает уголь в печь.

— Костя! Костя, подойди!

\* Чарлз Пирс Сандерс (1839—1914) — американский философ, логик и математик, один из основателей идеалистической концепции прагматизма.

\*\* Заключенный каналармеец.

— Ну чего пристал, сказано тебе... — Глаз самоохранника появился в волчке.

— Костя, мы же с тобой тачки гоняли в карьере.

— Ну и что?

— Выпусти погреться, совсем замерзаю я.

Самоохранник ничего не ответил, ушел в надзорку. Слышно было, как он вышел наружу. Через минуту вернулся к карцеру, звякнув ведром, сказал тихо:

— Подожди, пересменка пройдет — выпущу. Попозже.

Шли томительные минуты. Карцерник весь напрягся в ожидании, звенело в ушах, кружилась голова. «Выпустит или не выпустит?»

В коридоре послышались шаги, позванивание ключей. Загremели засовы на двери.

— Выходи погрейся, пока Шкуры нет. Недолго только.

В надзорке стояла теплынь, плита печки раскалилась докрасна. Мой приятель встал к плите, расстегнул ватник — по всему телу пошла неудержимая дрожь.

— За что опустили? — спросил самоохранник.

— За невыработку.

— Все еще в карьере вкальиваешь?

— Там. Лом да кайло.

— Знаю, работенка для ударников.

Мой приятель вытянул над плитой окоченевшие руки. Вдруг сильно постучали у калитки.

Самоохранник засуетился:

— Пошел скорей в камеру, Шкура идет.

Понадобилось всего лишь мгновение, чтобы пересилить инстинкт. В следующую секунду карцерник с силой качнулся на плиту, упер ладони в раскаленное железо. В нос ударил запах горелого мяса.

— Чего делаешь, чего делаешь?! — Самоохранник оттолкнул от плиты своего бывшего напарника. — Членовредительство. Ты знаешь, что мне за тебя будет? В кондее загнись. — Он еще кричал что-то, перебирал ключи торопливыми пальцами.

От нестерпимой боли в мозгах помутилось, перед глазами вспыхнуло яркое зарево. Мой приятель стоял перед самоохранником покачиваясь, растопырив руки. Прохрипел горлом:

— Скажи надзирателю, что ты послал меня за снегом для воды, когда ставил ведро на плиту — потерял сознание.

— А кто поверит?

— Не знаю.

Лепило\* бегло осмотрел сожженные ладони. Долго глядел в глаза з/к, стоящего перед ним. Мой приятель выдержал взгляд. Если сейчас с языка врача сорвется страшное слово — тогда гибель.

Лепило в раздумье взял ручку, обмакнул перо, стал что-то быстро писать на клочке бумажки. Тяжело и неровно забилося сердце от неприступной надежды. Неужели повезло?

— Когда уходит дрезина в Лабытлангу? — спросил лепило у самоохранника.

— Через час пойдет.

— Отправить этого в стационар.

Целый месяц мой приятель пробыл в лагерной больничке, бездумно глядел в закопченный потолок. Ожог третьей степени. Из больнички он попал на легкие работы.

Он показывал мне свои руки — навсегда остались на ладонях фиолетовые рубцы, на всю жизнь. Если бы лепило произнес роковое слово — «членовреди-

\* Врач (лаг.).

тельство», — мой приятель, раздетый догола, замерз бы, еще до подъема, в железной клетке для отказчиков у вахты.

\* \* \*

**ПРОТИВ МУЖИКА. КАК ЭТО БЫЛО.** Советская социалистическая общность разделена на три неравные части, неравные во всех отношениях: «рабочий класс», «колхозное крестьянство», «советская интеллигенция». Колхозники — самая обездоленная составная часть советского народа.

Это люди, не сумевшие спрятаться в город от коммуны, от продразверстки и чоновских рейдов. От раскулачиваний и коллективизаций. Они страдали от укрупнений и разукрупнений, от ссылок, выселений и переселений, «твердых заданий», от поставок, закупок и продналогов, плановых, неплановых, сверхплановых. Им платили за работу «палочки-трудодни» и запрещали держать скотину на своих подсобных участках, их сажали в лагерь за хищение общественной собственности. Их превращали в сельскохозяйственных рабочих с изъятием в пользу государства всех «неделимых фондов». У них отбирали машины для МТС, а потом заставляли покупать машины, когда машинно-тракторные станции преобразовывались в «Сельхозтехнику», и снова отбирали машины для «Сельхозтехники»...

«Рабочий класс», тем гордый, что сумел перенести все притеснения капиталистов-эксплуататоров, содрогнулся бы до основания при одном перечислении бед, перенесенных советским крестьянством.

Перетасовка крестьян началась с октября семнадцатого года и продолжается до сих пор. Сельчан, тех, что хотят уехать в город, насильно удерживают в деревне, а если колхозник завел свое личное хозяйство, его подведут под вербовку, под лимит или посадят в ИТУ. Не уйдешь из колхоза по своему желанию, то же и из совхоза. Множество местных начальников решают, можно ли крестьянину дать переехать на другое местожительство: председатель колхоза, председатель сельсовета, парторг, райком комсомола, милиция, райисполком, райком партии.

Перевод российской деревни на «путь социалистического развития» опустошил деревни центра, особенно пострадали подмосковные области. Обессилела корневая Русь, разбралась по трудовым исправительным лагерям, разбежалась по комсомольским стройкам. Не возвращаются в село отслужившие в армии, отбывшие лагерный срок; девки-лимитчицы стараются выйти замуж в городе, крестьянских парней улавливают горожанки.

В почерневших избушках нищенски доживают свой век старики да старухи. Те колхозники, что раньше назывались незаможниками. Впроголодь кормят хлебородную страну. Город шлет им в помощь студентов, школьников, домохозяек, служащих. Город помогает селу убирать хлеб, копать картошку, ухаживать за скотом. Эта подсобная мера распространилась на всю Европейскую Россию, Белоруссию и Сибирь. Известно, что горожане не хотят и не умеют работать на земле, — треть урожая остается в полях, убранных городскими помощниками.

Руководители бдительно сохраняют свою приверженность марксистско-ленинским проектам преобразования деревни. Они рады закупать продовольствие на Западе, только бы не дать своим крестьянам укорениться.

Многие забавные способы помощи беспомощному сельскому работнику изобретены в Советском Союзе. Деревенских механизаторов южных областей, как только они заканчивают страду у себя дома, направляют с командировочными удостоверениями убирать урожай в северных и восточных областях страны. Вместе с механизаторами едут их комбайны, тракторы, грузовики. Операция представляется как переброска механизированных дивизий с одного фронта на другой. Выделяются железнодорожные составы, горючее, запчасти и прочие средства обеспечения. Такое «мероприятие» возможно только в коллективизированном государстве. С размахом используются на сельхозработах и кадровые воинские части. На советском казарменном жаргоне страда называется «битва за хлеб».

Штурмовщина не понадобилась бы, позволь советскому крестьянину самостоятельно хозяйствовать или хоть повышать свои заработки. Мужику ведь немного надо: сотой доли того, что вкладывают власти в соцстроительство в деревне и разворовывают, хватило бы. Не ютились бы деревенские производственники в лачужках, не зарастали бы лебедой да полынью хлебородные залежи.

Не дают вздохнуть крестьянину. Даже огороды обрезали у них чуть ли не по углы изб. Пенсионеры получают по пятнадцать-двадцать рублей, как вечные з/к, всю жизнь проработавшие в лагере.

Еще любопытное явление наблюдается в глубинке в последние годы. В школах введены уроки ОПТ (общественно полезный труд). Сельских мальчишек и девочек хотят заставить работать не только в каникулы, но и круглый год. Каждому классу выделяется один теленок или поросенок из колхоза или совхоза. Возле школы строится телятник или свинарник, классы ухаживают за животными, школа получает по сто рублей в месяц за каждого животного. Деньги распределяются между учениками и учителями.

В том же хозяйстве, откуда школе выделен молодец на откорм, одна телятница обрабатывает пятьдесят телят и получает в месяц семьдесят рублей. Охотно она согласилась бы взять к себе на откорм тех трех-четырех школьных телят да еще десяток дополнительных, если бы к ее зарплате прибавили сто рублей.

Нельзя.

Идеологам выгодней бить по рукам работающих крестьян, чем возбуждать в них частнособственнические инстинкты, глубоко засевшие в сознании мужика еще со времен мрачного крепостного права, когда он пять дней в неделю вкалывал на своем поле с утра до ночи, желая набить плодами своего труда амбар, погреб, подклеть, подполье, чуланы, гумно, сеновалы, конюшни и коровники. После чего, вытирая пот со лба, он шел работать на барина и один день в неделю лениво помахивал косой на помещичьем поле. Советская власть этого не допустит. Ее крестьянин пойдет к коммунизму в одних рядах со всеми остальными неимущими советскими людьми.

В годы правления Никиты Сергеевича Хрущева прошла кампания по ускоренному преобразованию колхозного крестьянства в рабочий класс.

На целине партруководство одним росчерком самописки уничтожало колхозников вместе с деревнями, навечно дарованными угожьями, хозяйственными постройками и прочим обобществленным колхозным имуществом. Как по волшебству на месте колхозных деревень появлялись поселки целинных совхозов. Вчера красовалась вывеска: «Правление колхоза «Заря Востока», старательно разукрашенная заезжим живописцем-шабашником. Утром на той же доске, наспех замазанной известкой, корявая надпись чернилами: «Совхоз «Александровский» имени Абая».

Центр не мог надивиться хозяйственному рвению казахстанских руководителей, бешеным темпам целинного строительства. Крестьянам-колхозникам было все равно, в кого их еще превратят. Их называли рабочими целинных совхозов.

Целинная афера обогатила руководство Казахстана, во главе с Леонидом Ильичом Брежневым. Неизвестно, как отнесся рабочий класс к неожиданному пополнению своих рядов.

Крестьян и тут ущемляли. Всех, произведенных в высокое звание, заставили написать заявление: «Прошу принять меня на работу в совхоз» — подпись и пометка: год, месяц, число. Когда влитым в рабочий класс крестьянам пришло время выходить на пенсию, им исчислили стаж работы со дня вступления в совхоз и обеспечили пенсией по двадцать рублей.

В Калужской области ежегодно проводятся кампании по заготовке кормов для общественного животноводства. Все население привлекается к заготовитель-

ным работам — в основном дети и инвалиды. Они вооружаются обломками кос и тесаками, отсекают ветки у деревьев и кустарников, связывают их в веники, сносят в кучи, свозят к коровникам. «Веточный корм».

Крестьяне в это время потихоньку ездят в Москву с дарами леса и личного подсобного хозяйства: с белыми яйцами, красными ягодами, с редиской и грибами. Домой они везут колбасу, сыр, муку, сахар, дрожжи.

Несколько недель вся область находится в возбужденном состоянии. Ежедневно в областной газете печатаются сводки об успешном продвижении кормозаготовительных работ. Как с театра военных действий.

Под конец кампании газета печатает итоговую сводку, и каждый калужанин со вздохом облегчения убеждается, что беда, нависшая градовым зарядом над областным животноводческим хозяйством, миновала: кормов заготовлено на полтора с лишним года. Он видит некошеные луга с полеглыми травами, уходящие под снег, раскрытые силосные траншеи, залитые осенними дождями, но его это уже не волнует.

Для частных нужд запрещается косить на коллективных землях. Косят на укромных полянках в лесу, по логам и обочинам проселков колхозники и совхозники для своих личных коров тайком, по утрам и в вечерние сумерки. Тайком сушат и сгребают. Тайком свозят в свои дворы на ручных тележках. Незаметно встают у крестьянских домов крутобокие душистые стога превосходного сена.

В начале января областная газета начинает давать на своих страницах серии пламенных призывов, основной смысл которых: «Даешь корма для совхозно-колхозного животноводства!» Школьники и пенсионеры мобилизуются на заготовку «веточного корма» и умудряются обрубить у елей сучья так, что лишь верхушки зеленеют. После этого начинается падеж обобщественного скота, все сено из колхозных дворов изымается и свозится к животноводческим колхозно-совхозным объектам. Никто не знает, куда девался полуторагодовой запас кормов для коллективизированного животноводства.

Калужская область — подмосковная, картофельная. Крестьяне берут на своих подсобных участках хорошие урожаи, ясно, что они пытаются продать свою картошку на московских рынках. Когда начинается копка, партийные руководители области приказывают поставить заградительные заставы на всех дорогах. Частника, что пытается вывезти картошку за предел области на попутном транспорте — грузовиках, тракторных прицепах, автобусах, — останавливают народные контролеры и заставляют разгружаться в бурт у дороги. Рассчитывают «нарушителей» по пятнадцать копеек за килограмм. У водителей отбирают права.

В Москве калужские крестьяне продали бы свою картошку по тридцать-сорок копеек. Область сдает отобранную картошку государству в счет плановых и сверхплановых поставок.

Самые вкусные, сочные, самые крупные, красивые и душистые. Так высоко оцениваются яблоки, выращенные в областях юга центра России: в Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской. К осени в этих областях скапливается великое множество симпатичного краснобокого товара. Всеми любимые плоды — все их охотно поедают. Яблоки гниют на земле под яблонями, их скармливают свиньям. В это время в Москве яблоки стоят рубль пятьдесят за килограмм, а на севере они на вес золота.

От Белгорода до Тулы проходит скоростная автомобильная дорога союзного значения Симферополь — Москва, от Белгорода до Тулы тысячи советских крестьян осаждают скоростную автомобильную дорогу. У каждого в руке палочка с яблоком, нанизанным на заостренный конец, крупное, привлекательное яблоко.

Люди поднимают яблоки над головой всякий раз, как мимо проносится машина, что значит: «Остановитесь, возьмите нас, мы хотим отвезти наши яблоки на продажу, мы заплатим вам. Остановитесь». В лесозащитных полосах вдоль дороги сложены горы мешков с яблоками, чуть прикрытые ветками от глаз начальства. Это их владельцы «голосуют» у дороги с палочками в руках.



С ревом, не замедляя хода, проносятся мимо мощные ЗИЛы и «КамАЗы», обдавая обочину черной гарью. Пустые, часто недогруженные грузовики — водителям строго запрещено брать «частника» с товаром. Стоят понуро владельцы целительных плодов с поднятыми над головой палочками. Вянут в стороне яблоки, прикрытые ветками.

Редкие водители-смельчаки соблазняются левым заработком по пять рублей за мешок. Остановившийся грузовик после недолгих споров — чья очередь — быстро нагружается общими силами. Счастливый владелец товара торопливо ощупывает в кармане паспорт со справками. От руководства хозяйства — в том, что гражданин отпущен с работы. От председателя сельсовета — в том, что яблоки — личная собственность гражданина с его подсобного участка, прочие документы, подтверждающие социальное положение, род занятий, постоянное местожительство, права и обязанности. Потом владелец товара залезает в нагретую солнцем кабину на мягкое сиденье и машет рукой провожающим так, будто уезжает на Новую Гвинею к людоедам и мало шансов вернуться назад.

Теперь счастливицу придется платить откупные всем гаишникам на постах, а также подвижным патрулям по дороге до самой Москвы. То же самое будет делать и водитель грузовика — откупаться, иначе у него отберут права.

1988

---

---

## Илья ФАЛИКОВ

### ИЗ КНИГИ «ВОЗДУХ»

\* \* \*

На смерть старики собирали.  
— На что эти деньги? — На смерть.  
Теперь на базаре-вокзале  
и савана не присмотреть.

Теперь не любая из бабок  
оплатит визит в туалет.  
Теперь и студенту без бабок —  
ни книг, ни любви, ни котлет.

Иньсульт не грозит молодому,  
тюрьма и сума — навсегда.  
А выйдет старуха из дому —  
в пыли пропадет без следа.

И юную стаю Эринний  
не вихорь возмездья увлек —  
стоит, как нога на витрине,  
набитый деньгами чулок.

Шалее в предбаннике рынка  
торгово-закупочный сюр.  
Старушечья пыльная кринка  
полна иллюзорных купюр.

Фирмовые тряпки скупая,  
гудит по трактирам богач.  
Так жадничай, бабка скупая,  
монету беспамятно прячь!

#### КРОССВОРД

Повадка разболтана, почерк нетверд,  
елозит и крутится рядом —  
вихрастый оболтус решает кроссворд  
под грозным отеческим взглядом.

По Волге летят скоростные суда,  
и тучка находит на птичку.  
А в майском саду отыграл навсегда  
мальчишка припадочный в тычку.

Взрывная волна начинается там  
и прямо валит, а не мимо —

увечные храмы летят по бортам  
осколками Третьего Рима.

Разбросаны камни. Родная страна!  
Горит колокольное ухо,  
которое вырвано с волжского дна.  
Разруха, разруха, разруха.

Пацан не желает бросаться в слова.  
Кому это надо? — Кому-то.  
Забьется в падучей живая церква,  
не кончится русская смута.

На шею ребенка ужасно смотреть —  
адамово яблочко хрупко.  
Кипит в берегах колокольная медь.  
Работает радиорубка.

Идет мясорубка в далеком Оше.  
Машину колотит рыданье.  
И пахнет паленым в моем шалаше,  
где длится твое ожиданье.

А мне что осталось? Обиду топить,  
подсказывать неучу слово.  
И где-нибудь в Угличе глухо запить,  
оплакать царевича злого.

Но отрок наследует слово любви  
и дом на развалинах духа.  
За то и наказан — в огне, как в крови,  
горит неповинное ухо.

## ПЛАКУЧАЯ НОЧЬ

Влажным тенором плачет Карузо,  
баритоном рыдает лягушка.  
Если в спальню отправится Муза,  
у нее отсыреет подушка.

Слезно блещет хрустальная друза  
на хребте, никому не подружка.  
Море охает в час перегруза,  
безразмерная наша кормушка.

Слушай радио, помни о плаче,  
расплескавшемся пеной горячей  
в этих благословенных местах.

И ничей ты уже не любовник,  
и не страшен кровавый шиповник  
смуглым парочкам в черных кустах.

## ТРЕТИЙ ЗАЧАТЪЕВСКИЙ

*Переулочек, переул...  
Горло петелькой затянул.  
А. А. А.*

В переулке, воспетом недаром,  
при снегах, ослепительно свежих,  
прогуляться с товарищем старым  
и столице напомнить приезжих.

Прирожденные гости столицы  
на просторах страны в караулах,  
мы сумеем еще заблудиться  
в соснах трех — или в трех переулках.

Чистым сердцем, срифмованным с болью,  
не до жиру — доплакать бы живу.  
Наши бороды перцем и солью  
пересыпаны — к свежему пиву.

Пойло времени стало отвратно,  
на закуску — тоска и работа.  
Под осколком постройки надвратной  
светят нам золотые ворота.

Со вчерашних поминок по другу  
мы попали к другому поэту  
под высокую белую руку —  
мы помянем и женщину эту.

Неразъемны по происхожденью  
стих и смерть на ристалище оном.  
Перед белой остоженской тенью  
я застыл остолопом влюбленным.

Но дремучесть моя остолопя  
происходит из чистого поля,  
на которое белые хлопья  
с бороды твоей падают, что ли...

Над осколком постройки надвратной  
при тебе и при мне пролетали  
эти А, протрубив троекратно,—  
косяки лебединой печали.

## АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК

Сессия Верховного Совета  
с треском по транзистору идет.  
В Дом культуры видео до света  
прискакал смотреть оленивод.

Дом культуры выстроили зэки,  
он стоит под горкой, на виду.  
Я усну, а в следующем веке  
видео смотреть сюда приду.

Будущее? Лебедь белой яхты,  
ровный рокот розовой волны...  
В мертвых стенах женской гауптвахты  
бродят голоса былой войны.

На экране видеосистемы —  
от песка до звезд — запечатлен,  
сам себе возвел глухие стены  
голосистый женский батальон.

Отгремели грозы на Востоке,  
нет как нет годов сороковых,  
впережку чайки и сороки  
окликают павших и живых.

В каждом сердце язва или ранка,  
и на скалы выплеснут Восток —  
пламенеет нежная саранка,  
натуральный аленький цветок.

От него окреп Иван безногий,  
он себе тележку сделал сам,  
приросли окрестные дороги  
к широко шагающим рукам.

Варит Ваня сахарную брагу,  
предается ей и матерку,  
катит Ваня в женскую общагу  
за двенадцать верст по ветерку.

Катит он, в кого-нибудь влюбленный,  
бьется сердце тяжкое его,  
весит центнер воин усеченный,  
а с тележкой — более того.

А вокруг него трубят олени,  
свищут птицы, рыбы говорят,  
происходит смена поколений,  
пестует собак погранотряд.

И зияет звездная прореха,  
и любовь страшна, как смертный грех,  
и в тени маньчжурского ореха  
гул стоит — посыпался орех.

Дом культуры выстроили зэки,  
а птенцы родительской земли  
дискотеки и видеотеки  
с грабежом аптеки сопрягли.

По волнам эфира веют вести,  
и народы, распри позабыв,  
все стихи о доблести и чести  
нараспев сольют в один мотив.

И восславит жизнь Иван безногий,  
сей округи седовласый князь,  
сбросив с рук разбитые дороги,  
из общаги женской возвратясь.

\* \* \*

*Тройка мчится...*

Та жизнь, которая могла бы  
с тобой произойти,  
большие обрести масштабы,  
к вершине привести...

Той жизни нет — случилась эта.  
Сума твоя пуста.  
Так что случилось? Жизнь поэта.  
Пусть эта, а не та.

Посеяв голову, не плачет  
никто по волосам.  
А тройка мчится, тройка скачет —  
ты правишь ею сам.

Тут есть и вожжи, и построжки,  
и Бога не гневи —  
возведены твои постройки  
на собственной крови.

А кровь — она желает литься,  
кипеть, бурлить и течь.  
Сыра земля, родные лица,  
отеческая речь.

И что незримо? Что наглядно?  
И что произошло?  
Бесславно, глухо, безотрадно,  
прохладно и светло.

\* \* \*

Я непрошенный гость, я татарин.  
Потеряв по дороге арбу,  
я на рынке водой отоварен  
и бочонок тащу на горбу.

И тащу мои старые кости,  
не распарен, поскольку поджар.

Но восходят высокие гости  
на вершину Кучук-Енишар.

И когда голубая долина  
испарится в ночной небосвод,  
ходит в шорохе лоха Марина  
и вселенную Максом зовет.

\* \* \*

Есть при художниках порода  
тех легкомысленных существ,  
которых линия и жест  
спасут в любое время года.

Родители их неизвестны,  
болезни детские внутри,  
но греет их огонь чудесный,  
похоже, утренней зари.

К ним подходить не стоит близко,  
они обманут все равно,  
у них неясная прописка,  
и время их не учтено.

Бывают всяческие связи,  
и существует воля волн,  
и масса ваших безобразий  
на вас работает, как вол.

А те... Беспечность их — овечья,  
а лисья хитрость на ходу,  
ничем дурах не обеспечена,  
срабатывает раз в году.

Зато меж ними и холстами  
имеется такая связь,  
что можно имя ждать годами,  
ничьим рабом не становясь.

\* \* \*

Объединяются они,  
конец Европе дробной.  
А нас разносит в эти дни  
раздрай внутриутробный.

Они ликуют, нас любя  
в минуты роковые.  
А гибель мира — на себя  
опять берет Россия.

В дыханье этого огня,  
ввиду такого дела,  
и лира глохнет у меня,  
и муза онемела.

Не пули свищут у виска,  
мозги мои туманя,—  
о, бесконечная тоска  
взаимопониманья.

Внутриутробная вражда.  
Дерзну ее воспеть я?  
Горит кровавая звезда  
в венце тысячелетья.

\* \* \*

Обманчивы стихи мои с дороги,  
и призрачна сама она в итоге.  
Я — не о том, что показалось вам.  
Не надо верить писанным словам.

В паличии же — только мирозданье,  
где происходит долгое скитанье.  
Я тут бывал, и там бывал, и сям,  
и ветерок сквозит по волосам.

Я взял у вас взаймы в холодном мраке  
с отдачей — ваши символы и знаки.  
Я загремел в горячую струю  
удачи: одолжился — отдаю.

Заимодавец глух, его щедроты  
роскошны, не останусь без работы.  
Но с кем-то на глубинах бытия  
болтает Муза быстрая моя.





---

---

## ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

---

---

*Джон Голсуорси*

ДЖОСЛИН

Роман

ПЕРЕВЕЛ С АНГЛИЙСКОГО А. КУДРЯВИЦКИЙ

*В 1976 году в Англии произошло сенсационное событие: вышел в свет... н о- в ы й роман классика мировой литературы Джона Голсуорси. Называется он по имени главной героини — «Джослин» и хронологически является первым из принадлежащих перу писателя романов. Написан он в 1897 году, вскоре после выхода первой книги Голсуорси — сборника рассказов «Под четырьмя ветрами». В 1898 году роман вышел в свет, причем, как и в предыдущей книге, автор скрыл свое имя под псевдонимом — Джон Синджон. Напечатано было всего 750 экземпляров, ставших впоследствии библиографической редкостью. Тираж книги разошелся, рецензии на нее были положительными, однако переиздания не последовало. Более того, писатель обрек ее на забвение, запретив переиздавать в течение всей своей жизни. Поступил он так вовсе не потому, что книга была неудачна, — по мнению исследовательницы творчества Голсуорси Кэтрин Дюпре, многое в ней «можно по праву причислить к лучшим страницам его прозы». «Грех» романа был в другом — он слишком подробно воспроизводил историю взаимоотношений писателя и его будущей жены, Ады, несчастливой в браке с другим человеком. Эта жизненная ситуация, однако, представлена в книге как бы в зеркальном отражении: в неудачном браке состоит не героиня романа, а герой. На многих страницах с глубоким психологизмом описываются переживания охваченного глубоким чувством Жилья Легара, прототипом которого был сам писатель. Голсуорси, которого современники считали образцом английского джентльмена, не любил выставлять напоказ свои эмоции. Поэтому впоследствии, став всемирно известным писателем, к жизни которого критики да и широкая читающая публика присматриваются особенно пристально, Голсуорси и обрек свой роман на забвение.*

*Второе рождение «Джослин» состоялось в 1976 году, когда роман был издан уже под именем Джона Голсуорси. После 78-летнего перерыва книга прочно заняла принадлежащее ей по праву место среди других произведений писателя и в англоязычных странах с тех пор неоднократно переиздавалась.*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### Глава 1

Из полуоткрытой балконной двери вырывалась колеблемая сквозняком занавеска. Жилья Легар не сводил с нее глаз, точно это был край легкого, пузырящегося на ветру платья Джослин. Он сидел в кресле, закинув ногу за ногу, на залитой утренним светом каменной террасе, как на дне глубокого колодца, погру-

жившись в свои горячечные мысли, и эта воздушная, переливающаяся на солнце ткань занавески словно оведала его душу прохладой. Собственная тень его в эти минуты немного оцепенения казалась более подвижной, чем он сам. Когда тень переместилась за спинку плетеного кресла, в котором сидел Жиль, он очнулся, оторвал взгляд от занавески и устремил его вниз, на пересыхающую речку, скудные воды которой струились к далекому, безмятежному морю. Солнечный свет, который когда-то в ранней юности своими потоками пронзал все его существо, как крону могучего дерева, наполняя его силой, сейчас, казалось, словно слепой, на ощупь гладил его лицо, проникал в мысли. Неосознанная, чужь сглаженная воспитанием самоуверенность Жили заметно истаяла. Сейчас он был похож на тяжелобольного, занятого неотвязной думой о собственной болезни. Его лицо, будто вылепленное уверенной рукой, прежде выражало какую-то гордую, почти надменную силу, которую подтверждал прямой, пронизательный взгляд серых глаз и крепкий скорбно-насмешливый рот. Но за последнее время Жиль похудел, что придавало его чертам резкость выбитого на медали образа. Он сделался рассеян, нетерпелив, с трудом подавлял в себе раздражение при разговоре с ненужными, плоскими, точно из картона вырезанными людьми, которые прежде казались ему остроумными или, в крайнем случае, забавными. Мир для него теперь разделился на две половины — в одной, огромной, полной света, мелодий и ароматов лета, сквозила легкая фигура Джослин, в другой, погруженной в тень и тесноту, тягостной, как отданный из приличия визит, правило чувство долга. В одной жила душа, в другой маялось тело. В одной, как фонтан цветущей сирени, взметнулась жизнь, в другой она сворачивалась и цепенела. Жиль изменился, совсем изменился; он чувствовал, что его не столько врожденная, сколько выпестованная сдержанность отныне единственная преграда, отделяющая его от бездны, глубину которой он все время пытался измерить мыслью.

Жиль снова посмотрел на трепещущую занавеску. Парус, раздуваемый грезой. Встав с кресла, он решительно пересек террасу, чтобы прислониться к той половине мира, на стороне которой была сама действительность с ее мелочными заботами, устоявшимися предметами и привычными тенями. Затененный номер отеля «Милан», где лежала его больная жена, находился по соседству с комнатой Джослин. Несколько шагов отделяли одну от другой две жизни, две балконные двери. Как ни странно, сказал себе Жиль, как ни странно.

В затененном ширмой углу просторной комнаты полулежала в инвалидном кресле одетая в белое женщина; она с карандашом в руке рассеянно читала книгу, временами делая в ней пометки. Почувствовав взгляд Жили, она подняла глаза.

— А, Жиль! Сегодня я так долго не имела удовольствия тебя видеть, — насмешливо произнесла Ирма. — Но можешь не оставаться со мной, je n'suis pas bon сопрапоп<sup>1</sup>. К тому же мой любимый Толстой... Это очень увлекательное чтение.

Она сурово сжала губы, подавляя очередной приступ боли, и отвернулась. Через минуту с деланным оживлением вновь заговорила.

— Весело ли ты проводишь время сегодня, mon cher? Передай нашей юной приятельнице, что мне бы хотелось ее видеть.

— Хорошо, я скажу. — Жиль сделал движение, чтобы уйти.

— Только попозже, — заметив его нетерпеливый жест, почти закричала Ирма. — Я сейчас так страдаю! Передай ей, что я ее люблю.

Ее черные, ввалившиеся от худобы глаза смотрели с выражением язвительной злобы. В ее мелодичном голосе дребезжала наигранная беспечность. Что она могла сделать с ним, с его несокрушимым эгоизмом, который заставлял его отворачиваться от ее страданий, отводить глаза, когда приступ боли наваливался на нее. Ее низкий славянский лоб прорезали две глубокие вертикальные морщины.

<sup>1</sup> Я не такой уж веселый спутник (франц.).

<sup>2</sup> Дорогой мой (франц.).

— Мне очень жаль, что тебе сегодня так плохо. Могу я что-нибудь для тебя сделать? — почти машинально спросил Жиль. Это было единственное, что пришло ему в голову. Лицо его, несмотря на царившую в душе сумятицу, ничего не выражало.

— Развлекайся, топ сег, мне ничего не нужно, я хочу побыть одна, — сухо усмехнувшись, произнесла Ирма. — Видишь ли, у меня сегодня плохой день.

От боли у нее перехватило дыхание. Она смотрела на него, оскалившись, — можно было подумать, что Ирма улыбается. Жиль в нерешительности остановился у окна; он теперь не знал, как следует вести себя с женою, опасаясь чем-то выдать себя. Ирма слабым нетерпеливым движением руки отбросила книжку на колени. Солнечный луч, пробравшийся за ширму, упал на ее лицо. Глаза ее сверкнули яростным зеленым светом, но тотчас погасли. Она со вздохом откинулась назад, прислушиваясь к настойчивой боли в боку. Из соседней комнаты донеслись звуки фортепиано.

— Прости, — вздохнув, сказал Жиль. — Я ухожу.

Он вышел на залитую солнцем террасу. Какая-то упоительная мелодия звук за звуком, как разорванная по звеням перелета стая птиц, устремилась вслед его взгляду за горизонт. Жиль остановился, лицо его исказилось — щемящая мелодия, которую играла у себя Джослин, затронула какую-то струну в его сердце, как будто исполнительница осторожно положила на нее палец и потянула струну к себе. Он стоял ссутулившись, сунув руки в карманы и полузакрыв глаза. Теперь он узнал, какова глубина тех беспокойных вод, среди которых он плыл, теряя силы. Но это уже не имело значения. Обстоятельства, обязанности, отношения с людьми присоединились к толпе призраков, стремительно уходивших в прошлое. Единственной явью, воплощенной реальностью была для него эта девушка, игравшая мелодию в комнате с раздувавшимися от сквозняка занавесками. Он на миг испытал облегчение — чувство, овладевающее человеком, который понял, что никакой компромисс невозможен, что единственно возможный для него выход — подмять под себя обстоятельства, свести руки на горле тень, которые мучают его, и отдаться очарованию иной жизни.

Откуда-то появился Шикари, большой пятнистый борзой пес, и стал лизать руки хозяину.

«Развлекайся, топ сег», — вспомнились Жиллю слова жены, и он поморщился. Да, в создавшейся ситуации он не видел ничего, что могло бы его развлечь.

Светлая занавеска приоткрылась, и из комнаты Джослин на террасу вышел мужчина.

— Как поживаете, дорогой Легар? — надевая мягкую серую шляпу, спросил он. — Очень рад вас видеть.

Тщательно одетого на английский манер Густавуса Нильсена каждый без малейшего колебания признал бы иностранцем. По рождению он был швед, по образованию и привычкам — гражданин мира. Сорокалетний мужчина среднего роста, он был крепко сложен, и светлые глаза его из-под гривы вьющихся, соломенного цвета волос смотрели напряженно, как у человека, который чувствует себя немного чужаком. Его бледное веснушчатое лицо было покрыто сеткой мелких морщинок. Наверное, для того, чтобы как-то защитить глаза от мельчайших пылинок чуждой стихии, он смотрел на мир через вставленный в глаз монокль в золотой оправе. Рыжеватые усы загибались вниз, к углам рта, как у моржа. Под мышкой швед держал белый в зеленую полоску зонтик.

Мужчины осторожно пожали друг другу руки и обменялись взглядами, в которых отразилась взаимная неприязнь.

— Как ваша «система»? — сдержанно поинтересовался Легар. Он решил, что эта самая безобидная тема для разговора.

— Спасибо, неплохо, — с непроницаемым лицом ответил Нильсен, приглядываясь к собеседнику. — Очень неплохо; однако те, кто играют по какой-то «системе», никогда не говорят о ней, боясь, знаете ли, сглазить. Кстати, как поживает ваша милая жена? Передайте ей от меня привет. Очень жаль, что мне не

удалось с ней увидеться. Я только что заходил к миссис Трэвис и мисс Ли; к сожалению, у меня нет больше времени.

— Спасибо, но моя жена чувствует себя неважно. Я прощаюсь с вами, иначе вы пропустите из-за меня ваш поезд.

— Прощайте, друг мой, — пробурчал Нильсен, раскрывая свой полосатый зонт, и неспешным, широким шагом двинулся по направлению к железнодорожной станции.

Оставшись один, Жиль снова предался меланхолическому, благоговейному созерцанию складок ветра в занавеске. Лучи полуденного солнца косо падали на террасу сквозь ветви гигантского каштана, усыпанного крупными шафрановыми цветами, из долины струился аромат роз и гелиотропов. Маленькие ящерицы зелеными молниями пробегали внизу по камням, разноцветные бабочки и стрекозы кружились над террасой.

Страсть настолько захватила Жилия, что ему казалось: все вокруг него грозно звенит красотой. Стоило девушке один раз по-другому — чуть-чуть по-другому — пожать ему руку, и мир омывался каким-то другим, более высоким смыслом, возвращая его зрению свои детские, прекрасные подробности.

От природы довольно инертный, умеренный в своих потребностях, себялюбивый, он начинал ощущать, что меняются самые основы его существа. Это было так явно, так неожиданно, так странно!

Всю эту проведенную в Ментоне весну он привыкал к тому новому и восхитительному, что вошло в его жизнь. Точно так же он когда-то в детстве долго привыкал к солнцу и свежему воздуху, цветам и морю, ко всему прекрасному, что только было в этом дивном, живописном краю. Потом чудо стало частью его существа и уже не удивляло его; несмотря на свое английское происхождение, он смотрел на изумленных туристов со сдержанным, снисходительным недоумением южанина, для которого все красоты его края являются необходимым условием существования.

Он принял еще одно воплощение Красоты как должное, не задумываясь, и наслаждался им день за днем.

У него давно вошло в привычку воспринимать, не размышляя, всю окружающую его действительность. Десять лет назад, когда ему было двадцать пять, он женился на польке из старинного шляхетского рода и вскоре привез ее на Итальянскую Ривьеру. Прошло какое-то время, и тяжелая наследственная болезнь навеки приковала Ирму к креслу. Они никогда больше не уезжали далеко от своей виллы — это было связано со слишком большими трудностями. Отныне жизнь Ирмы скрашивали друзья, цветы, литературные занятия. Он же плыл по течению дней, вполне благополучных, однако медленно, но верно истощавших его жизненные силы и оставлявших после себя ощущение пустоты и скуки, которое с годами не ослабевало.

У него почти не осталось связей с Англией. Его отец, занимавший в стране видное положение, погиб во время охоты; Жилю тогда было четыре года. Мать, красивая и добрая женщина, умерла, когда он оканчивал Итон; смерть ее оставила глубокий след в его сознании, усугубив свойственные ему замкнутость и скрытность. Он никогда не говорил о том, что его сильно волновало; казалось, способность к полному доверию у него спрятана под спудом и приберегается для какого-то более глубокого душевного общения.

В Оксфорде он завел множество друзей; он сдержанно выказывал им симпатию, но когда пришла пора подводить итоги, друзья вынуждены были признать, что не знают его даже в той степени, в какой обычно знают друг друга юноши; он нравился им, но остался непонятым.

Когда он покинул Оксфорд, оказалось, что его не привлекает ни одна из профессий. Обладая значительным состоянием, он в силу своего характера неспособен был сделать над собой усилие, если его не побуждали к этому какие-то жизненные интересы или крайняя необходимость. Несколько лет он провел в путешествиях, не имея других целей, кроме развлечения; потом женился. Впоследствии он никак не мог до конца уяснить себе, как это случилось; была дружба, легкая влюбленность и сострадание к более слабому, чем он сам, существу,

но вот прошло уже десять лет, как он связал себя узами с лишенным всяких значительных целей существованием.

Он находил себе какие-то занятия, к примеру, изредка наезжал в Монте-Карло и немного играл, каждый год отправлялся охотиться в Алжир или в Марокко, подолгу плавал на яхте вдоль побережья. Но в жизни его не было работы, не было любви.

Они с женой никогда до конца не понимали друг друга. Он, разумеется, всегда был с нею вежлив и галантен, однако ему был чужд ее сухой, лишенный оригинальности ум интеллектуалки, раздражала ее неспособность к импровизации, эмоциональная глухота, приверженность к миру державной, почти обрядовой человеческой пошлости. Впрочем, он не предпринимал никакой попытки проникнуть в ее душевный мир.

Человек утонченный, в глубине души чувствительный, Жиль относился к своей жене с каким-то сонным благодушием и вел себя с нею как послушный, но скрытный ребенок.

Он почти с самого начала осознал, что брак его, скорее всего, был ошибкой. Впрочем, он не переставал восхищаться мужеством своей жены, ее стойкостью перед лицом страдания, остроумием и присушим ей шармом. Он понимал, что со стороны Ирма кажется прелестной и общительной женщиной, но чувствовал, что она не та, которая ему нужна.

Когда он пытался взглянуть на вещи ее глазами — стремление к объективности вошло у него в привычку, — ему становилось жаль Ирму.

Он все время обдумывал создающуюся ситуацию. Это было в его характере, хотя и не доставляло удовольствия.

Ирма никогда не любила его, иначе в нем вспыхнуло бы ответное чувство — он был человеком чутким и страстным. Как бы то ни было, он с благодарностью воспринял согласие очаровательной девушки выйти за него замуж. Но как она с ее пронизательным умом могла совершить эту ошибку — это ему уже никогда не узнать. Пропасть, разделявшую их, не могли отменить никакие усилия со стороны их обоих. Они никогда открыто не спорили; просто глаза их видели разное. У Жилия вошло в привычку мириться с положением вещей, выработалось безучастное и апатичное отношение к жизни. Однако сейчас, стоя на террасе, он подумал, что с этой спячкой, с этой томительно-бессмысленной жизнью навсегда покончено.

## Глава 2

Раннее, хрустальное утро в долине Ментоны огласило кваканье лягушек. По всей округе поплыл терпкий ароматный дым — горели срубленные эвкалипты. Занавески раздвинулись, и в проеме балконной двери показалась фигура девушки. Она стала, опершись вытянутой рукой о стену, слегка наклонив голову; в другой руке девушка держала перед собой срезанную с розового куста ветку. Сосредоточенным взглядом она смотрела, как солнечные лучи зажигали внутри каждого отдельного цветка сокровенный, по-весеннему прозрачный свет, особенно грустный и выразительный среди утреннего блеска природы, омытой солнцем. Девушка балансировала на невысоком пороге балконной двери, слегка покачиваясь, как птица на ветке. Она была среднего роста и на редкость соразмерно сложена. Все в ней — от мягких волнистых темных волос, зачесанных назад, до узких щиколоток и маленьких ступней — свидетельствовало о породе. Что-то едва уловимое говорило о том, что в облике девушки, как далекое эхо, отозвалась цыганская или арабская кровь. Этот еле заметный акцент древней крови придавал ее характеру своеобразие и сообщал ее внешности то, что в высшем свете называют «стилем». Лицо девушки было отмечено печатью жертвенности и глубокой грусти, как у человека, вступившего в борьбу с роком и сраженного им. Такое выражение часто встречается у людей восточного типа и очень редко — у европейцев. К тому же лицо ее имело смуглый оттенок, едва заметный, оттого что девушка была бледна.

Она поворачивала ветку и так и эдак, подставляя ее лучам, пробивавшимся из-за кроны каштана, и наконец рассеянно улыбнулась. Опустив ветку, девушка с наслаждением вдохнула аромат эвкалипта и сладко потянулась, как греющийся на солнце котенок. Теперь с лица ее исчезли следы печали, оно стало воплощением самого света, самой жизни.

Из соседней комнаты выскочила борзая, подбежала к ней, ласкаясь и повизгивая. Следом за собакой появился Жиль. Слегка кивнув ему, она нагнулась и похлопала по загривку борзую.

— Малы-ы-ш, — протянула она нежно, слегка прищептывая, как обычно разговаривают с детьми, — хочешь свой люби-имый пирог? Я дам ему пирога, Жиль.

Она зашла в комнату и вернулась с двумя большими кусками пирога. Пес принялся их уплетать, а девушка засмеялась и бросила довольный взгляд на Жилия.

— Ми-и-лый малыш! Как он любит сладкое!

Жиль не двинулся; он стоял, прислонившись к стене, заложив руки в карманы, и щурился от солнца, светившего ему прямо в глаза.

— Чудесный день сегодня, правда? — воскликнула девушка. — Как жаль, что придется ехать в Монте-Карло и торчать в этом душном казино!

— Разве обязательно туда ехать? — растерянно спросил он. — Мы могли бы пойти погулять.

Джослин сорвала с перевесившейся на террасу ветки каштана цветок и поднесла его к розам, чтобы проверить, гармонируют ли цветы друг с другом.

— К сожалению, обязательно, — отозвалась она. — Тетушка просто сгорает от желания туда попасть, но одна она не поедет. Бедняжка хочет попробовать еще одну «систему», она штудировала ее все утро, хотя так и не поняла до конца; впрочем, это неважно — вы же знаете, она всегда отказывается от них в самый ответственный момент. Поедете с нами? Мистер Нильсен сказал, что будет ждать нас в саду.

Жиль стиснул зубы.

— Да, пожалуй, поеду, — ответил он.

Джослин наклонила голову к розам и глубоко вдохнула их аромат, потом шагнула к перилам террасы. Она стояла теперь спиной к Жилию и глядела вниз, на белые домики и запущенные сады, ступенями спускавшиеся к реке, где деревья боролись за место под солнцем и, не признавая никаких границ, буйно разросся усыпанный мелкими розами кустарник. Потом, не оборачиваясь, девушка положила руку на запястье Жилия и потянула его за рукав.

— Смотрите! Какое запустение! Пожалуй, мне нравится этот беспорядок, в нем есть что-то живописное.

Жиль вздрогнул, когда она коснулась его; он подошел к ней вплотную и через ее плечо посмотрел туда, где беспорядочно чередовались дома, зеленая листва и пестрое тряпье, развешанное во дворах, а вдали туманно синело море. Трепеща от наслаждения, он ощутил прикосновение ее плеча.

— Что за детская любовь ко всему яркому! — воскликнул он. — Вам до такой степени нравится юг?

— Очень нравится, — ответила она, вздохнув. — И меньше всего меня волнуют люди. Я не имею в виду колоритных местных жителей — их я не знаю. Я говорю о завсегдатаях отелей. Почти всю жизнь я провела за границей, но эти люди всюду одинаковы, куда бы ты ни попал. Здесь они даже хуже, чем в других местах, — ведь неподалеку Монте-Карло.

— Меня вы тоже к ним относите? — осведомился Жиль.

Девушка дружески потянула его за рукав.

— Конечно, нет! Вы другой, у вас нет ничего общего с ними.

Она чуть повернула голову, посмотрела на него и рассмеялась.

— Вы всегда серьезны. Но несмотря на это — не скучны. И вы не можете не быть англичанином до мозга костей.

— М-да, — слабо улыбувшись, произнес Жиль, — очевидно, вы хотите сказать, что я не педант, не зануда... меня, как будто, похвалили, правда, Шика?

Он нагнулся и слегка щелкнул собаку по носу.

— А вы, Джослин, — спросил он, — что вы скажете о себе?

Она повернула к нему лицо и насмешливо пожала плечами.

— Иногда я серьезна, а иногда нет, — медленно проговорила она. — У меня все зависит от настроения, вы же знаете. И вообще, я плыву по течению.

Бурая ящерица пробежала по перилам почти под самыми ее пальцами. Глаза девушки нежно засветились.

— Милая маленькая зверюшка! — воскликнула она. — Хотела бы я быть ящерицей, Жиль, греться целыми днями на солнце, никогда не знать никаких забот, ни с кем не ссориться.

Жиль, заложив руки в карманы, смотрел на нее голодным взглядом.

— Из вас получилась бы славная маленькая ящерица, вы ведь так проворны, — сквозь зубы процедил он. — Возможно, даже очень красивая ящерица.

Девушка засмеялась; лицо ее смягчилось, на щеках появились маленькие ямочки. Потом она вздохнула:

— Ох, друг мой, должно быть, нам пора ехать. Я с гораздо большим удовольствием осталась бы с тобой, Шика.

Борзая, казалось, поняла ее слова и дружелюбно облизала ей руку влажным языком.

— Не зайдете ли вы к Ирме на минутку? — с трудом выдавил из себя Жиль.

— Конечно, зайду.

Джослин быстро обошла его, тихонько постучалась пальцем в стекло соседней балконной двери и вошла в комнату...

Какой контраст представляли две женщины в этой мрачной, зашторенной комнате, куда сквозь закрытые ставни пробивался тонкий луч света, — статная, полная жизни темноволосая девушка в желтом платье, стоявшая в грациозной позе с веткой роз в руке, и лежавшая на кушетке скрюченная больная женщина в белых одеждах, вся жизнь которой сосредоточилась в ее бездонных глазах, смотревших с тем особым скорбным и терпеливым выражением, что встречается у некоторых животных. Иногда в этих глазах горело неугасимое торжество человека, который ежеминутно одерживает победу над самим собою.

Резкое различие во внешности дополнялось несходством характеров. Одна из женщин была способна управлять своими эмоциями, а другая почти лишена этого качества. Несмотря на это, женщины питали друг к другу большую симпатию, хотя внешне она проявлялась весьма сдержанно.

Ирма откровенно, с какой-то экзальтацией, которой бывают подвержены больные, восхищалась красотой и грациозностью девушки; Джослин же не мог не привлекать насмешливый ум старшей подруги, и она искренне переживала, что та так страдает. Они получали удовольствие от общения друг с другом, несмотря на то, что за два месяца, проведенные в одном отеле, не так уж часто виделись. Вилла Легаров была в пяти милях от отеля, но Ирма всегда проводила зиму в Ментоне, чтобы быть поблизости от своего доктора.

Джослин наклонилась над кушеткой и положила желтые с шафранной сердцевиной розы на лиф белого платья больной.

— Как мило с вашей стороны, что вы принесли мне их, — прозвучали тихие слова, отрывисто произнесенные по-английски с едва заметным иностранным акцентом. — Очень рада вас видеть; боялась, что вы не сможете зайти сегодня, я ведь собираюсь на виллу, знаете? Жиль, наверное, говорил вам? — беззаботным тоном продолжала Ирма. — Моя свобода обычно зависела от доктора Ламотта; но я уже прошла весенний курс лечения, и сейчас он, похоже, больше ничего не сможет для меня сделать. Так что могу вернуться на мою маленькую виллу, к моим цветам, книгам и певчим птицам. Я здесь так скучаю по ним. Mon Dieu!<sup>1</sup> Как я по ним скучаю! Вы ведь навестите меня, правда, Джослин? Это недалеко, вы, наверное, знаете; всего пять миль. Я попрошу Жилия захватить за вами.

<sup>1</sup> Боже мой! (франц.).

— Конечно, я навещу вас. Мне очень хочется взглянуть на виллу. Но как жаль, что вы уезжаете!

— В самом деле?

В этих словах прозвучала легкая ирония, но Ирма ласково взяла девушку за руку.

— Не знаю, имеет ли смысл приглашать вашу дорогую тетушку — у нас ведь, как вам известно, нет рулетки, так что, боюсь, ей будет там скучно. Я попрошу Жилия, он заедет за вами. Впрочем, не знаю, поедет ли он со мною, возможно, что и нет.

В ее голосе и в пристальном взгляде темных глаз, прикованном к Джослин, снова промелькнула насмешка. Девушка залилась краской — ее тонкое чутье подсказало ей, что в этих словах было что-то враждебное, хотя она и не поняла, что именно.

Раздался негромкий стук в окно.

— Это тетушка, — воскликнула Джослин. — Боюсь, мне пора идти. Мы едем в Монте-Карло.

— Прощайте, Джослин. Вы поцелуете меня? — она бросила на девушку взгляд, полный нежности и восхищения. — Как вы милы сегодня!

Джослин наклонилась и поцеловала ее.

— Прощайте. Как жаль, что вы так плохо себя чувствуете! Может, мне остаться с вами?

— Mon Dieu! Нет! Ваша дорогая тетушка, без сомнения, очень скучала бы без вас. Вам надо непременно идти. Bonne chance! Вы ведь заедете навестить меня?

— Обязательно, — ответила девушка. Когда, выходя на террасу, она бросила на Ирму прощальный взгляд, на лице ее отразилась грусть.

На террасе виднелась дородная фигура миссис Трэвис, одетой в легкое серое шелковое платье и укравшейся от солнца под черным зонтиком.

Сущность стремлений этой дамы можно было бы выразить словами «материальное благополучие». Стремление его упрочить стало для нее чем-то вроде религиозного культа, хотя вслух она ни за что бы не признала этого. Пятидесятилетняя румяная женщина с сильно вьющимися, постепенно седевшими волосами и зелеными с карим оттенком глазами, она всегда держалась прямо и производила самое величественное впечатление. То было величие людей старой пуританской закваски, величие непоколебимости. Она не придерживалась каких-то особых принципов или, вернее, они всегда определялись тем, что ей было выгодно в данную минуту. Она страстно была увлечена карточной игрой, получала от нее острое, ни с чем не сравнимое наслаждение, однако не переносила людей, хоть отчасти догадывавшихся об этом. Проигрывая, она винила в этом банкомета, а проигрывая свои переживала, как физическую боль, с воспитанным в ней с детства стоицизмом и обычно ожидала такого же, даже большего стоицизма от племянницы. Она в совершенстве владела искусством уклончивого разговора, красноречивого молчания и туманных намеков, хотя и не сознавала этого.

Если попытаться проникнуть внутрь любого человеческого существа, непременно обнаружишь какого-то зверя; разница между людьми лишь в том, насколько глубоко он там спрятан. Что касается миссис Трэвис, здесь не было нужды забираться вглубь — сразу же бросалось в глаза ее сходство с большой персидской кошкой.

Своими быстрыми ярко-зелеными глазами она замечала многое, но все это мысль фиксировала чересчур безалаберно, не снисходя до того, чтобы запечатлеть какое-нибудь открытие в памяти. У нее было хорошее природное чутье, но не было логики.

Часто слышали, как она говорила племяннице: «Ты должна думать о людях, дорогая». Она и сама следовала этому правилу настолько, насколько это согласовывалось с ее собственным удобством. Подобные родственные нравоучения обычно внимательно выслушивались девушкой, но в том случае, когда

---

<sup>1</sup> Удачи вам (франц.).



Джослин воспринимала их без излишней благодарности, тетушка принимала возвышенную позу мученицы и потом долго дулась. Она была полностью лишена того, что называют «внутренним миром»; любила выказывать гостеприимство; хорошо одевалась и часто ездила по магазинам; коллекционировала серебро. Все то, за что она бралась, делалось основательно и расчетливо. Она не была горлива, но любила всласть посмеяться; обидевшись, как ребенок надувала губы.

Увидев Джослин, она сказала с легким упреком:

— Мы опоздаем на поезд, дорогая моя. Нам надо играть до обеда — ты же знаешь, после обеда мне никогда не везет.

Она взяла девушку под руку и стала спускаться по ступеням террасы. Жиль пошел следом, без всякой надежды на успех пытаясь найти хоть какую-то сообразность между тетушкиной кокетливой летней шляпкой и теплыми черными ботинками. Он никогда не отказывался от попытки постичь человеческий характер, но миссис Трэвис оказалась для него крепким орешком.

### Глава 3

Мать Джослин Ли умерла в родах. Девочка была единственным ребенком и, может быть, поэтому с самого рождения стала предметом поклонения, чуть ли не кумиром отца, армейского офицера.

Вскоре после смерти жены он вступил во владение небольшой усадьбой и, оставив службу, переселился туда. Но весной и летом они обычно жили в Лондоне. Девочка росла почти в полном одиночестве, людей видела реже, чем лошадей и собак, образование получила весьма бессистемное и отрывочное. Она была живым, подвижным ребенком и приводила то в восторг, то в отчаянье своих гувернанток, которые души в ней не чаяли. Эта пухленькая проказница, не способная ни минуты усидеть на одном месте, со временем становилась все более задумчивой и печальной и наконец превратилась в стройную, чувствительную, легкоранимую девушку, хрупкую, как нежный цветок, избегавшую всего вульгарного и уродливого, любившую животных и инстинктивно не доверявшую людям.

Когда Джослин исполнилось девятнадцать лет, скончался ее отец.

Перед своей кончиной он поручил девушку сестре, к которой питал некоторую привязанность, хотя и был о ней весьма невысокого мнения. Но, к счастью, две женщины, совершенно разные по складу своего характера, неплохо ладили друг с другом, и это можно было объяснить скорее всего тем, что они никогда не оставались подолгу в одном месте, частыми переездами снимая накопившееся раздражение. Ни одна из них даже не пыталась понять другую и не требовала от нее слишком многого. Четыре года, прошедшие после смерти майора Ли, они провели за границей — в Италии, Испании, Германии и в Париже, к которому миссис Трэвис питала особую любовь, поскольку обзаводилась там туалетами.

Джослин не питала привязанности к Англии, к утомительно-однообразному небу своей родины. Ее тянуло в те края, где всегда светит солнце, где краски природы всегда восхитительно свежи и разнообразны, где жизнь вокруг, кажется, так и кипит.

От матери, семья которой традиционно вела подвижный образ жизни, она унаследовала беспокойный, переменчивый характер, заставлявший ее постоянно странствовать и обрекавший на вечную зависимость от перепадов настроения. Зато она умела жить настоящей минутой, что выдавало в ней натуру крайне чувствительную к внешним влияниям и к собственному самочувствию.

Контрастные свойства ее характера проявлялись в одинаковой степени, подобно отклонениям маятника от точки равновесия, но они уравнивались на весах ее разума. Она не пыталась управлять своими порывами или хотя бы сдерживать их, а только лишь мысленно их оценивала как сторонний наблюдатель с неким холодком рационализма и глубоким смирением. Она мирилась са-

ма с собою как с какой-то неизбежностью, раз и навсегда решив не тратить лишних сил на преодоление собственных недостатков. Главное — не ущемлять интересов окружающих, думала Джослин, никого не пытаться подавить, но нельзя также никому подчиняться. В ней была гордость, не позволявшая что-либо просить у Бога или у людей. Она ни разу в жизни не шевельнула пальцем, чтобы привлечь внимание окружающих или вызвать в них восхищение, но в то же время в глубине души она чувствовала в них потребность, и эта тщательно скрываемая зависимость от людей ее угнетала.

...В середине пути машинист дал гудок, и Джослин наклонилась к мутному от пыли окну вагона, чтобы взглянуть на излучину залива между мысом Мартина и Рокебрюном. Она невольно улыбнулась, знакомая эта картина глубоко трогала ее: блеск солнечных лучей, отраженных голубым зеркалом безмятежных морских вод, маленькие, пушистые белые гребешки волн, мелькнувшие за хвостом их поезда, на изгибе пути отвесные, поросшие соснами скалы и маячившие впереди на вершине скалы три пальмы, напоминавшие часовых. Жиль сидел напротив девушки, поглядывая на нее из-под полуопущенных век. Однажды она случайно коснулась его колена своим, и тогда лишь присутствие миссис Трэвис, дородной, откинувшейся назад на своем сиденье с умиротворенно сложенными на животе руками и стрелявшей по сторонам своими зелеными глазами, удержало его от безумного порыва вскочить с места и стиснуть девушку в объятиях. Теперь, смежив веки, он размышлял, заметила ли она это прикосновение.

В саду они увидели Нильсена, сидевшего в тени перчатного дерева. Он курил сигарету и задумчиво наблюдал за мужчиной, похожим на греческую статую, и стоящим рядом с ним робким мальчиком, как будто сошедшим с какой-нибудь картины Жана-Франсуа Милле<sup>1</sup>. Этим двоим, должно быть, поручили разровнять кучу земли, которая высыпалась из телеги, запряженной весьма глубокомысленного вида мулом. Мужчина задумчиво посматривал на лопату в своих собственных руках, как бы припоминая назначение этого предмета. Мальчик, засунув в рот палец, с такой же задумчивостью смотрел на мужчину.

Нильсен приветствовал дам с витиеватой учтивостью:

— Взгляните на этого человека, — произнес он меланхолически, указывая на мужчину, с наивным удивлением поглядывающего то на лопату, то на кучу земли. — Что за бессмысленная вещь цивилизация! Я рассказывал вам, что, путешествуя в южных морях, встречал множество энергичных островитян, к тому же очень чистоплотных, только перемазанных пальмовым маслом, которое, в конце концов, почти как мыло. Вот перед вами вполне цивилизованные экземпляры. Посмотрите-ка на эти позы! Какая прелесть! За четверть часа он, облокотившись на лопату, принял шесть разных позций. Он, кажется, истощил весь свой физический потенциал, напряженно размышляя, какое отношение имеет лопата к этой куче земли. Смотрите, кажется, он сейчас собирается идти за выпивкой.

Когда мужчина удалился, оставшийся в одиночестве мальчик стал прохаживаться ленивой и неуклюжей походкой вокруг кучи земли, переместив палец в ноздрю.

— Если не считать одежды, самый настоящий фиджиец, — продолжал Нильсен. — Однако мы все же называем его цивилизованным человеком, а островитянина — дикарем, так ведь? Все это, в сущности, дело привычки.

Он с мрачным видом смахнул пыль со своих штиблет шелковым носовым платком.

Люди обычно думали, что Нильсен немного манерничает; на самом же деле это было не так — просто английские манеры были в нем как бы привиты на интернациональные. Он казался циником, а в действительности был добросердечен; выглядел сдержанным, но был вспыльчив; производил впечатление чело-

<sup>1</sup> Жан-Франсуа Милле (1812—1875) — знаменитый французский художник-реалист, представитель так называемой Барбизонской школы. (Прим. переводчика).

века заурядного, подлаживающегося под окружающих, а на самом деле был большой оригинал.

Нильсен происходил из хорошей семьи, но нельзя было сказать, что он избалован фортуной. В последнее время он жил на выигрыши от игры по «системе», ухитрившись сделать из этого занятия источник извлечения доходов. По этой причине многие люди, хотя и игравшие сами, смотрели на него свысока, не думая о том, что зарабатывать на жизнь подобным образом можно, лишь имея особое терпение и самообладание.

Они направились всей компанией через сады к казино. Сады в Монте-Карло, разбитые вокруг казино, чем-то неуловимо отличаются от всех остальных. Они не поражают глаз великолепием, но в их планировке, в продуманной гармонии растений, как бы собравшихся на это пиршество красок со всех стран мира, присутствует какая-то тонкая, изысканная порочность; здесь как бы витает дух соблазна. Сама атмосфера садов от корней газонов до вершин деревьев пропитана азартом и разбитыми надеждами; налет нервного тщеславия, как роса, кропит чашечки редких цветов. В этой необычной обстановке человек способен возвратиться к первобытному состоянию, он становится подвластным таинственным законам, на которых издавна зиждется мир, временно порывая с цивилизацией, забывая себя как гражданина или члена семейства, чтобы дать свободу инстинкту, ведущему его к иллюзорной победе.

...Вскоре они подошли к дверям казино. Миссис Трэвис шествовала чуть впереди, всем своим видом демонстрируя уверенность в непогрешимости своего туалета и благородной выразительности своего облика, трепеща от сладостного нетерпения. Джослин рассеянно, со-скачующим видом шла рядом с Нильсеном, который безуспешно пытался развлечь ее разговором. Жиль уныло плелся сзади.

Впереди какой-то странной подпрыгивающей походкой шли двое. Нильсен с выражением мрачного сарказма тихонько прошептал на ухо Джослин:

— Взгляните, эти только пр-р-иехали. Они едва сдерживают свое желание поскорее оказаться за карточным столом. Кажется, вот-вот взлетят и приземлятся у ног крупье.

Джослин прыснула со смеху и что-то тихо ему ответила.

Жиль, не расслышавший, о чем они шептались, внезапно ощутил жгучую ревность; он сильно побледнел и приостановился, немного отстав от остальных. Джослин, поднявшись по ступенькам, обернулась и улыбочиво посмотрела на него. Словно птица коснулась крылом его щеки: он помахал рукой ей в ответ.

Из музыкального салона казино доносилась негромкая мелодия. В холле и в коридорах туда и сюда сновали люди; там, внутри, в игровых залах, горел тусклый свет, слышалось глухое металлическое звяканье, ощущался легкий запах пачулей. Люди перемещались из комнаты в комнату и вокруг столов, прохаживались, заложив стиснутые в кулаки руки за спину, при этом они тихо переговаривались. Каждый стол издали напоминал арену многолюдного цирка. Вокруг него мерцало множество человеческих лиц; бдительные крупье, восседавшие во главе и по бокам столов, безучастно, но старательно пасли это стадо. Их лопаточки со звоном непринужденно сгребали монеты с зеленого сукна, пропитанного жадными взглядами, как газон влагой, с разных сторон к расписному своду потолка взлетали вздохи: «Rien n'va plus»<sup>1</sup>.

Бесконечный поток зрителей двигался между игроками, как огромная гусеница. Лица игроков в большинстве своем были багровыми. Здесь не звучал смех. Со стен на них насмешливо взирали нагие нимфы. Свободных банкетов не было. Люди сидели плотно, касаясь друг друга локтями, уставившись в одну точку. Время от времени за одним из столов раздавалось жужжание голосов, которое, истончившись до невятного одиночного бормотания, вновь затихало.

Миссис Трэвис, всегда избиравшая рулетку, потому что интенсивная циркуляция денег доставляла ей удовольствие, облюбовала стол и дождалась, пока

<sup>1</sup> Не повезло... (франц.).

освободится место рядом с доброжелательным стройным австрийцем-крупье, которого она давно уже приучила, любезно обмениваясь с ним дурно произнесенными «*Voilà!*»<sup>1</sup>, наблюдать за перемещением ее ставок. Усевшись, она привычным жестом положила на стол рядом с собой портмоне, веер и платок, затем вынула карандаш и блокнот, чтобы отмечать выигравшие номера. Губы ее шевелились, взор беспокойно блуждал от стола к блокноту и обратно; временами она бросала быстрые взгляды на сидевших рядом игроков; казалось, она замечает и учитывает все вокруг. Она аккуратно записывала свои ставки и справлялась с предыдущими записями, крутила в руке монеты перед тем, как их поставить, иногда забирала ставку обратно в самый последний момент. Проигрывая, она хмурилась, выигрывая — сияла, как дитя, получившее конфетку. Во время игры лицо ее бледнело, лоб покрывался испариной, морщины углублялись; словом, она как нельзя более походила на завязтого игрока.

Совсем по-другому вела себя Джослин. Она заняла первое же освободившееся место. Ресницы ее все время были опущены, точно она немного стеснялась подобного времяпрепровождения. На лице, словно маска, застыло безразличное выражение. Она небрежно двигала лопаточкой поставленные монеты и равнодушно придвигала их к себе, когда выигрывала. Она развивала свой успех и прерывала полосу неудач с беспечностью человека, участвующего в игре лишь потому, что это делают все окружающие.

Жиль, занявший место за тем же столом, лихорадочно ставил на каждый кон. Взгляд его был прикован к Джослин. Выиграв порядочную сумму, он сунул деньги в карман и сделал движение по направлению к девушке, но, не дождавшись от нее ответного жеста, снова сел на место и продолжал играть, пока не проиграл все, что у него было с собой. Тогда он со вздохом облегчения поднялся и, обойдя стол, встал за спиной Джослин. Играя, он хотел отвлечься, но это ему так и не удалось.

Нильсен сел к заранее выбранному столу и стал наблюдать за игрой. Он выглядел печальным и отрешенным. Затем он начал играть, сверяясь со схемами, которые держал в руке, и с затверженными на память сочетаниями цифр; он ждал, когда можно будет применить какую-нибудь комбинацию. Ставки он делал редко, довольствуясь пятипроцентной прибылью к затраченным суммам. Вскоре один из игроков присвоил себе его ставку; он посмотрел на этого человека, немного задетый, но ничего не сказал. Несколько минут спустя та же участь постигла его соседа, и Нильсен тотчас вступился за него. Он клеймил позором нарушителя, обличал крупье, навлек на себя бурю возмущения игроков; лицо его побелело, глаза налились кровью, он продолжал упорствовать и, наконец, добился своего, после чего сделался еще более печальным и отрешенным. Теперь он играл с совершенно невозмутимым видом, являя собой истинное воплощение делового человека.

Вскоре миссис Трэвис, Джослин и Жиль покинули зал, оставив Нильсена дожидаться очередную верную комбинацию. Когда Джослин проходила мимо него, он, откинувшись на спинку стула, повернув к ней голову, прошептал трагическим тоном:

— *Ça ne va pas, se sour?*; я жду и жду, но хлеб с маслом не дается мне в р-руки! А теперь еще вы уходите, это, знаете, совсем сквер-р-но.

Проговорив это, он снова повернулся к столу, чтобы успеть записать в блокноте выпавший номер.

Джослин, оглянувшись, подумала, что он чем-то похож на холеного моржа, ожидающего у проруби появления рыбы.

Миссис Трэвис, игравшая по новой «системе» с полным непониманием того, что делает, лишилась всех своих денег; затем, одолжив оставшиеся у Джослин, проиграла и их. Она покидала залу в самом свирепом расположении духа, до слез обиженная на своего крупье, которого считала способным предугадывать выпадающие номера, и убежденная, что если бы у нее было при себе больше де-

<sup>1</sup> Здравствуйте (франц.).

<sup>2</sup> Не везет мне сегодня вечером (франц.).

нег, она обязательно осталась бы в выигрыше. Она шепотом отчитывала Джослин за то, что та не взяла с собой более крупную сумму, чтобы одолжить ей.

На обратном пути разговор не клеился. Быстрые зеленые глаза миссис Трэвис, казалось, выискивали кого-нибудь, на ком она могла бы выместить раздражение; Джослин устала; Жиль был мрачен. Когда они вышли из поезда и подошли к отелю, он мягко коснулся рукава девушки и спросил:

— Вы знаете, что мы завтра уезжаем?

— Да, — ответила Джослин. — Мне так жаль.

Она остановилась, и на щеках ее выступил слабый румянец.

— Мне будет очень не хватать наших прогулок. А Шика — бедный малыш, как он обойдется без своего угощения? Вы не забудете давать ему пирог после завтрака?

— Нет, — коротко ответил Жиль. — Я буду привозить его за угощением к вам.

— О! — воскликнула она, чертя на земле круги концом своего зонтика.

Жиль, высокий, стройный, стоял перед ней, держа в руках шляпу; лицо его выражало глубокую печаль. Джослин бросила на него быстрый взгляд и с улыбкой протянула руку.

— Мы с тетушкой обедаем сегодня не дома, — сказала она. — Боюсь, мы больше не увидимся с вами. Прощайте, Жиль.

Он взял ее руку и несколько мгновений удерживал в своей, пристально вглядываясь в лицо девушки; затем отпустил руку и стоял неподвижно, пока Джослин поднималась по ступенькам на террасу. Вот она обернулась, и он еще раз увидел в профиль ее усталое, грустное, тонкое лицо, полускрытое широкими полями шляпы.

## Глава 4

На следующий день ранним утром супруги Легар покинули Ментону и направились на свою виллу. Ирме необходимо было проделать этот путь в утренние часы, до наступления полуденного зноя. Жилу так и не удалось больше увидеть Джослин; он, сколько мог, оттягивал отъезд, но девушка так и не вышла из своей комнаты. В экипаже он сидел напротив жены, и лицо его было спокойно, но в груди Жили кипели возмущение и отчаяние. Он проявлял о жене величайшую заботу, ежеминутно взбивал ее подушки и то и дело напоминал кучеру, чтобы он правил с предельной осторожностью. Они доехали благополучно.

Жиль надеялся, что в привычной обстановке сможет хоть немного отвлечься от своих мыслей. Оказалось, однако, что все окружающее приводит его в бешенство, напоминающая о вставшей между ним и Джослин преграде. Каждый день он спрашивал себя, зачем он здесь, что делает? Что собирается делать? И не находил ответа. Совесть и здравый смысл боролись в его душе со страстью. Он пытался занять свои мысли чем-нибудь другим, каждый день находил себе массу дел — ездил верхом, гулял, занимался домашними делами. В эти дни он был особенно внимателен к жене, но все время ощущал: она понимает, что творится у него в душе. Все его усилия были напрасны — Джослин, как наваждение, неизменно стояла у него перед глазами. Он написал ей письмо, в котором говорилось, что неотложные дела призывают его в Геную. Потом он отправился туда, выполнив ряд мелких поручений жены, и вернулся в еще большем отчаянии, чем прежде. Так он провел первую неделю после отъезда из Ментоны.

Джослин скучала без него — за эти два месяца она успела привыкнуть к нему. До его отъезда ей не приходило в голову, что его общество развлекало ее до такой степени, что она совсем не чувствовала скуки. Без Жили и его борзой, к которой она нежно привязалась, она чувствовала себя потерянной. Жиль Легар казался ей совершенно не похожим на всех тех людей — немцев, французов, поляков, русских, — с которыми она завязывала знакомства во время путешествий. Эти люди танцевали с ней, катались верхом, осыпали ее комплиментами и даже делали предложения, но, несмотря ни на что, она не чувствовала к ним та-

кого доверия, как к Жилю. Ни с кем из них у нее не возникало такого взаимопонимания. И, конечно, причина этой сразу возникшей между ними духовной близости заключалась не в том, что он был ее соотечественником; скорее, здесь вообще отсутствовала какая-либо видимая причина. Просто с ним ей было хорошо. Приятно было видеть рядом человека, который так же, как она, любил солнце, цветы, музыку, напоенный ароматом лета воздух и шепот бездонного моря под звездным ночным небом; знать, что есть кто-то, кто все это чувствует с такой же острой и неизбывной нежностью, с благодарностью, — это было прекрасно.

Иногда, прогуливаясь по саду, она машинально посвистывала, подзывая собаку, и тогда ей начинало казаться, что из-за кустов появится Шикари и что борзая, выгибая спину, ленивой трусцой подбежит к ней по траве, чтобы лизнуть руку. Ей чудилось, что еще немного — и она увидит в саду Жилия, сидящего, скрестив ноги, на солнцепеке в надвинутой на глаза панаме. Порой, когда она одна или с тетушкой сидела в комнате, ей чудился запах его сигар; она подходила к окну и выглядывала на террасу сквозь щелку между ставнями. Она перестала ходить на прогулки — в одиночестве это было скучно — и не ездила больше в Монте-Карло. Уединившись, она много музицировала, но и тут выяснилось, что ей не хватает грустного взгляда Жилия и его обычной просьбы: «Сыграйте это еще раз». Ей нужен был кто-то, кому нравилось бы то, что она делает. Когда некому было оценить, хорошо она играет или нет, пропадала всякая охота садиться за фортепиано.

Получив его письмо, она была удивлена и немного раздосадована — не новостями, конечно, которые там содержались, а его тоном — он показался ей таким холодным и официальным!

Она села за стол и написала ему дружеское письмо, затем, повинувшись внешне запятому ребяческому капризу, порвала его и набросала новое, адресовав его Ирме. В своем письме она рассказывала, как ей хорошо живется.

Через неделю после отъезда Жилия они с тетушкой оказались на вечернем приеме, который давала некая немецкая баронесса в отеле на восточном побережье залива.

Анфиладу душных комнат переполняла разноязыкая толпа; разговоры и смех сливались в неумолчный гул. Большинство присутствующих обсуждали состояние здоровья — своего и своих знакомых; немецкий профессор, сидя за роялем, наигрывал танцевальные мелодии, жирный коричневый пудель без устали ходил на задних лапах по комнате, выпрашивая сладости; в углу двое русских с окладистыми бородами приглушенными голосами обсуждали «систему»; пожилая английская леди, флегматично поедая мороженое, жаловалась на зубную боль епископу из колоний, стоявшему с прижатой к животу шляпой. Остальные с отсутствующим видом вышагивали по устланному гравием дорожкам сада, нюхали цветы и разглядывали новоприбывших. Здесь, без преувеличения, было представлено все собравшееся в отелях Ривьеры общество.

Миссис Трэвис сидела в самом прохладном углу комнаты и обмахивалась веером. Она внимала откровениям худосочного помощника приходского священника в надежде пополнить свои познания в искусстве. Не имея собственных взглядов, она считала нужным соглашаться со всем, что он говорил, а ее живые глаза тем временем изучали наряды соседок. Про себя она потешалась над священником, но он не замечал этого, до глубины души польщенный вниманием столь достойной особы, полагая, что его высоко оценили, и даже принес ей вскоре чашку чая.

В центре комнаты группка людей собралась вокруг Джослин; двое из них что-то страстно ей втолковывали, употребляя тяжеловесные, неуклюжие фразы, — это были немцы. Джослин почему-то особенно очаровывала немцев; их тянуло к ней, как мух на мед.

Один из них говорил ей: «Ах! Ви так много любит этот комбозитор, да?» Другой вставлял: «Ах! Он имеет шувзтво, бравда?» И Джослин рассеянно кивала им обоим.

Она не старалась пленить собеседников. Ее подвижное, загадочное лицо казалось им очаровательным; впечатление дополняли ее грациозность и элегантный наряд. Джослин то и дело поворачивалась ко второй даме в их группке, пытаясь вовлечь ее в разговор, но та помалкивала, с улыбкой внимая немцам. Немцы упрашивали Джослин поиграть! Она повернулась к роялю и неожиданно увидела Жилья, стоявшего снаружи на террасе; заложив руки в карманы, он смотрел через стекло на нее. Девушка отвела взгляд и направилась к инструменту. Что-то будто ударило ей в сердце. Ее лоб покрылся испариной. Она стала то ропливо перелистывать ноты; почему-то ей казалось, что она должна прятать от людей глаза. Вот она заиграла мазурку Шопена; немецкий профессор, наклонившись вперед, с восхищением смотрел на девушку сквозь свои дымчатые очки. Закончив, она встала и под всплеск аплодисментов сказала:

— Здесь слишком жарко, трудно играть.

Она направилась к креслу и пошатнулась, вызвав беспокойство у окружающих ее людей... Она размышляла над тем, почему Жиль не хочет подойти и поговорить с нею. Последовавший за ней немецкий профессор заговорил о музыке. Джослин вяло слушала его, взгляд ее в это время был прикован к окну. Рядом с Легаром стояла высокая красивая девушка в розовом платье и что-то горячо доказывала ему; тот слушал ее с улыбкой. Джослин гадала, кто же эта девушка, и невпопад отвечала на замечания профессора. Она заметила мелькнувший за стеклами его очков удивленный взгляд и попыталась собраться с мыслями. Однако, когда Жиль наклонился к девушке и что-то сказал ей на ухо, Джослин опять сбилась. Жиль, приоткрыв балконную дверь, пропустил вперед свою спутницу и вошел в залу. Джослин почувствовала испуг, будто он совершил какую-то неосторожность.

— Und Schubert?<sup>1</sup> — говорил немецкий профессор. — Как wunderschön mit<sup>2</sup> его брелезные мелодии, nicht wahr?<sup>3</sup>

— Ах! — ответила она коротко, устремив взор в пол. — Я вовсе не люблю его, он чересчур слащав.

Раздражение, прозвучавшее в этих словах, удивило ее саму.

Вновь подняв глаза, она перехватила взгляд Жилья и почти физически ощутила, как что-то передалось ей от него в этом взгляде. Не глядя на него больше, она чувствовала теперь, что он пробирается сквозь толпу к ней, и на щеках ее начал медленно проступать румянец. Джослин что-то лихорадочно говорила профессору. Когда Жиль подошел, она с улыбкой протянула ему руку; он молча взял ее ладонь в свою и встал рядом, не вступая в беседу. Она внезапно почувствовала облегчение и принялась весело и непринужденно болтать с профессором. Они обсуждали колорит Ривьеры. Профессор, невысокий бородатый человек с красным лицом и голубыми глазами навывкате, утверждал, что колорит этот вызывающе ярок.

— В нем нет души, нет шувзтва, nicht wahr? — говорил он. — Когда ви видит взё сразу — это не есть интересно.

— Ах! Но всегда видеть солнце, чудесное голубое небо — что может быть лучше этого, герр Швейцер? Кроме того, здесь есть и оливы — разве в них нет души?

— Эти оливы, они такие незуразные, как фрак на итальянзкий крезтьянин. Я больше люблю бейзаж mit зозновый лес, und текущая река, und видеть звери и женщины бозреди боля.

— Да, мне тоже нравится все это, но здесь у меня возникает ощущение, будто я прожила на юге всю жизнь.

— Ach! Mein Fräulein<sup>4</sup>, ви англишанка; как взе англишане, ви езьт ошень экзбансивны. Што казаетзя меня, то взять этот балка и бродить в шудезных лезах

<sup>1</sup> А Шуберт? (нем.).

<sup>2</sup> Чудесны (нем.).

<sup>3</sup> Не правда ли? (нем.).

<sup>4</sup> Ах, фрейлейн (нем.).

и болях, und видеть брироду, und немного отдохнуть, und глотнуть бива и бродить еще — это для меня шшазтье, ах!

Он устремил на девушку сентиментальный взгляд сквозь стекла своих очков. В этот момент подошла миссис Трэвис, которую чрезвычайно утомили жара и помощник приходского священника; достойная дама собралась уезжать. Жиль, поприветствовав ее, пошел искать их экипаж. Несмотря на сильное желание быть рядом с Джослин, для него было слишком мучительно видеть, как она говорит с другими. Он приехал на этот вечер, желая лишь взглянуть на нее и сразу же уехать. Когда он помогал дамам садиться в экипаж, Джослин мягко коснулась его руки и спросила:

— Когда вы приедете навестить нас, Жиль?

— Завтра, — ответил он, весь дрожа. Он не сводил глаз с ее лица; когда экипаж немного отъехал, она оглянулась еще раз и снова почувствовала, что между ними как будто проскочила искра.

— Au revoir!<sup>1</sup> — крикнула она, махая ему рукой. Домой она, неожиданно для себя, возвращалась с легкой душой...

Вечером после обеда она в одиночестве бродила по саду близ своего отеля. Неумолчная болтовня в гостиной раздражала ее и выводила из себя; ей хотелось побыть одной.

Вечер выдался тихий, в воздухе был разлит аромат роз и гелиотропов, вокруг мелькали светлячки, дальние голубые вспышки летних зарниц временами прорезали темное небо. На мгновение воцарилась тишина, потом вдруг громко заквакали лягушки, прозвучал зов павлина. Джослин прошла в зад-вперед по тропинке, затем остановилась, вглядываясь в ночную тьму сияющими глазами. Губы ее шевелились, будто произносили какое-то ласковое слово.

Что за чудесный мир раскинулся под этими далекими и безмолвными звездами! Если бы она могла обхватить его руками и расцеловать! Осыпать поцелуями светящиеся в темноте цветы, тихий воздух, весь этот чудесный вечер, казавшийся ей более чем когда-либо исполненным значения и сулящим радость! Она простерла руки, а затем прижала их к груди, словно удерживая чувства, которые рвались наружу...

Свет лампы лился во тьму из открытого окна отеля, рисуя золотистую полосу на мокрой от росы траве. Джослин отошла подальше — ей показалось, что он грубо нарушает девственную чистоту этой ночи. Она глубоко вдохнула теплый воздух, почему-то чувствуя себя несказанно счастливой, — как будто она была неуязвима, как будто путь ее освещал какой-то мерцающий свет, пробиравшийся из-за таинственной завесы, отделявшей от нее будущее. Она не пыталась понять причину этих странных, но сладостных ощущений, ей достаточно было видеть сияние звезд, слышать глухой шепот ночи. Она прижала ладонь к одной, потом к другой щеке — они горели, как от поцелуев...

С далеких улиц городка донесся хриплый собачий лай; тихий сад обиженно встрепенулся с легким шуршанием, как будто потревоженный мощным дыханием какого-то огромного существа. Девушка, слегка вздрогнув, накинула на плечи муслиновый шарф — все вокруг было мокрым от росы. Наконец она пошла к дому.

Этой ночью Джослин долго не могла уснуть.

## Глава 5

Жиль приехал на следующее утро. В саду возле отеля он встретил Джослин и миссис Трэвис; они беседовали с молодым англичанином. Дамы подошли, чтобы поздороваться с Жилем, и тот сразу почувствовал, что в приветствии Джослин было что-то не свойственное ей, почти враждебное. Она старательно избегала его взгляда и, казалось, была всецело поглощена разговором с безуп-

<sup>1</sup> До свидания! (франц.).



речным молодым англичанином, витиевато распространявшимся о различных «системах» и подробнейшим образом объяснявшим их недостатки. Это был невозмутимый молодой человек довольно хрупкого сложения. В фигуре его был заметен какой-то томный изгиб. В его мягком голосе так же звучала истома, расслабленность, как у очень утомленного жизнью человека, уже ничего от нее не ожидающего. Он никогда не улыбался — наверное, потому, что утратил эту способность; на его бледном, ничем не примечательном лице выделялись лишь глаза, смотревшие на людей взыскательным, оценивающим взглядом.

— Все «системы» никуда не годятся, — в заключение сказал он. — В Монте-Карло, знаете ли, только двое могут что-то из них извлечь — старик Блор и Нильсен. Они просчитывают все, у них а-адское терпение.

Миссис Трэвис, прямо сидевшая в плетеном кресле и сложившая руки на коленях, внимательно слушала его, но не была с ним согласна — она сама играла по «системам», и ей не нравилось, что ее пытаются убедить в их бесполезности.

— Но я ведь своими глазами видела, как барон Циммерман позавчера выиграл пятьсот луидоров, а он играет по «системе», я знаю точно, — заявила она.

— Но вчера он их проиграл, — безучастно проговорил молодой человек. Он всегда был в курсе игорных новостей, это являлось его *métier*<sup>1</sup>, и миссис Трэвис очень его за это уважала.

— Но, может быть, он на этот раз не играл по своей «системе»? — предположила она.

— Почему вы так думаете?

— О, мне кажется, иначе он бы не проиграл.

Эта реплика давала яркое представление о характере миссис Трэвис: она никогда не верила тому, во что не хотела верить, и очень редко — тому, чего не видела собственными глазами.

— Факты против вас, знаете ли, — томно протянул молодой человек.

Голос его упал до шепота, точно англичанин истощил все свои силы в этой беседе. Он подтолкнул вверх свою шляпу так, что она съехала ему на затылок.

Жиль стоял немного поодаль, впившись глазами в Джослин. Два-три раза ему удалось перехватить ее беспокойный взгляд, скользивший по его лицу. Вспоминая безмятежность и теплоту ее вчерашнего прощального взгляда, он не мог понять, что случилось. Он был изумлен, и в душу его закрался страх.

Подойдя к девушке, он спросил:

— Хотите взглянуть на моего пони? Вы говорили, что вам это будет интересно.

— Да, — довольно равнодушно отозвалась она и последовала за ним к конюшне, оставив молодого англичанина на растерзание недоверчивой миссис Трэвис. По дороге Джослин была немногословна; на вопросы Жилия отвечала односложно, поглядывая на него украдкой все с тем же выражением растерянности и страха. Войдя в конюшню, она подошла к пони и, обвинив руками шею животного, прижалась щекой к его гриве. Она ласково заговорила с пони. Глаза ее из-под длинных ресниц излучали нежное сияние; Жиль ощутил неодолимое стремление быть рядом с нею, касаться ее. Он подошел к девушке и положил ладонь на загривок пони рядом с ее рукою. Джослин с неподдельным испугом сразу же отдернула руки; на лице ее выступил густой румянец. Жиль, не говоря ни слова, посмотрел на нее: во взгляде его ясно читались мука и вождление. Она отвела глаза. Наконец Жиль, не в силах больше сдерживать бурлившие в нем чувства, заговорил, и в его голосе послышалась та же растерянность, что была в ее взгляде.

— В чем дело, Джослин? Почему вы так...

Наклонив голову, она молча вышла из конюшни. Он остался стоять на месте, боясь оскорбить ее открытым преследованием.

Пони подошел и ткнулся влажным носом ему в руку. Жиль вышел из конюшни, болезненно зажмурившись от света. Девушка уже прошла к себе. В на-

<sup>1</sup> Профессией (франц.).

дежде, что она все же спустится к нему, он долго ждал, но она так и не вышла. В конце концов он уехал, почти обезумев от подозрений и тревоги...

После этой встречи он окончательно потерял голову. Днем и ночью Жиль думал лишь о том, чтобы быть около Джослин. Общепринятая мораль казалась ему теперь бесплотным призраком, становившимся поперек той дороги, по которой вела его страсть. Неутоленное вождение заставляло его страдать меньше, чем мысль, что он может принести Джослин несчастье. Страсть вызвала в нем смятение чувств, не позволявшее ему увидеть выход из создавшегося положения. Душа Жили открылась возвышенным порывам, таким, как стремление приносить пользу людям, готовность к самопожертвованию. Однако злая ирония заключалась в том, что эти благородные устремления пробудила в нем та самая причина, что вызывала желание слиться с девушкой, разметать все преграды, стоящие на пути к ней. Он думал о Джослин с благоговением, как о святой, однако отдал бы десять лет жизни за один лишь ее поцелуй. Его воля, ослабевшая за годы пассивного дрейфа по волнам жизни, робко пыталась вступить в борьбу со страстью; он принимал сначала одно решение, потом отказывался от него и приходил к другому, но в конце концов осознал, что не может ни оставить девушку, ни сделать ее счастливой.

В таком тревожном состоянии духа он совершал ежедневные паломничества со своей залитой солнцем виллы в Ментону, и каждый день нахлынувшие волны страсти поднимали его на полшага выше к неведомой ему самому еще цели.

Шикари, борзая, сопровождавшая его в этих походах и спавшая по ночам рядом с его кроватью, была единственным живым существом, хоть как-то скрашивавшим его жизнь в эти дни, ознаменовавшие конец его бывшего безмятежного существования. Собака стала для него чем-то вроде талисмана оттого, что ее обожала Джослин. Он, со скорбной усмешкой глядя на Шикари, думал, что какая-то часть тех ласк и нежных слов, которые она расточала борзой, перепадает и ему, поскольку оп хозяин собаки. Борзая словно чувствовала его настроение. Она дружески клала голову на его колени в те минуты, когда сознание его бунтовало против гнета людей и обстоятельств. Он пока еще мог контролировать свои поступки, по-прежнему был вежлив и предупредителен с женой, однако часто, глядя на нее, ловил себя на том, что пытается определить, насколько убавилось живости в ее лице и движениях, и тогда, ненавидя себя за это, отворачивался.

Каждое утро Жиль покидал виллу и под палящим солнцем отмерял по пыльной дороге пять миль на запад размашистой, торопливой походкой; каждый вечер под покровом сумерек медленно и понуро возвращался домой с искаженным лицом и шевелившимися губами. Он всегда ходил пешком в оба конца, и усталость приносила ему некоторое облегчение, избавляя от мучительных ночных раздумий. Ему не всякий раз удавалось увидеться с Джослин. Иногда в последний момент мужество оставляло его, и он, даже не пытаясь с нею встретиться, бродил совершенно подавленный по улицам городка, а вечером возвращался домой, проклиная свою трусливость. Его несчастье усугублялось тем, что оп теперь не понимал девушку. Иногда, неожиданно встретив его, она отшатывалась; если он случайно дотрагивался до ее руки, бледнела и с почти брезгливым выражением отдергивала руку, старалась не оставаться с ним наедине. В другой раз она держалась спокойно и дружелюбно. И это ее дружелюбие напоминало его еще больше, чем показное равнодушие, которое Джослин временами демонстрировала ему. Ему редко удавалось поймать ее ускользающий взгляд. Конечно, она догадывалась о том, что оп чувствует, она также не могла не замечать перепадов в его настроении. Временами он бывал с девушкой холоден, насторожен, до крайности молчалив. Порой в голосе его прорывалась нежность; потом Жиль опять становился таким, как обычно, — унылым и немногословным, но всегда — всегда — он смотрел на девушку голодными глазами. Когда ее окружали другие люди, его терзали муки ревности — он хотел, чтобы она уделяла внимание только ему. Нескольким раз он даже принимал решение оставить Джослин, не видеться с нею больше, но в конечном счете оказалось, что

он на это не способен. Однажды, когда она думала, что он на нее не смотрит, Жиль перехватил ее взгляд, в котором смешались удивление, страх, жалость и еще какое-то глубокое чувство; сердце его тогда так и захолонуло, но в следующий миг выражение это исчезло с ее лица, и оно стало загадочным и непроницаемым, как маска. Этот взгляд помог ему пережить не один день.

Он мысленно перебирал все мельчайшие подробности их встреч, все слова, сказанные ею, и даже те, которые, казалось, должны были вот-вот сорваться с ее губ, пытался прочесть мысли, отражавшиеся на ее лице. Несмотря на ее инстинктивное женское притворство и врожденную гордость, все это не могло укрыться от него; сердцем он видел ее смятение. Он пытался понять ее, как гибнущий от жажды пытается найти в пустыне воду, — удача для него означает жизнь, а неудача была равносильна смерти. Бежали дни и недели, а он выглядел все более измученным; под глазами его появились тени. Он терзался неопределенностью, не зная в точности, что она чувствует, на что ему надеяться и чем все это может кончиться. Он стал жертвой своей страсти и своих сомнений.

Однажды утром по дороге к отелю он неожиданно встретил миссис Трэвис, отправляющуюся с очередным визитом в Монте-Карло. Она сказала ему, что Джослин пошла гулять, взяв с собой книгу. Он проводил достойную даму до станции и, дождавшись, пока ушел ее поезд, направился кратчайшим путем через окраину городка к подножью холма. Он знал, что там было излюбленное место прогулок Джослин. Солнце пекло нещадно, стояла удушливая жара, от которой не было спасения ни в доме, ни на улице; пересохла даже все ручьи. Жиль миновал группу солдат в синих мундирах и белых бриджах, шедших вразброд, вздымая пыль, затем четырех без умолку болтавших девчушек верхом на осликах; за осликами брели погонщики, помахивая палками.

Он пошел по узкой улочке между двумя изгородями, густо увитыми шиповником, минуя дома, откуда тянуло запахом дыма и доносился собачий лай. Наконец он достиг долины, узкой, как коридор, расположенной между увитых виноградом склонов. У него не было уверенности в успехе его поисков, и это придавало ему мужество. Стараясь не задумываться над тем, будет ли Джослин рада его видеть, он стремительной походкой двигался к своей цели. Джослин нигде не было.

Он почти уже утратил надежду найти девушку и хотел было повернуть назад, как вдруг увидел ее. Джослин сидела на поросшем чебрецом склоне холма, она подперла подбородок ладонями, устроив локти на коленях; рядом лежала открытая книга. Сердце его дрогнуло и тревожно застучало; он остановился и стал думать, что делать дальше, однако в этот момент шум его шагов привлек внимание девушки. Она подняла голову. Жиль снял шляпу.

— Могу я составить вам компанию? Или мне уйти? — спросил он. Приподнявшись с земли, она испуганно взглянула на него. — Может быть, мне уйти? — с робостью повторил он.

— Так было бы лучше, — ответила она, но затем, как будто извиняясь за эти странные слова, протянула руку и воскликнула: — Ох, нет! Конечно, давайте поговорим, если вам хочется.

Он спустился к ней по скользкому склону, покрытому высохшей на солнце травой, и растянулся на траве рядом с девушкой. В долине благоухали миндальные деревья, шелестели сверкающей на солнце лиственной оливы и высокие кипарисы, напоминавшие часовых, охраняющих эти места. Перекликали кукушки, жужжали пчелы, по долине плыл звон колокольчиков — где-то вдалеке паслось стадо коров. В неподвижном воздухе был разлит душистый аромат чебреца и цветов.

— Я больше всего люблю этот час, — проговорила Джослин. — День как будто засыпает, отдыхает после того, как солнце прошло экватор. Вы слышите пчел? Какая колыбельная!

Она сидела, слегка склонив голову и улыбаясь. Жиль, как всегда не сводивший с нее глаз, заметил, что улыбка постепенно исчезла с ее лица, и на нем вновь проступили усталость и беспокойство. Он взял ее книгу и стал перелисты-

вать страницы, чувствуя, что это привычное занятие помогает удержать подступавшее к горлу рыдание. Внезапно девушка сказала:

— Зачем вселенной нужны люди? Они лишь нарушают ее гармонию. Как она была бы прекрасна, если бы не мы — ужасные, невыносимые создания!

Она вытянула перед собой руки, словно отталкивая какую-то грозившую раздавить ее тяжесть. Это движение болезненно отдалось в его сердце; он резко изменил позу и сел вполоборота к ней, стиснув переплетенные пальцы, — на него нахлынули тоска и озлобление.

Вдруг он почувствовал, что его мягко потянули за рукав. Обернувшись, он увидел такое жалобное, трогательное выражение на ее лице, что все прежние чувства испарились, и он думал теперь лишь о том, как сделать, чтобы в ее глазах снова, как обычно, заблестел огонек радости. Он заговорил в книгу, которую она листала, принялся кое-что зачитывать вслух, и лицо девушки постепенно прояснилось, она смотрела на него теперь приветливо и дружески. Тени сосен постепенно удлинились, и, наконец, лучи заходящего солнца озарили теплым светом склон холма. Джослин сказала:

— Мне пора возвращаться.

Она встала, но поскользнулась и упала бы, если б стоявший рядом Жиль не поддержал ее за талию. Он ощутил ее дыхание на щеке, тяжесть ее податливого тела, и глаза его засверкали от наслаждения, заставившего дрогнуть его сердце. Когда девушка встала на ноги, он еще мгновение удерживал ее в своих объятиях. Вдруг она с силой оттолкнула его от себя и, закрыв лицо руками, пустилась бежать вниз по склону холма. Жиль неподвижно стоял там, где она его оставила...

Через полчаса он тоже спустился вниз. У самой тропинки на стволе упавшего дерева сидела Джослин; она поднялась и, не сказав ни слова, пошла рядом с ним. Лицо ее пылало, под глазами виднелись круги; заметно было, что она только что плакала. Затаив дыхание, он взял девушку за руку и нежно сжал ее ладонь. Они молча пошли вниз по тропинке.

## Глава 6

Жиль беспокойно мерил шагами веранду своего дома; он ждал приезда Джослин. Его жена послала приглашение ей и миссис Трэвис с расчетом, что потом те поедут в Бордигеру, о чем обе женщины оповестили Ирму заранее. Дам сопровождал Нильсен, также получивший приглашение; перспектива провести целый день в обществе Джослин заставила его на этот раз отказаться от ежедневных трудов за игорным столом.

Маленькая вилла почти нависала над дорогой, ведущей в Корниче; она, казалось, глядела с отвесного обрыва в море, зыбившееся под шелест бриза до самой сапфирной линии горизонта, а ближе к берегу окружавшее огромную скалу тусклым бирюзовым полумесяцем, разрывавшимся лишь там, где сверкавшие на солнце хлопья пены переклестывали через серо-зеленые рифы. С одной стороны дороги на крутом обрыве стояла группа серебристых олив, чуть трепетавших листвою под свежим ветерком, с другой над дорогой нависали разбросанные по крутому склону пинии, недвижные и словно задумавшиеся. Заросли розовой герани и темно-красных бугенвилли казались рельефным узором, украсившим серые стены виллы; гирлянды разноцветных роз обвивались вокруг закрытых зеленых ставней.

По извилистой пыльной дороге брел старик, пригнувшийся под тяжестью связки пальмовых веток. С горки по направлению к мосту с грохотом съехала двуколка под аккомпанемент щелканья кучерского хлыста и криков «тпр-ру!». Перед фасадом виллы в белесой пыли сидели трое загорелых до черноты мальчишек; они весело болтали, перебрасывались плоскими камешками. Группа женщин в пестрых юбках с заткнутыми за пояс подолами полоскала белье в стоявшем на берегу чане; они негромко, деловито переговаривались, не отрываясь от работы. Слева от фасада, где дорога огибала сложенную из серых камней сте-

ну, несколько окутанных пылью пальм устремили свои вершины в небо; справа сквозь розовато-лиловые заросли глициний и томных гелиотропов можно было заметить заросшую мхом стену красивой высокой мавританской башни со сводчатым проходом, отделанным выцветшими добела камнями, на которой лежала тень высоких сосен, стоящих позади виллы; белая пелена тумана, переползшая через горные вершины, тянулась к белоснежным облакам, бредущим среди необъятных небесных просторов по течению ветра.

В углу сада, где растопыренные папоротникообразные листья и тускло-розовые плоды перечного дерева отбрасывали причудливые, похожие на перья тени, лежал на траве Шикари. Он устроил голову между лап и терпеливыми глазами глядел на хозяина, который в волнении не находил себе места.

Но вот наконец со стороны дороги послышался шум подъезжавшего экипажа. Жиль в сопровождении собаки устремился к винтовой лестнице с полукруглыми решетчатыми ступенями, которая вела вниз, к калитке. Экипаж остановился. Первой из него вышла Джослин. Перед тем, как взойти по лестнице, она нерешительно замедлила шаг, подняв голову и глядя на Жюлю сквозь переплетавшиеся ветви розовых кустов, обвивавших арку калитки. Он смотрел на нее, зажмурившись, он чувствовал, что эта картина в раме из живых цветов навечно запечатлится в его сердце: как девушка стоит и смотрит на него, не решаясь подняться, и розы вокруг нее, кажется, сплелись в шафрановый веночек.

Шикари тяжело спустился по ступенькам и, встав на задние лапы, положил передние на плечи девушки.

Ирма ожидала их в прохладной комнате на нижнем этаже. У нее был очень нездоровый вид, но гостей она приветствовала с неподдельной сердечностью. Жиль заметил, что она посмотрела на Джослин с каким-то странным, прозорливым выражением. Нильсен, вошедший следом за дамами, достал из кармана красивую китайскую чашечку и преподнес ее хозяйке.

— Я все ждал случая преподнести ее вам, моя дорогая, — сказал он с легким поклоном. — Мне подарил ее мой хороший др-р-уг из Июкогамы. — Лицо его приняло выражение шутивого ужаса. — Я все время мучился страхом, что ее р-р-азобьют мои коты. Это было бы хуже, чем если бы ее р-р-азбили какие-нибудь чужие коты.

Усталое лицо Ирмы, изжелта-бледное от постоянной боли, осветилось улыбкой. Джослин привезла ей букет цветов, коробку шоколада и тетушку, и она отметила про себя этот забавный набор подарков. Впрочем, ради справедливости она должна была признать, что последний подарок преподнесла себе сама, послав приглашение обоим женщинам. Она автоматически произнесла слова благодарности, в то время как ее загнанный, терпеливый взгляд перебегал от Джослин, устраивающей букет в узкой изящной вазе, к Жюлю, прислонившемуся к дверному косяку и не сводившему с девушки глаз. Жиль перехватил взгляд жены. Она усмехнулась. В глазах ее светились глубокое понимание и такая язвительная насмешка, что он вздрогнул: ясно, что ему уже больше нечего от нее скрывать. Он потупил взор, чувствуя, как в его душе странным образом слились и стыд, и сострадание. Подойдя к жене, он поправил ей подушку и, пробормотав извинения, вышел из комнаты.

Нильсен всегда искренне восхищался хозяйкой дома, ее умом и вкусом, изысканными манерами. Между ними завязался оживленный разговор. Миссис Трэвис с деловым видом инспектировала серебро в двух шкафах у противоположной стены; она не пропустила ни одного предмета и каждый раз выражала свое одобрение возгласом. Предоставленная самой себе Джослин беседовала с двумя красногрудыми птичками, сразу же почувствовавшими к ней доверие. Нервы ее были на пределе. Напряженность ситуации, необходимость принять какое-то определенное решение — все это мучило ее, как неотвязная боль. Короткие восклицания ее тетушки, томное остроумие Нильсена, взгляд Ирмы, всеведущий и в то же время такой добрый, — все это выводило ее из себя. Лицо девушки то краснело, то бледнело, глаза беспокойно блуждали; ее раздражала эта изящно обставленная уютная комната, казавшаяся тесной из-за того, что была отгорожена широкой террасой от сияющей жизни там, за окном. В девушке рос-

ло чувство протеста; ей не терпелось попасть на улицу, туда, где ярко светило солнце, прочь от мучительных мыслей, роившихся в ее мозгу.

Ощувив безмерное облегчение, когда голос Жилия возвестил, что экипаж подан, она вышла наконец на улицу и глубоко вздохнула, а в ушах ее еще звучали последние слова Ирмы:

— Прощайте, моя дорогая, вы так молоды и так прекрасны, наслаждайтесь жизнью, это самое правильное, так и надо...

Пара чубарых лошадок под звон колокольцев на сбруе мчала их экипаж вниз по кругой извилистой дороге на Бордигеру, оставляя позади клубы пыли. С каждым шагом, отдалявшим их от виллы, настроение девушки поднималось; душа ее, казалось, растворялась в ослепительном солнечном свете, мелькавших отблесках улыбавшегося моря, горячем аромате сосен, струившемся с холмов над дорогой. Джослин весело махнула зонтиком группе статных крестьянских девушек-итальянок, неторопливо шедших на рынок, и с улыбкой крикнула им: «*Vuon Gioio*»<sup>1</sup>. Цветы, привязанные ею к поручню, посылали свое благоухание сидящему напротив Жилю. Девушка не смотрела на него; казалось, она забыла обо всем, кроме напоенной южным теплом жизни, кипевшей вокруг.

Когда они въехали на горку, навстречу им попался человек с пышными бакенбардами, за плечами у которого на ремне висело ружье. Нахлобучив на лоб тяжелую фетровую шляпу, он в сопровождении крупного, вылинявшего пса шел охотиться на певчих птиц.

— *Le sport!*<sup>2</sup> — брезгливо сказал Жиль, передернув плечами.

— Негодяй! — вскричала Джослин. Лицо ее искажилось от внезапного гнева. — Мне хочется свернуть ему шею!

На лицах ее тетушки и Нильсена изобразилось удивление. Но Жиль смотрел на девушку с сочувствием — он знал о ее горячей любви к животным и потому понял ее.

— Вы не должны сердиться на беднягу, — промурлыкал Нильсен. — Право, он не так уж виноват в том, что вынужден зарабатывать деньги таким способом. Но Джослин все еще была вне себя. Гнев ее перекинулся на Нильсена.

— Терпеть не могу людей, которые сперва говорят, а потом думают! — воскликнула она.

Нильсен оторопело взглянул на нее в монокль.

— Прошу прощения, — после долгой паузы выговорил он.

— Дорогая моя! — укоряюще увещевала ее миссис Трэвис. Невежливость, которую позволяли себе другие, она считала преступной, поскольку сама в таких случаях испытывала определенную неловкость.

— О! Вы прощены, — заявила Нильсену девушка, чей внезапный гнев уже испарился, тем более что «спортсмен» исчез из поля их зрения. — Только не говорите больше водобных вещей.

Ощувив внезапное раскаяние, она улыбнулась ему подкупающей улыбкой.

Нильсен, уже давно списывавший мелкие обиды, нанесенные ему девушкой, на счет своеобразия ее личности, с улыбкой кивнул.

Экипаж миновал Вентимилью и катил теперь по ровной дороге. Они проезжали пахучие сыромятни, городскую таможенно, унылые и захудалые придорожные трактиры.

Вышедший из одного из них чумазый итальянец, заметив Жилия, приподнял свою широкополую шляпу. Жиль в ответ кивнул.

— Что это за страшилище? — любопытствовала Джослин.

— Это мой друг, — серьезным тоном ответил Жиль. — Он иногда наносит профессиональные визиты на нашу виллу. Его профессия в здешних местах одна из самых почетных — он шарманщик.

— *Ah! Mais ce n'est pas une profession, ça c'est une carrière vous savez*<sup>3</sup>, — осторожно вставил Нильсен.

<sup>1</sup> Добрый день (*итал.*).

<sup>2</sup> Здесь: Спортсмен! (*франц.*).

<sup>3</sup> Ах! Это же не профессия; это удачная карьера, знаете ли (*франц.*).

Они уже проезжали по длинным унылым улицам современной Бордигеры, совсем не похожим на живописный старый город; архитектура нового города была слишком претенциозной и безвкусной. Наконец они добрались до пальмовой рощи за городом.

Решено было устроить пикник на берегу моря. Они вышли из экипажа и стали спускаться к пляжу. Устроились в тени огромного, обточенного морем валуна и позавтракали.

Жиль помог устроиться миссис Трэвис в экипаже — достойная дама решила немного вздремнуть. Снова спустившись вниз, он увидел у самой воды Джослин и приближавшегося к ней Нильсена. Жиль ощутил внезапный укол ревности.

Он зажег сигару, надвинул на глаза шляпу и, выпуская изо рта густые клубы табачного дыма, долго и пристально смотрел на отпечатавшийся на песке маленький след ноги Джослин.

## Глава 7

Джослин отошла в сторонку от остальных — ей хотелось побыть одной. Волны стелились к ее ногам. Она не знала точно, к чему стремилась, как смятенная река к морю, и где, в какой стороне расстилается безмятежная, мечтательная гладь, где душа могла бы обрести покой. Внезапно она с неудовольствием обнаружила, что следом за ней идет Нильсен. Он раскрыл над нею свой полосатый зеленый зонт; после того, как он робко спросил, не побеспокоил ли ее, девушка нехватило духа отослать его прочь.

Они вместе дошли до гряды крупных валунов, уходящей от берега в воду.

— Заберусь-ка я вон на тот небольшой зеленый камень, — воскликнула Джослин, указывая на самый дальний из валунов, отделенный от остальных полосой бурлившей на мелком месте воды. Она мгновенно скинула туфли и чулки, задрала до колен юбку, пересекла отмель и стала взбираться по скользкому, поросшему зеленым мхом крутому склону валуна.

Нильсен следил за нею с берега с видом комического отчаяния и восхищения.

— Осторожнее, моя дорогая юная леди, — то и дело вскрикивал он. Монокль его запотел от влажного дыхания моря, зонт бесцельно болтался за спиной.

— Идите сюда! — воскликнула Джослин. — Вы ведь, кажется, были атлетом?

— В мое время атлеты не карабкались по скользким скалам за молодыми девицами, — жалобно возразил Нильсен, однако галантность заставила его снять ботинок и явить миру розовый носок, после чего он в нерешительности застыл на одной ноге.

— *Mais en vérité*<sup>1</sup>, — пробормотал он себе под нос, — она отнюдь не кисейная барышня, *cette chère*<sup>2</sup> Джослин.

С этими словами он поспешно снял носок.

Джослин, добравшись до вершины скалы, опустила юбку и, прикрыв рукой глаза от солнца, посмотрела поверх головы стоявшего в нерешительности Нильсена на извилистую береговую линию залива, очертания которого повторяла гряда скалистых, местами покрытых снегом гор.

Был один из тех безоблачных дней на Ривьере, когда под яркими лучами солнца берег теряет многоцветье красок, растворяющееся в ослепительной голубизне небес и моря. Лазурные очертания Эстрелльских скал на западе тонули в более светлой лазури небес; все видимые со скалы холмы и мысы утопали в чудесной сиреновой дымке. Один самый высокий, покрытый снегом горный пик вознесся над всей округой, как старый великан с шапкой белоснежных волос.

---

<sup>1</sup> Нет, право же (франц.).

<sup>2</sup> Эта милая (франц.).

Солнце, стоявшее в зените, пристальным светом освещало белые домики на желто-серых каменистых горных склонах. Над старинными зданиями Бордигеры возвышалась колокольня, увенчанная небольшим черным крестом, а рядом серебрились на солнце купы оливковых деревьев. Вдоль отрогов дальних гор были там и сям разбросаны удаленные друг от друга хибары древней итальянской деревушки.

Джослин нагнулась и на дне бирюзовой лунки между замшелыми зелеными камнями увидела смутные тени рыб в серо-голубой воде. На соседнем камне лениво удили рыбу два босоногих итальянца в живописных костюмах; у них были длинные двенадцатифутовые удочки из гибкого бамбука. Ветер взметнул волосы девушки; она обернулась и стала смотреть в морскую даль, вдыхая бодрящий соленый воздух и испытывая от этого острое наслаждение.

На нее нахлынуло какое-то бесшабашное веселье, как на человека, долгое время пробывшего в заточении, который наконец-то вдохнул пьянящий воздух свободы. Она всей душой устремилась в море, в соленое море, раскинувшее перед ней свои бескрайние голубые просторы.

Когда летящий ветер своим крылом коснулся ее лица, губы Джослин тронула блаженная улыбка. У нее появилось безумное желание раскинуть руки и устремиться в долгий, нескончаемый полет к вольной жизни подобно маленькому рыбацкому шлюпу с треугольным парусом, гонимому ветром от берега, — прочь от условностей и вечной необходимости сдерживать свои чувства, прочь от всех своих опасений, от временами охватывавшего ее страха, от переполнявших ее неосознанных желаний — к одиночеству, безмерному, как само море, туда, где нет места ни одной живой душе, кроме нее самой, где никто не будет пытаться подчинить ее своей воле, к одиночеству, в котором могли бы утонуть все тревоги и сомнения.

Невозмутимый вежливый голос Нильсена окликнул ее, выведя девушку из задумчивости:

— Я иду, дорогая моя юная леди, немного терпения, здесь, видите ли, очень скользко...

Он осторожно пробовал ногой каждый камень перед тем, как на него ступить.

— Вернитесь! — с досадой крикнула девушка. — Я сейчас спущусь.

Что толку было от ее безумных мечтаний! Она была обречена на это вечное боренье чувств, на одиночество среди людей, которые не умеют им наслаждаться и поэтому никогда ее не поймут. Лицо ее затуманилось, на нем проступило обычное выражение обреченности. Она вздохнула. Дождавшись, пока Нильсен добрался до берега и тем самым освободил ей дорогу, она вышла на берег сама.

— Какое скучное это Средиземное море, — сказала она, зайдя за валун, что бы надеть чулки и туфли. — Ни приливов, ни отливов; что за однообразие! Удивительно, как это у него хватает энергии биться о берег!

— Вы бы не говорили так, если бы видели его во время шторма, — послышался жалобный голос из-за валуна, где осмотрительный швед также надевал ботинки.

— Куда ни глянь, оно бьется о берег с одинаковой силой, — задумчиво произнесла Джослин.

Нильсен появился из-за валуна, держа в руке шляпу и любовно приглаживая свою густую шевелюру соломенного цвета.

Джослин тихо рассмеялась. Она облюбовала себе удобный камень и уселась на него, насмешливо поглядывая на Нильсена. Он шагнул к ней, и его карие глаза сверкнули.

— Вы сами не знаете, как вы очаровательны! Нельзя ли мне... — он склонил голову к ее руке.

— Пожалуйста, не надо! — нетерпеливо воскликнула девушка. Ее сейчас раздражали сентиментальные пассажи влюбленного шведа.

— Простите меня, — смиренно проговорил Нильсен. — Вы, знаете ли, так прекрасны!



— Прошу вас, не надо говорить мне таких вещей, — сказала Джослин.

Она встала и дружески протянула ему руку; Нильсен осторожно пожал ее и с глубоким вздохом отпустил.

Джослин с трудом подавила желание рассмеяться.

— Что там за корабль? — спросила она, когда они пошли по направлению к остальным.

Нильсен вставил в глазницу монокль.

— Рейсовое судно, идет в Индию и Китай, по дороге зайдет в Геную.

Джослин проводила глазами большой пароход, который, стремительно рассекая волны, направлялся в далекие страны. Она смотрела на него с жадностью и тоской во взгляде. Нильсен интуитивно угадал ее мысли.

— Если вы выйдете за меня замуж, то сможете делать все, что захотите, в том числе и путешествовать, — неожиданно сказал он, указывая на пароход. — Я тепер-р-рь не так уж беден, знаете ли, в последнее вр-р-емя мне очень везло с моей «системой».

В голосе его была неподдельная серьезность, составлявшая разительный контраст со свойственной ему несколько иронической манерой разговора. Упоминание о «системе», о которой он, суеверный, как все игроки, никогда не говорил, поразило Джослин. Она остановилась и посмотрела на него.

Да, он, без сомнения, говорил всерьез; беспощадные лучи солнца высвечивали на его лице множество мелких морщин и складок; он был бледнее обычно, карие глаза его выражали чуть ли не собачью преданность.

Она проигнорировала первую часть его фразы.

— Боюсь, «система» отнимает у вас слишком много времени.

В этот момент она заметила вдали фигуру Жилия, прислонившегося к скале, и вдруг ощутила какое-то физическое отвращение к стоявшему перед ней человеку.

— Но поймите же, — вскричал Нильсен, — я люблю вас! Люблю вас! Тут, понимаете, ничего уже не поделаешь. — Он протянул вперед руки, как будто хотел схватить ее; лицо его исказилось.

— Вы что, с ума сошли? — воскликнула девушка, отстраняясь.

Она быстрым шагом пошла прочь по твердому, слежавшемуся песку, и в эту минуту ее охватило какое-то странное чувство наслаждения, граничившее с болью. Она уже позабыла про Нильсена, но слова «Я люблю вас! Люблю вас!» звучали в ее ушах, как будто породили вокруг гулкое, неутихающее эхо; они уже не были словами или фразой, а превратились в некую вдохновляющую ее силу. Все ее существо отозвалось ответным трепетом, лицо залил густой румянец; на ходу она нервно обрывала лепестки приколотой к платью желтой розы. Нильсен остался стоять на месте, глядя ей вслед. Через минуту, однако, он уже шел за нею и снова говорил какие-то банальности тягучим, заунывным голосом; на лице его не было заметно никаких следов недавних волнений.

Когда они присоединились к остальным, Джослин присела с тетушкой возле уходящей в море гряды камней, между которыми бились волны. Она с деланным интересом слушала историю, которую рассказывал Нильсен. Миссис Трэвис, обмахиваясь веером, вяло жаловалась на жару. Она предложила отправиться в пальмовые сады, где было тенисто и не так уж душно.

Жиль шел первым, ему не терпелось остаться наедине с Джослин — слишком долго он мечтал об этом. Миссис Трэвис с первого взгляда пришла в восторг от цветов и кустарника и подрядила Нильсена, гораздо лучше ее говорившего по-французски, заключить от ее имени сделку с цветоводом, чтобы тот каждую неделю посылал ей цветы. Сама она стояла рядом, чтобы при необходимости прийти ему на помощь — ко всем прочим достоинствам этой дамы ее отличала непоколебимая вера в свое умение торговаться.

Жиль и Джослин опередили всех и вскоре исчезли за густой завесой пальмовых листьев. Сад как будто дышал; масса разнообразных цветов вместе с благоухающим кустарником затопили его густыми ароматами.

— Ну прямо рай земной, — промолвил Жиль. — Кое-где, правда, подстриженный и засушенный.

— Да, — согласилась девушка, — «владыкой была здесь рука садовода». Но пахнет хорошо. Я люблю мои дорогие цветы.

Она отломала ветку от розового куста и приколотла ее к своему платью рядом с желтой розой.

— Люблю красть цветы, я вам не говорила? Ничего не могу с собой поделаться.

Они шли по узкой тропинке, плавно поднимавшейся в гору. Она привела их к поросшему колючими кактусами и неказистыми грушевыми деревьями скалистому бугру, на вершине которого росла раскидистая олива, чьи ветви, колеблемые ветром, образовали некое подобие шатра. Джослин села под деревом и стала смотреть вниз, на сплошной ковер листвы, скрывавшей часть сада. В белой юбке и бледной серебристо-зеленой блузке она была похожа на дриаду; сходство это стало еще более заметным, когда девушка прислонилась к стволу и причудливые отблески солнечного света, пробивавшиеся сквозь крону, весело заиграли на ее одежде.

Позади Джослин и Жилия находилась голая каменная вершина бугра; там кое-где стелилась виноградная лоза и росли розовые кусты, оттеняющие грубый рельеф желтовато-серых камней. Перед собой они видели сплошные заросли пальм и других деревьев, а еще дальше теснились вдоль берега невзрачные белые домишки, тянулась прямая линия железнодорожных путей, и все это напоминало какой-то поселок в субтропиках. Над глубокой долиной под высоким круглым холмом, заросшим оливами и глянцевыми зелеными смоковницами, на фоне сплошных пальмовых зарослей скромно возвышался шпиль церквушки.

Жиль, опустивший поля своей панамы, подставил лицо солнцу и смотрел вверх, на Джослин. Ее красота и овладевшее им страстное томление лишили его дара речи. Девушка сидела, положив руку на загривок Шикари, и нюхала приколотые к платью цветы; она что-то тихонько напевала и чуть раскачивалась в такт. Со щек ее не сходил румянец, глаза казались особенно ясными от наплыва каких-то странных чувств.

Она пела незамысловатую финскую песенку, которую он хорошо знал. У нее был мелодичный, приятный голос. Вдруг она прервала свое пение и испуганным жестом показала Жилию на большую овчарку с желтыми клыками, появившуюся откуда-то из-за бугра. Шикари, вскочив, сердито заворчал и оскалится. Оба пса с рычанием сблизилась, и не успел Жиль подняться, чтобы удержать свою борзую, как они вцепились друг другу в глотку и клубком покатались по траве. Жиль вскочил на ноги, крепко ухватил Шикари за ошейник и изо всех сил пнул ногой овчарку, так что она кубарем полетела вниз по склону холма.

Жиль на мгновение обернулся и увидел, что Джослин обхватила руками шею Шикари, а пес рычал и одновременно лизал щеку девушки. В следующую секунду овчарка опять с диким воем набросилась на Жилия, пытаясь ухватить его за горло. Молниеносно выбросив перед собою руки, он схватил ее за шею и упал навзничь.

Джослин видела, как он потерял равновесие и упал; ей показалось, что все кончено, что эти страшные клыки вот-вот сомкнутся на горле Жилия. Облачко пыли поднялось с сухой земли и клубилось в том месте, где человек боролся со зверем. Бессознательным, защищающимся от жуткого зрелища жестом она прикрыла глаза руками. Освобожденный Шикари метнулся на помощь к хозяйну.

В течение одного ужасного мгновения Джослин стояла неподвижно, потом с отчаянным возгласом кинулась к месту схватки, но борьба уже заканчивалась. Овчарка, почти доставшая уже зубами шею Жилия, повернулась, чтобы атаковать прежнего врага. Жиль схватил палку и наградил осатаневшего зверя увесистым ударом, наполовину оглушив его.

Через мгновение Жиль уже крепко держал обоих псов за ошейники; стан его напрягся от усилий, необходимых, чтобы удерживать разъяренных собак на расстоянии друг от друга, лицо было совершенно бледным, одежда в пыли, из

царапин на шее текла кровь. Наконец он отпустил усмиренную овчарку; та неуверенной трусцой, поджав хвост, сбежала с холма и исчезла. Тогда он выпрямился, тяжело дыша и все еще удерживая яростно рычавшего Шикари.

Джослин, пошатываясь, подошла к Жилю.

Задышавшись от волнения, она простерла к нему руки.

Почувствовав на плечах ее ладони, он внезапно осознал, что они стоят лицом к лицу. В момент жестокой схватки, когда он напряг все силы, когда нервы его были на пределе, он совершенно забыл о Джослин, ощущая лишь накал борьбы. Но кровь его все с той же бешеной силой пульсировала в жилах, и прикосновение ее рук было подобно искре, попавшей в бочку с порохом. Страсть с удесятенной силой вновь нахлынула на него.

Он смотрел на Джослин сверкавшими глазами, губы его дрожали.

— Вы ранены, Жиль? — спросила девушка.

Взгляд ее был устремлен на его лицо, зрачки расширились, рот чуть приоткрылся, губы тряслись.

— Милая! — воскликнул он. — Вы действительно обо мне беспокоились?

Она взглянула на него испуганно, не понимая, о чем он ее спрашивает.

— Беспокоилась? Да...

— Я люблю вас, Джослин! Я люблю вас! Боже мой, что я говорю!

Он опустил голову. Рука Джослин скользнула вверх и с какой-то застенчивой лаской пригладила ему волосы. Подняв голову снова, он увидел, что глаза девушки влажны, в них светится нежность.

Он едва не задохнулся от счастья, сердце его дрогнуло, однако слезы в ее глазах помогли ему взять себя в руки.

— Дорогая моя, — сказал он, — простите меня, я не смог удержаться. Забудьте то, что я сказал, не сердитесь. Я не сумел совладать с собой — вы ведь так прекрасны... так прекрасны... После всего, что было, вы, наверное, догадались...

Он говорил короткими, отрывистыми фразами, с трудом переводя дыхание.

Она улыбалась ему обреченно, грустно, и в какое-то мгновение он заметил, что в ее глазах, словно откровение, блеснула искорка любви. Губы ее все еще дрожали, руки машинально отряхивали пыль с его костюма.

Потом она бросила на него быстрый взгляд.

— Я так испугалась, — проговорила она. — Я думала... — И она, содрогнувшись, прикрыла руками глаза.

Он накрыл ее ладони своими и замер. Плечи ее вздрагивали. Он был слишком счастлив, чтобы говорить, и боялся, да, боялся тех страстных слов, что готовы были сорваться с его языка. Сухие листья оливы зашуршали над ними; от пасшегоса внизу, возле дороги, стада коров донесся звон колокольчиков.

Послышавшиеся невдалеке голоса нарушили молчание. Они откликнулись на зов миссис Трэвис и спустились с холма. По дороге Жиль нежно сказал девушке:

— Что бы ни случилось, милая, это был лучший час в моей жизни.

Они все вместе сели в экипаж и отправились прямо домой, не заезжая на виллу. По дороге они подвезли Нильсена до железнодорожной станции в Вентимилье. На обратном пути швед был крайне молчалив. Прощаясь, он сказал Джослин:

— Придется возвращаться в Монте-Карло и просить прощения у парок<sup>1</sup> за мое бегство.

Когда они поднимались на последний холм перед въездом в Ментону, по всему городку уже зажглись вечерние огни, тусклые и теплые; солнце же почти скрылось за Эстрелльскими скалами. Уставшие лошадки старательно одолевали крутой подъем, кивая головами себе в такт.

Джослин и Жиль вышли из экипажа и пошли пешком. Не доходя немного до вершины холма, девушка остановилась и сказала со вздохом:

— Взгляните! Вечер нисходит на город как тихое, краткое благословение...

<sup>1</sup> Парки — в Древнем Риме богини судьбы. (Прим. переводчика).

— Да, — промолвил Жиль. Глаза их на мгновение встретились, но никто больше не нарушил тишину.

Когда они приблизились к отелю, Жиль стал прощаться. Стоя на ступеньках, Джослин обернулась.

— *Buona Sera*<sup>1</sup>, друг мой. *Buona Sera!* — Она еще раз порывистым движением протянула ему руку. Глаза девушки в неверном свете далеких огней казались неестественно большими. Жиль неподвижно стоял со шляпой в руках, пока она не скрылась из виду.

## Глава 8

Солнце зашло, оставив после себя бледное серебристо-зеленоватое сияние над резкими очертаниями горного хребта. Над этим серебристым ореолом стояли вытянутые острова пурпурных облаков, а далеко на западе дымчатый желтый свет угасал над Эстреллами. Маленькая звездочка мерцала над горными пиками, как чей-то светлый дух; вершину, называвшуюся Тэт-дю-Шин, или Голова Китайца, окружала кольцом цепочка огней Монте-Карло, поблескивавших в сгущавшейся тьме.

Вдали, над глубокой долиной, всполохи малинового света отмечали место, где на заросшем лесом горном склоне горел одинокий костер. К источаемому апельсиновыми деревьями аромату примешивался плывший в теплом воздухе дымок от горевшей древесины. Воздух был наполнен обычными для раннего вечера звуками, в которых смешался лай собак, щелканье кучерских кнутов, едва уловимый рокот человеческих голосов, гул отправлявшихся поездов; фоном всему этому служили вздохи волнующегося моря и кваканье лягушек.

Жиль, как лунатик, брел обратно на свою виллу.

«*Buona Sera! Buona Sera!*» — звучали в его ушах слова девушки. Кровь бурлила в его жилах, сердце бешено стучало. Он позволил страсти достичь своего апогея. Образ Джослин стоял перед его глазами, и он шел почти наугад, не различая дороги. В тени каждого из росших по обеим сторонам шоссе деревьев ему виделось ее бледное лицо, нежный взгляд ее черных глаз из-под широкополой шляпы.

Так шагал он в гору, словно одержимый, по дороге к мосту Сен-Луи. Жандармы, мимо которых он прошел у таможни, подозрительно посмотрели ему вслед.

— *Buona Sera!* Смотри, как он вышагивает, этот тип! *Diable enragé d'un Anglais*<sup>2</sup>. *Peste!*<sup>3</sup> Судя по походке, он не из игроков. *Buona Sera, Signore!*<sup>4</sup>

В конце концов они все-таки решили, что он сорвал банк.

«*Buona Sera!*» — звучало над мостом, над крутым обрывом, уходящим к темным глубинам реки, над домишками, в окнах которых мерцал свет. Жиль ощущал благоухание темных волос Джослин во всех вечерних ароматах, в доносившемся от берега солоноватом запахе, в хвойном духе возвышавшихся над дорогой редких сосен.

«*Buona Sera! Buona Sera!*» Слова эти слышались в далекой перекличке лягушек, в шепоте плескавших о берег волн.

Переведя дух после восхождения по крутой горной дороге, Жиль посмотрел поверх скал вдаль, на запад, где все было залито спокойным вечерним светом, и мысли его вновь обратились к девушке — он вспомнил, как она стояла на ступеньках отеля и махала ему рукой. Как любил он ее стройную изящную фигурку, изгиб ее нежной шеи, классические линии профиля, тонко очерченный подбородок! Он рисовал ее в воображении, как она сидит под оливой, глядя

---

<sup>1</sup> Доброй ночи (*итал.*).

<sup>2</sup> Совершенно не в себе этот англичанин (*франц.*).

<sup>3</sup> Черт возьми! (*франц.*).

<sup>4</sup> Добрый вечер, синьор! (*итал.*).

вверх, в небо, сквозь ажурное переплетение ветвей; вспоминал ее длинные гибкие руки, покоившиеся на коленях. Он чувствовал острое, неизъяснимое наслаждение оттого, что сказал ей — на радость им обоим или на горе — о своей любви, и безграничное, полное нежности сострадание ее робкому молчанию, легкому, незащитному трепету ее рук, быстрому взгляду затуманенных влагой черных глаз.

Она з н а л а — и этого у него уже не отнимешь; она з н а л а — и была рада это узнать.

Сейчас, когда затронуты были глубочайшие струны его души, которых долгие годы никто не касался, они зазвучали все вместе в полную силу. Могучее неудовлетворенное желание, до сих пор довольно смутно ощущавшееся его глубоко эмоциональной натурой, властно заявило о себе; резко проявился и свойственный ему азарт. Ему захотелось померяться с жизнью силами.

Наконец он добрался до своей утонувшей в ночном благоухании виллы и вошел, внезапно ощутив крайнюю усталость. В неосвещенной гостиной он упал в глубокое кресло и, обессиленный, почти сразу уснул.

Ирма отдернула занавес, отделявший ее будуар от гостиной. Она смотрела на мужа. Казалось, сон застиг его в ту минуту, когда он обдумывал какую-то тяжелую мысль. Он выглядел как человек, потерпевший крушение. Длинные его руки беспомощно свисали с подлокотников кресла, голова была откинута, легкая, почти слабоумная улыбка подрагивала в уголках рта. Полоска желтого света от полувзатененной лампы, которую Ирма держала в руке, пересекала его загорелое лицо, придавая чертам какую-то заостренность и высвечивая морщины. От этого лица хотелось поскорее отвернуться. Даже в снах, которые он видел, Ирме не было места. Она поставила лампу на стол и с гримасой боли, прислонясь к стене, предалась размышлениям.

Ее муж! Два слова эти были лейтмотивом ее раздумий. Она снова, склонясь над Жилем, внимательно разглядывала его, словно надеялась отыскать в его лице какой-то для себя ответ. Каким он выглядел усталым! У него лицо незнакомого человека! Десять лет замужества — и незнакомое лицо! Губы ее искривила усмешка. О да, прекрасное, мужественное лицо! Благородной формы лоб и подбородок! Сейчас-то его не закрывала маска, которую он носил все эти десять лет. Она читала в его чертах то, о чем прежде никогда не догадывалась, и новый отпечаток этот был оставлен другой женщиной! Быстрым жестом Ирма провела исхудавшей ладонью по глазам. В ее собственной душе обнаружилось нечто такое, чего она не ожидала. Она не думала, что ей придется испытать такую боль, такой острый пароксизм ревности.

Ее склоненная фигура была неподвижна — Ирма думала. Перед ее глазами встал день ее свадьбы, день, когда она послушно и безмятежно пошла на поводу у родителей. Этот день ничем, кроме ее белоснежного наряда, не выделялся из череды последующих дней... О да, ничем — один из шеренги одинаковых, унылых призраков.

Ее губы задрожали. Она произнесла про себя: «Я ни в чем его не виню» — и содрогнулась от гула этих слов, промчавшихся вдоль всего ее прошлого. Что значил для нее его уход? Кем он для нее был? Уход от нее! Он ведь никогда по настоящему не принадлежал ей. Перед глазами ее вновь предстала Джослин — такая, какой она видела девушку в последний раз, когда та, смеющаяся и грациозная, стояла в этой же комнате и разговаривала с птицами. Тупая, мучительная боль — спутница ревнивой зависти — нахлынула на Ирму. Она чуть не закричала. Кричи не кричи, подумала она, кто услышит...

Она добралась до окна и стояла, прижав руку к груди и вглядываясь в теплую туманную ночь. Тень ее поникшей фигуры в белом одеянии пересекала полосу света от неровно горевшей лампы.

Да, когда-то он был очень добр к ней, добр и внимателен — немногие мужчины могли бы так заботиться о беспомощной колоде, которой она была. И чем же она его отблагодарила?.. А сейчас уже слишком поздно! Что ж, это естествен-

но, то, что произошло. Но как ей остро, мучительно хотелось отменить эту действительность. Она почувствовала себя усталой, вконец измотанной и подумала: «Ему не придется долго ждать!»

Обернувшись, она увидела, что Жиль проснулся. С его уст сорвались тихие слова: «Ах, это ты!»

И снова удушливая ревность сжала ей горло, снова перед глазами ее мелькнул образ девушки, но она постаралась, чтобы голос ее не дрожал.

— Не обращай внимания, — звенящим голосом сказала она, — я уже ухожу.

— Прости, — послышалось в ответ.

Ирма отвернулась от окна, и ее поникшая фигура распрямилась. Взяв в руки лампу, она с трудом двинулась к двери.

— Спокойной ночи, Жиль. Успокойся, тут ничего уже не поделаешь, ты же понимаешь — ничего.

Голос ее звучал теперь ровно и монотонно, как будто она с трудом исторгла из себя эти слова. Только глаза ее, когда она бросила на него прощальный взгляд, смотрели с укором.

## Глава 9

В своей спальне Джослин предавалась размышлениям. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и оттуда доносилось приглушенное ворчание, сопровождавшееся шумным плеском воды в ванне. Достойная миссис Трэвис готовилась отойти ко сну; ей нравилось разнообразить этот процесс обсуждением событий минувшего дня, которые никогда не выглядели такими значительными, как в те минуты, когда она с ними прощалась.

Джослин, одетая в одну лишь ночную рубашку, прислонилась к раме открытого настежь окна и курила сигарету в длинном янтарном мундштуке. Затянувшись, она сделала энергичный выдох; дымок, подхваченный воздушным потоком, в целостности и сохранности выплыл наружу и там, за окном, принял форму колец и завитков.

Она слышала голос тетушки, но в смысл ее слов не вникала, чего от нее и не требовалось: миссис Трэвис на ночь глядя предпочитала слушателя в своем собственном лице.

— Какими жаркими становятся ночи! Нам нельзя больше оставаться здесь, никто не останется до июля, мы и так задержались. Я не осталась бы ни на один день, если бы не моя новая «система». Убеждена, что в ней что-то есть.

Наконец она показалась в дверях и с обидой в голосе изрекла:

— Как похудел Жиль! — При этих словах миссис Трэвис бросила пронизательный взгляд на племянницу. — Каждый раз неловко себя чувствую, когда вижу его, — добавила она.

Для нее было незыблемым правилом, что порядочный человек обязан быть слегка упитанным. То, что его душевные переживания отражаются на внешнем облике, — это она считала дурным тоном. Никогда миссис Трэвис не ожидала от Жили подобной безвкусицы. Давний опыт уверил ее в неуязвимости племянницы — от ее нежной, атласной кожи отскакивало так много стрел Амура, что из них можно было составить приличный музей в назидание самонадеянным мужчинам. Трудно представить, чтобы Джослин всерьез заинтересовалась Жилем.

Во-первых, он был женат, а во-вторых, он приходился им обоим каким-то дальним родственником по мужу миссис Трэвис.

Жиль был непогрешим! И тем не менее ее обижало убавление его массы; возможно, она расценивала это как убыль ее личной собственности и посягательство на некоторые принципы высшего общества.

— Посовегию-ка я Жилою пить рыбий жир, — провозгласила она. — Не думаю, что такая худоба приличествует мужчине.

Джослин сделала нетерпеливое движение, оставшееся незамеченным. Миссис Трэвис, которая уже скрылась в своей комнате, продолжала монолог:

— Сегодняшний день почти весь пропал. Мы не должны столько времени тратить на прогулки, мне сегодня надо было быть в казино. Конечно, нам придется месяц пробыть здесь, но первого июня мы должны уехать. Напомни, чтобы я отколола розы с моей новой шляпки...

Джослин повторила по себе это слово «уехать!», стараясь постичь его смысл. Ее как будто окатило холодным душем. Она нетерпеливо вскинула голову. Лицо ее сейчас казалось совсем юным, почти детским в обрамлении распущенных темных волос, волнами ниспадавших на плечи. Хрупкая фигурка Джослин в тонком длинном одеянии смутно белела в затененной комнате, как привидение.

Миссис Трэвис опять появилась в проеме двери в ночной рубашке и пайльотках.

— Ты куришь, дурная девчонка! — воскликнула она.

Джослин передернула плечами:

— Это помогает от москитов и от нервов.

— Ну, мне это не нравится. С твоей дорогой матушкой случился бы удар, если бы она это увидела. По-моему, ты не права. Захлопни окна и не пускай москитов в комнату, как делаю я, — недовольным тоном выговорила миссис Трэвис.

Джослин вытряхнула из пачки еще одну сигарету и одновременно выпустила в сторону тети длинную струю дыма.

— Вот вам! — сказала она. — Спасайтесь, иначе москиты набросятся на вас: думаю, вы придетесь им по вкусу.

Торопливо поцеловав племянницу, миссис Трэвис быстро ретировалась и закрыла за собой дверь. Джослин рассмеялась, потом беспокойно прошлась по комнате. Потом она снова подошла к окну и высунулась наружу, во тьму. Час был поздний, городок спал; внизу смутно проглядывало беспорядочное нагромождение углов и фасадов темных зданий, листвы и тускло мерцавших огней. Все было так спокойно...

Радость и боль странным образом смешались в сердце девушки.

Первое июня! Сегодня седьмое мая; почти месяц — и все! Что это значит? Куда ее увозят? Если бы всегда было так, как в этот вечер! Она была так счастлива! Меньше чем через месяц она должна уехать. В этой мысли заключалась какая-то дикая несуровность.

Смутная, сладостная мечтательность постепенно развеялась. Перед Джослин на мгновение ясно предстала неприкрытая, беспощадная реальность. Она снова услышала слова больной женщины: «Развлекайтесь, вы молоды и красивы, так и должно быть». Сколько в них было бессознательно-коварной иронии, которая поневоле стала оружием и щитом несчастной Ирмы. Все это было ужасно, безысходно, но еще более страшным казалось то, что Джослин сейчас не могла предаваться грусти, размышляя о женщине, чье горе она, не желая того, усугубила. Она не могла справиться с каким-то сладостным блаженством, которое снизошло на нее. Казалось, сама жизнь вдохновенно нашептывала ей на ухо свои сокровенные тайны, в которых было столько глубины; она пыталась отвести завесу, отделяющую настоящее от будущего, и все, что было за нею, — радужный туман, летящая мечта. Это была любовь! Любовь!

Она прижала сжатые в кулаки руки к груди: любовь вытеснила одиночество! О, она так огромна, что может вытеснить и все ее привычки, иные, кроме нее самой, любви, мысли — и что же тогда останется, если в конце концов мне придется расстаться с самою собой, думала она... Любовь — вот что остается. Прежде я жила в глубине самой себя как в каком-то с детства обжитом углу, но теперь любовь обнимает мною весь мир, меня будет много, так много!

Страстный, пронзительный крик павлина раздался вдруг в колышавшемся ночном воздухе... Джослин рассмеялась. Она припомнила взгляд Жилия, каким

он смотрел на нее после схватки с собакой; в тревожное мгновение она заглянула в самую глубину его глаз. В их выражении было что-то болезненное, почти жуткое, беспомощное. В ту минуту у нее промелькнуло чувство, будто она подошла и встала на самый край своего прошлого — и заглянула в пропасть. Улыбка сошла с ее лица. Эта пропасть приготовлена для кого-то из них троих — для него, для нее иги для Ирмы. Ирма!

Джослин нетерпеливо передернула плечами и на ощупь двинулась по направлению к кровати, точно желала спрятаться.

Ей вовсе не хотелось думать об Ирме, которая в пяти милях отсюда в своей темноте, должно быть, лежит и, глядя бессонными глазами в потолок, размышляет о ней, Джослин, и где-то там, в этой тьме, думы Ирмы и мысли Джослин образуют над бездной мост, по которому они станут ходить друг к другу в гости, и все будет хорошо... Веки ее сомкнулись... В сердце Джослин было что-то, в чем она ни за что никому бы не призналась, даже ему... Вся ее безнадежная борьба с собой, самообуздание — день за днем, без всякой уверенности в том, что ей действительно этого хочется, — вот чем все это кончилось! Он никогда не будет принадлежать ей, а ведь она его любит! Она зарылась лицом в подушку и зарыдала так, будто сердце ее должно было вот-вот разбиться.

Прошло довольно много времени; девушка впала в какое-то полубессознательное состояние, не принесшее ей, однако, облегчения. Недвижная и неспособная размышлять, она последовательно переживала все события прошедшего дня, казавшиеся гигантски преувеличенными, гротескно перепутавшимися в ее сознании, затем каждое из них в отдельности — все поразительно отчетливые, не связанные ни с какими другими случавшимися с ней событиями; это были призраки, казавшиеся отбрасывающими мрачные тени огромными скалами, на которые вдруг натыкаешься среди песков пустыни. Затем декорации опять сменились — перед нею предстали расплывавшиеся в туманной дымке химеры, бесформенные и бесплотные; одна за другой проходили они перед ее глазами, одинокие, навевавшие печаль, как полет чибиса. Эти видения мелькали перед ней, опутанные обрывками фраз, оплетенные мыслями, которые не оставляли Джослин и во сне. Призраки, водившие вокруг нее хоровод, то и дело выбрасывали из своей толпы перед нею каких-то давно позабытых людей, которые делали предостерегающие жесты. И, казалось, вся толпа до поры до времени зашлонила от нее какого-то человека, который, собственно, наслал на нее это сборище. Наконец рой теней расступился, и она ясно увидела Жилия: он сидел, отвернувшись от нее, и смотрел на белое покрывало, под которым угадывались очертания человеческого тела...

Когда поутиру она проснулась, у нее возникло сперва неясное ощущение испуга и беспокойства, чувство, что впереди ее ждет опасность, но вскоре все это растаяло в сверкающих лучах солнца, пробивавшихся сквозь ставни. Улыбка бродила по лицу девушки, и она приподнялась на подушках, накручивая на палец локоны своих разлохматившихся волос, удивляясь, что забыла их на ночь заплести как обычно. Затем, перебрав в памяти то, что произошло вчера, она не могла отыскать причины для опасений. Жилья любит ее — что ж, очень хорошо и приятно быть любимой; к тому ж, она ведь ничего не может тут поделать. Ей хочется лишь быть с ним, чувствовать, что он ее любит. Что же в этом плохого?! Она откинула одеяло и вскочила с кровати.

В это утро в расцветенной колыхавшейся зеленью долине за городом пульс жизни, казалось, бился особенно сильно, обсыпанные цветами миндальные деревья выглядели еще более розовыми, чем всегда, звон колокольчиков, доносившийся от бредшего по дороге к новому пастбищу стада коз, достиг ушей девушки и показался ей удивительно нежной мелодией. Она облокотилась на подоконник и глубоко вдохнула свежий воздух.

В конце концов, впереди еще целый месяц — и можно наслаждаться жизнью! Целый месяц сладостного, обжигающего общения с любимым человеком, а потом — что ж, все когда-нибудь приходит к концу. Не так уж приятно заикливаться на мрачных мыслях, раздуть в воображении бог знает какие ужасы,



гораздо удобнее воспринимать вещи такими, как они есть. Она стала гадать, в котором часу приедет Жиль.

В тот день миссис Трэвис согласно своему распорядку с раннего утра отправилась в Монте-Карло. Она знала, что должен приехать Жиль, но постаралась закрыть глаза на небольшую, но все же возможную опасность, которую заключал его визит, тем более, что признание ее влекло за собою необходимость пожертвовать своими ежедневными паломничествами к игорному столу. Она постаралась уверить себя, что племянница ничем не рискует. В конце концов, она оставляет девушку на попечение Жилия, своего родственника, — гибкость принципов позволила ей в то утро посчитать это «родство» на два порядка более близким, чем на самом деле. К тому же, он был женатым человеком. Она отбыла с решительным, величественным видом; голова ее была украшена искусственными цветами и полна энтузиазма. На ходу она заглядывала в блокнотик с записями о «системе», хотя совершенно ее не понимала. Впрочем, это было несущественно — она ведь каждый раз отказывалась от очередной «системы» вскоре после начала игры. Уходя, она заверила Джослин, что вернется рано, и девушка, глядя ей вслед с улыбкой, совершенно точно знала, что получила свободу до обеда.

Вскоре приехал Жиль; его осунувшееся лицо осветилось, когда к нему подошла Джослин. Она показалась ему оживленной и прекрасной как никогда. Девушка протянула ему обе руки с подсознательным ощущением, что только откровенное дружелюбие поможет им не сойти с узкой тропинки, ведущей к безмятежности и счастью в оставшиеся им до расставания дни. Она с нежностью глядела на него, стараясь снять остроту его переживаний, которые могли бы вылиться потоком страстных слов. Жилю в этот момент принесло облегчение то, что он не должен был проявлять инициативу. Ему мучительно было видеть эти руки, так откровенно протянутые к нему, но он был благодарен девушке за ее чуткость, за готовность отвести его страсть в более спокойное русло.

После вчерашней ночной сцены, произведшей на него сильное и крайне тягостное впечатление, жену он не видел. В продолжение нескольких часов после этого он убеждал себя расстаться с Джослин, любой ценой держаться вдали от нее, но это решение отступило перед огнем его страсти, и он пришел к девушке, решив считать сказанные женою вчера слова никогда не произнесенными.

Он провел с Джослин весь день и вечером отправился домой, умиротворенный и почти счастливый. Вчерашние боренья чувств вкупе с бессонной ночью выжали его, как лимон...

Прошло две недели, и напряженность их отношений все возрастала, стала почти невыносимой, как будто они дышали раскаленным воздухом. Джослин все время думала: «Я должна уехать, на этом все кончится». Каждое прикосновение его руки лишало ее дара речи, бывало, что у нее буквально ноги подкашивались. Случались минуты, когда ей хотелось немедленно собраться и бежать отсюда прочь — неважно куда, главное — любой ценой освободиться навеки от этой тягостной необходимости сдерживать себя, от неотступного призывного взгляда Жилия. Из-за постоянных перепадов в ее настроении встречи их с каждым днем становились все более напряженными и даже гнетущими. Однажды Жиль попытался было поговорить с нею об их отношениях, но испуганное, жалобное выражение, появившееся на лице девушки, заставило его умолкнуть на полуслове.

Джослин ни одной минуты не сомневалась: она уедет — и все кончится. Сознание невозможности союза с ним должно было оберегать ее от желаний, перед силою которых временами она пристыженно отступала. Прежде Джослин и не подозревала, что они способны разредить душу, врываться в ее сны. Ей необходимо было докопаться до самой сути природы ее возлюбленного, страстно хотелось до конца изведать глубины страсти, которую она читала в его глазах, ощущала в каждом его движении. Выдавались и другие минуты, когда она очень жалела его за страдания, которых он не мог от нее скрыть, хотя к жалости этой никогда не примешивалась страсть; порой на нее накатывал прежний ужас, и

она отворачивалась от Жилия с отвращением, а потом, после его ухода, терзалась угрызениями совести.

Некому было помочь ей в трудные минуты; мысль посвятить в свои дела тетушку даже не приходила ей в голову; дама эта воплощала для нее материальную сторону жизни.

В те дни Жиль жил полноценной жизнью лишь тогда, когда бывал с Джослин; но уверенность в том, что она его любит, лишь подливала масла в огонь его страсти. Часто, покинув ее, он в сумерках возвращался к отелю, забирался в тень густых кустов под стеной террасы и созерцал окно ее спальни, пока там не гас свет.

В один из таких вечеров ему пришлось ждать долго — из-за закрытых ставен в окружающую тьму лились слабые лучи света. Прижавшись к стене, Жиль ждал, пока он погаснет. Мимо пронеслась летучая мышь, крупные бабочки устремились из темноты к горевшим на воротах фонарям, с улицы доносился глухой шум голосов. Душистый лавр, перед которым стоял Жиль, испускал сладковатый пряный аромат. Внезапно ставни сводчатого окна распахнулись, и показалась Джослин. Она стояла без движения, откинув голову на сложенные на затылке ладони; рукава ее свободного белого одеяния упали до плеч, обнажив руки.

Сердце его оборвалось; в воздухе был разлит густой аромат лавра; запах этот долго еще напоминал ему сладостные переживания тех минут.

Девушка стояла, подняв лицо к фиолетовым небесам, где тускло мерцали бледные звезды; Жиллю видна была ниспадавшая на ее плечи густая масса темных волос. Его пристальный, исполненный томления взгляд, казалось, проникал сквозь безмятежную тьму, и Жиль ощущал полное единение с нею в безмолвной ласке, как будто сердца их бились в такт, а трепещущие губы соприкасались. И вот, словно бы в ответ на это, руки ее опустились, она оперлась на подоконник и глянула вниз. Затаив дыхание, он смотрел на нее. Быстрым движением она простерла сжатые в кулаки руки во тьму, затем прижала их ко лбу. Сквозь ночные шорохи он расслышал ее рыдания. Все еще закрывая лицо руками, она повернулась и, пошатнувшись, отошла в глубину комнаты. Ставни дрогнули и медленно закрылись, свет погас...

Вблизи Жилия с громким жужжанием пролетел майский жук; жужжание это постепенно затихло в ночи. Жиль со стоном ударил кулаком в стену.

## Глава 10

Сгущались сумерки. Далеко впереди, едва заметные в полумраке, брели неровной поступью позвякивавшие колокольчиками ослики. Девушка-погонщица с цветком в зубах и широкополой конусообразной ментонской шляпой, болтавшейся на ленте возле ее локтя, нахлестывала то одного, то другого по тощим крупам. Она шагала, покачивая бедрами, высокая и стройная; проходя мимо таможи, девушка обменялась с жандармами несколькими веселыми фразами.

На мосту Сан-Луи Жиль приостановился. Он положил ладонь на руку Джослин, и она ощутила жар его пальцев даже сквозь рукав своего легкого муслинового платья.

— Не стоит спешить, — выговорил он сдавленным голосом сквозь стиснутые губы.

Джослин тоже остановилась, с волнением вглядывалась в его лицо, которое выражало необычную непреклонность. Жиль прислонился к парапету моста; профиль его отчетливо вырисовывался в сумраке, одна рука судорожно вцепилась в перила; Джослин встала рядом. Устремив взгляд вниз, он заговорил чужим, бесцветным голосом.

— Прекрасное место, чтобы положить всему конец, — произнес он, указывая вниз, на крутой обрыв и расплывчатые очертания острых скал под мос-

том. — Я знавал троих, покончивших здесь счеты с жизнью. Славные были малые. По своей воле такое не выберешь — в этом мало приятного, — он коротко рассмеялся.

— Не надо, дорогой мой, — сказала Джослин и сжала его руку.

— Будь любезна, убери свою руку!

Она тотчас отдернула руку: видно было, что девушка вся дрожит.

— Боже мой, Джослин! — воскликнул он. — Неужели ты сделана из льда? Разве ты не знаешь, что мне приходится терпеть днем и ночью? Не знаешь, что такое любовь мужчины? Господи Боже, как ты можешь? Ты, наверное, не представляешь, как это терзает и мучит меня!.. — Голос его сорвался.

Казалось, каждое слово с болью вырывается из самой глубины его души. Он снова посмотрел вниз на темные скалы и, помолчав, выдал из себя:

— Прости... Я понимаю, что не вполне по-мужски повел себя... Пойдем, дорогая.

Они довольно долго брели молча по пустынной дороге. Сгустившаяся тьма не позволяла им видеть лица друг друга. Дорога теперь пересекала густую оливковую рощу, простиравшуюся снизу, от самого морского берега, до вершин холмов.

Жиль остановился.

— Смотри! — сказал он, указывая на пламеневшее на горизонте над темной полосой морских вод малиновое зарево, как будто от горевшего корабля. — Луна всходит. Посидим минутку, маленькая моя, отдохнем — ты ведь, наверное, устала.

Она села на низкую насыпь. Луна поднималась медленно, став из малиновой желтой, а потом белой. Жиль стоял позади девушки. Стояла чудная южная ночь, неподвижный воздух был теплым и полным благоуханий; сквозь ветви олив меланхолически проглядывали звезды; не было слышно ни звука, кроме отдаленного городского шума и плеска волн внизу, под ними.

Луна поднялась уже так высоко, что достигла верхушек деревьев, и при свете ее Жиль заметил, что девушка беззвучно плачет.

Он бросился к ее ногам и, рыдая, проговорил:

— Не надо, милая, не надо! Я не могу этого выдержать, не могу...

Он сжал бессильно лежавшие на ее коленях ладони; она опустила на его руки голову. Сильная дрожь пробежала по всему телу Жили; ему показалось, что ее слезы жгут ему руки. Ее волосы были близко от его лица; при каждом ее легком движении они почти касались его губ. Он нежно поцеловал эти черные волосы.

Наконец она подняла темные, мокрые от слез глаза и взглянула на него. Губы ее дрожали. Лунный свет падал на его лицо, бледное, напряженное, страстное, и на ее — нежное, жалобное, залитое слезами.

— Я ведь хочу, чтобы тебе было хорошо, родной мой. Что мне до всего остального, когда тебе так плохо? Чем я могу тебе помочь? Что я должна сделать?

Он вскочил на ноги и отвернулся от нее.

— Не мучь меня, милая. Ты сама не понимаешь, что говоришь, — хриплым шепотом произнес он; потом более спокойным голосом сказал: — Тебе пора домой. Иди вперед, я тебя сейчас догоню.

Слова эти показались неестественными даже ему самому; у него возникло ощущение, что их произнес не он, а кто-то другой. Он прикрыл ладонями глаза и с коротким сдавленным вздохом пробормотал:

— Помоги мне, Боже!

В этой удивительной тишине под темными ветвями оливок он ощутил аромат ее волос и платья, смешавшийся с ночными благоуханиями. У Жили слегка закружилась голова. Он увидел, что Джослин тоже поднялась на ноги. Она стояла совсем близко от него и дрожала всем телом, грудь ее взволнованно вздымалась. В глазах девушки была безграничная жалость. Она заглядывала в его глаза внимательно, испытующе, точно пыталась увидеть его душу. Потом она протянула ему руки. Он сделал какой-то судорожный, безнадежный жест и схватил их в свои. Ощувив прикосновение этих жарких ладоней и его пристальный взгляд,

Джослин изменилась в лице, все поплыло у нее перед глазами. Губы ее раскрылись, она тихонько сказала со вздохом: «Милый!» и прижалась к нему.

В ту секунду, когда губы его почти касались ее губ и он сознавал, что если это произойдет, невозможно будет уже ни остановиться, ни пойти на попятную, он ясно увидел все. Словно перед пловцом, борющимся с волнами, перед ним пронеслось все его прошлое и то, что ожидало его впереди. Он видел свою жену, свой дом, знакомых, которые от него отвернутся. Он как будто положил все это на весы — и ощутил, что это ничего не весит.

Их губы встретились.

*Под редакцией И. Полянской*

*(Окончание следует)*



*Валентин Курбатов*

### СОБЛАЗНЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Не помню, у кого я прочитал эту притчу — кажется, у В. Солоухина. Мальчик собирается бежать по кипящему цветами лугу. Голос свыше останавливает его: не бегай, это принесет беду твоей Родине и погубит народ, к которому ты принадлежишь. Мальчик, конечно, побежит (а как же еще — он бежит со времен Адама!), спугнет бабочку, которая залетит в королевский сад, от нее со временем явится новая гусеница, упадет на шею молодой королевы и испугает ее до того, что та умрет в родах, погубив с собой и нерожденного наследника. Трон займет коварный брат короля и жестокой политикой измучит, а потом и разорит свой народ.

Наверное, так будет всегда: мы никак не научимся видеть связь малых движений мира с общей его судьбой. В особенности это касается человеческой мысли. Она все время представляется нам частным делом и не вызывает даже любопытства, пока однажды не вырастет до программы или учения и не втянет нас в свою гибельную воронку.

Я думаю, как кривится, должно быть, обычный «уличный» человек, услышав стороной, что в Православной Церкви не все спокойно и что она раздираема неожиданными, еще вчера неизвестными ей неустroениями. «Мне бы ваши заботы» — снисходительно подумает он, не разумея, что у него подрастает сын и уже заглядывает в церковь не из одного подросткового любопытства, и завтра ему же предстоит выбор, который постепенно изменит и жизнь отца, семьи и дома, а в конце концов все той же нашей многотерпеливой Родины.

Никакой отвлеченности тут нет. Есть медленно проступающая общая забота. Я не буду говорить о теоретических основах неустroений — это дело профессиональных богословов (хотя для уяснения предмета и заглянул в работы отца Сергия Булгакова, митрополита Антония Храповицкого, архиепископа Иоанна Максимовича, протопресвитера Георгия Граббе и т. д.) — важнее, может быть, поглядеть, как эта проблема растет в частном сознании, как на нее наталкивается обычный прихожанин, — тут мой опыт вполне обыкновенен.

Слышать-то о переходе российских приходов под юрисдикцию Зарубежной Церкви я и прежде слышал (о суздальских делах и об архимандрите Валентине, бросившем вызов епархиальному начальству и готовившемся в викарные епископы Зарубежной Церкви, много говорили в Печерском монастыре, где я порой бываю). Но Суздаль-то во-о-он где, да и явление казалось слишком исключительным — вот и успокаивал себя, что этот мятежный остров так и останется единственным. Однако скоро стали поговаривать о Сибири, об отпадающих под ту же зарубежную юрисдикцию приходах Хабаровской епархии, и это — несмотря на стократ большую, чем в Суздале, удаленность событий, — было уже свое. Дело в том, что Хабаровскую епархию возглавлял близкий нашей псковской земле, памятный печерским инокам епископ Гавриил. Он почти полтора десятка лет был наместником Печерского монастыря при больном и уже не очень властном митрополите Иоанне. Наместник был крутой, память о себе в обители оставил двсйную и больше тяжелую, даже не без некоторой домашней

мифологии, какую оставляют люди не в меру твердой руки и необузданного характера. Перемещение его в Хабаровск считалось почетной ссылкой, и всякие вести оттуда обсуждались в монастыре с пристрастием. И когда в одном из эмигрантских журналов появилось интервью священника, горько и стеснительно объяснявшего причины своего ухода из-под власти епископа Гавриила в зарубежное подчинение, в Печерах беглеца поняли скорее других, но, кажется, не осознали, что радоваться особенно нечему. Пускай епископ был извержен из сана и запрещен к служению, но приход-то (и не один) был уже невозвратен для Матери-Церкви.

И даже когда «Славянский вестник» сообщил, что в Зарубежную Церковь ушел со своим курским приходом отец Лев Лебедев, которого знали не в одних церковных кругах по прекрасной книге «Крещение Руси» и монографии о патриархе Никоне, мы все еще обманывали себя, что это исключения, продиктованные злым стечением обстоятельств.

И вот с год назад я оказался невольным свидетелем разговора двух псковских приходских священников, которые, обсудив обычные свои дела и, как всегда в таких случаях, перебрав общепархиальные слухи и мнения, вдруг с тревожной серьезностью стали обсуждать «технологию» перехода в зарубежную юрисдикцию. Я растерялся от неожиданности — о чем это они? Значит, и у нас? Вот тут, рядом! Я не очень знал, каковы канонические отношения наших Церквей и отчего вообще стало возможным внедрение Зарубежной Церкви в приходскую жизнь Московской Патриархии. Вполне вероятно, что никаких особенных нарушений не было, потому что догматически наши Церкви не расходятся. А при догматическом-то единстве не все ли равно, какой епархии будет подчиняться почувствовавший стеснение приход? Но душа не слушала доводов рассудка и решительно воспротивилась самой возможности такого обсуждения.

Надо было как-то прояснить обстановку, чтобы внутренне не шататься. Только еще шатания не хватало при и без того ослабленной приходской жизни. Едва не в тот же день мы с этими батюшками решили устроить «прения» мирян и священства, чтобы объяснить, увереннее представить глубину расхождения. Конечно, напрямую о «смутившихся» приходах речь не шла. Вопрос был сформулирован без искушений неизбежного доносительства или возможных в таких обстоятельствах срывов и обид. Решили просто обсудить пункты, которые Зарубежная Церковь считает наиболее затрудняющими ее воссоединение с Матерью-Церковью: отношение к Декларации митрополита Сергия, пути сотрудничества с «безбожным правительством», правомерность экуменизма...

Собралось нас больше полусотни человек. Пришло епархиальное начальство. Может быть, как раз из-за начальства обсуждение «выпрямилось». Все оказались стройно-согласны, что притязания Зарубежной Церкви на безусловную правоту сомнительны, что Декларация 1927 года — это не ошибка, а следствие страдания, в котором и укорять странно (старенький отец Борис из сельской Толбицкой церкви, намаявшийся в лагерях и много чего навидавшийся за жизнь, сердито сказал при этом, что Русской Православной Церкви каяться не в чем, а вот Зарубежной, пожалуй, следовало бы поклониться главам московских соборов, чтобы не осиротеть окончательно).

Тогда еще не подоспела в нынешней печати публикация статьи Н. А. Бердяева 1927 года «Вопль русской церкви», где он, к ужасу тогдашних да, вероятно, и нынешних противников митрополита Сергия, писал: «Патриарх Тихон, митрополит Сергий (именно так, рядом, через запятую. — В. К.) — не отдельные частные люди», — и мотивировал свою мысль тем именно образом, которым Русская Православная Церковь мотивирует Декларацию и сейчас: «Отдельный человек может предпочесть личное мученичество. Но не таково положение иерарха, возглавляющего церковь, он должен идти на иное мученичество и принести иную жертву... Жертва эта совершается во имя спасения православной церкви и церковного народа в России».

Обвинение в экуменизме (который якобы сделал большие успехи в Московской Патриархии) участниками собеседования тоже принято не было. Они отослали этот упрек нашим иерархам, ведущим политику, далекую от живого

мнения прихожан. Присутствовавший на собрании архиепископ Владимир (Котляров), стоявший у истоков сегодняшнего экуменического движения, резко возразил священникам, назвав их взгляды слишком узкими, чтобы не сказать просто невежественными. Но это уже было в конце собеседования, и спор не развился (к тому же с владыками споры плохие).

Можно было радоваться единству, но радости отчего-то не было, потому что священники, задумавшиеся о переходе, сидели тут же и было не похоже, что единомышленники особенно пошатнуло их помыслы. Не то чтобы они опасно скрывали свое мнение; нет, тут отгадка простая. В близком кругу одинаково понимающих мир и Церковь людей в этот именно час они чувствовали себя спокойно и согласно. С товарищами по трудам приходской жизни им делить было нечего. И Матери-Церкви они были хорошими детьми. Но оставаясь наедине с собой, с бедами прихода, с тяжелым кругом проблем, особенно обострившихся в сегодняшней социально-экономической ситуации, они опять начинали сомневаться. Смущали даже не трудности. Сомнения начинались, когда они поворачивали голову в сторону епархии и Патриархии, чтобы найти там духовную опору (с домашними-то приходскими трудностями они как-нибудь сами разберутся), чтобы почувствовать спокойную силу и единство Церкви. И вот тут-то их взгляд словно проваливался, и они шатались душой.

Обостренно вглядываясь в домашние иерархические дела, они понимали, что Зарубежная Церковь не из одной самонадеянности ставит условия Московской Патриархии, а действительно напоминает о принципах чести, которые были свойственны белой армии, ее святому офицерству, а с ними и священству, ушедшему с этой армией и ставшему основой Русской Церкви в эмиграции. Мы же, кажется, за годы советской власти и впрямь стали «податливей» в нравственных вопросах и слишком легко извиняли даже не всегда необходимые компромиссы.

Вчера бы об этом разговора еще не было — служба шла сама собой в стороне от общественных забот: отделенная от государства Церковь хорошо помнила свою отдельность. Сегодня приходские священники почувствовали настоящую ответственность за человека, за страну. Общая перемена ситуации в России, возвращение Церкви ее естественных прав — событие, по существу еще почти не осознанное. Оно оказалось заслонено другими насущными делами, другими свободами и другими недугами, наспех поставлено в общий ряд. А значение-то его шире и больше всех иных повседневностей. И первыми почувствовали это опять не иерархи, весьма мало переменившиеся с прежних пор, а именно приходские священники. По своей пастве, по обновившемуся ее качеству (как скоро, как повсеместно помолодела Церковь!) они почувствовали острую близость к самым существенным проблемам устройства нового человека в новой стране. Все стало необычайно важно. Каждый канонический элемент для прежде автоматически служившего священника словно омылся и очистился, литургическое служение приобрело живую полноту.

Стоит ли удивляться, что экуменизм вызвал такое дружное сопротивление. Он мог цвести в пору равнодушия, духовной рассеянности. Сегодня же каждая буква потребовала сохранения, потому что она, как ни странно прозвучит, была условием правоты и силы воскресающей Церкви. Сегодня, оказалось, нельзя быть произвольным или хотя бы нетребовательным, потому что всякое слово с амвона воспринимается с небывалой евангельской чистотой. В Церковь пришел человек, который устал от необеспеченных, слишком легко излетающих слов, и он припадает к канону как к желанной узде для своей слишком разлившейся души. Говорить теперь о широких контактах с инославными церквями (или хотя бы, как архиепископ Смоленский Кирилл, — о возвращении к общим фундаментам) — значит пренебрегать настоящей сложностью ситуации, слишком топтать ее, не приготовив глубокого религиозного сознания.

Не надо дивиться и тому, что приходский священник может возроптать на Патриарха, благословляющего отпевание самоубийцы, как бы ни было славно имя несчастной и какими бы высокими побуждениями ни руководствовался Патриарх. Это ропот Христовой правды, ропот канонической дисциплины —

для Церкви не должно быть привилегированных мертвецов. Попущение в малом повлечет неизбежные попущения в большом. Вот почему теперь, по длительном размышлении, я, если и не извиняю, то, во всяком случае, лучше понимаю священников, ищущих канонической чистоты в более консервативной и устойчивой Зарубежной Церкви. Туда порой уходят именно лучшие дети нашей Церкви, и плохо, если ревнивая Московская Патриархия не увидит этого. Они больше всего могут послужить потом делу затягивающегося, но неизбежного воссоединения. Самая их непримиримость будет гарантией чистоты согласия.

Мне тут очень по сердцу мысль католического богослова К.-С. Льюиса, уверенного, что «экстремисты» в каждой церкви ближе всего друг к другу, а «люди широких взглядов» никак не могут столкнуться. В мире догматического христианства тысячи людей различных исповеданий говорят одно и то же, а в мире размытой, расплывчатой религиозности маленькие группы единоверцев говорят совершенно разное и меняют мнение каждые пять минут. От них соединения не дождешься. И не дождешься именно потому, что больше-то сегодня в церкви как раз людей «широких взглядов». Это оборотная сторона внезапной молодости церкви, ее «дозволенности». Интеллигенция в церковных стенах много способствовала этой опасной неустойчивой широте. Привившиеся к церкви не со стороны Предания и Литургии, а через «паперть читального зала», через изучение обильно изданных трудов П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева, Г. Федотова, умные неопиты с порога принялись поучать и «отсталых» батюшек и подсказывать интеллектуальные пути церковного воссоединения, легкомысленно надеясь, что контакты с Зарубежной Церковью будут вполне подобны полезным и свободным дружеским диалогам с эмигрантской интеллигенцией, и не догадываясь, что их молодое знание — это только «вершки» могучего христианского древа, тонкие его побеги, а корни куда глубже и сложнее и уходят в пе вовсе уж и доступную сегодня первоосновность. С точки зрения подлинно церковного опыта хотя бы и одной нашей Церкви нашу интеллектуальную веру, пожалуй, и верой-то еще звать рано.

Еще раз вспомню того же К.-С. Льюиса, писавшего о старых книгах, которые одни уже хранят для нас мост в минувшее: «Если вы застали в одиннадцать часов разговор, начавшийся в восемь, вы поймете далеко не все. Может случиться, что вы даже примете то, что несомненно отвергли бы, приди вы к началу. Верную перспективу дает лишь контекст всего христианства, а вы его не узнаете, не читая старых книг». А далее и вовсе кстати, словно прямо по поводу ширящихся разговоров о диалоге далеко разошедшихся церквей и о нашем юном любительском богословии «первого поколения»: «Если начитавшись новых книг, вы решили, что у слова «христианство» слишком много значений и потому оно просто ничего не значит, обратитесь к старым книгам, и мнение ваше изменится. На фоне веков христианство отнюдь не расплывчато, оно весьма определенно и четко отличается от всего прочего».

Слава Богу, что уже и мы, если только не ограничиваемся одним, хотя бы и очень умным, чтением, а начинаем жить литургической жизнью, тоже понемногу перестаем смущаться очень уж раскидистыми оттенками родной веры и, понемногу наживая опыт, догадываемся, что если христианство сладостно у одного и грозно у другого, успокоительно у третьего и слишком требовательно у четвертого, то это только разные часы одного и того же христианства, сошедшиеся в одном верующем народе как разные возрасты одной семьи. Хотя, может быть, на сегодняшний час вернее будет уподобление, сделанное Владимиром Соловьевым. Столетие назад он писал: «Теперешнее земное существование церкви соответствует телу Иисуса Христа во время его земной жизни (до воскресения) — телу, хотя и являвшему в частных случаях чудесные свойства... но вообще телу смертному, материальному, не свободному от всех немощей и страданий плоти».

Хорошо бы нам именно как немощи сегодняшнее состояние и сознать. Уже одно такое сознание много способствовало бы выздоровлению. А то, боюсь, мы охотно обманем себя внешним разливом воцерковления, беглым нашим



крещением без тени осознания принимаемой на себя ответственности. Это, по видимости, плохо согласуется с тем, что я говорил о только теперь полно понятой глубине церковного Предания и о желании вернуть чистые основы веры, но это полюса одной проблемы. Самим себя надо не дать обольстить. Я охотно признаю правоту И. Р. Шафаревича, писавшего, положим, что со смертью отца Павла Флоренского «пришел конец русской школы религиозной философии — по крайней мере до сих пор она не возродилась», но нахожу слишком оптимистической уверенность, что «произошло другое, гораздо более чудесное явление — возрождение религиозной жизни в нашей стране». Они слишком таинственно связаны — русская религиозная философия и повседневная религиозная жизнь, чтобы уметь существовать порознь. Похоже, что многие наши недуги и духовные неустроения являются следствием как раз этого расхождения.

Во всяком случае, глубокие люди внутри церкви обманываются мало и настойчиво указывают, что причиной многих сбоев сегодняшней православной жизни является именно слабость богословия («русской религиозной философии»). Неизменным следствием этой слабости являются, с одной стороны, умножившиеся поверхностные домашние умствования в «храмовых притворах», а с другой — чрезмерная боязнь иерархии и буквы канона, доходящая до вполне старообрядческих прений (как было на одном из наших собеседований), вроде того, можно ли вытирать икону бумагой и жечь потом эту бумагу или стирать пыль мокрой тряпкой и тем «смывать» благодать освящения.

Нет, рано и рано говорить о «возрождении религиозной жизни». Конечно, очень бы хотелось подтолкнуть этот процесс, ускорить желанное преобразование жизни, чтобы можно было, как встарь, подумать о «симфонии» Церкви и Государства, об их единственно спасительном для страны согласии, при котором объединились бы и разорванные историей русские церкви. Но опять уже все обдумавшие предшественники предупреждают от поспешности, опять терпеливо подсказывают. А. В. Карташев вон уж когда писал: «...для непосредственной реализации симфонии в живой современной действительности нет опоры, нет данных. Вредно быть мечтателем и иллюзионистом в области религиозной. Изменившийся эон требует от ответственных деятелей церкви трезвого реализма. Нет уже в природе вещей тех монолитно-христианских народов, той сплошной, послушной голосу и авторитету церкви массы, которая составляла тело древне-христианских государств».

А околоцерковные люди, видно, не читают этого и все обманывают себя надеждами на симфонию, на воскрешение монархии, на возвращение России в ту купель, из которой она некогда так пугающе необратимо вышла. Те же, кто живет в иной системе координат и лучше слышит спокойную поступь вечности, оказываются как раз большими реалистами. Это всегда удивляет меня, да и всякого, кто паломником или просто зевакой заходит в монастырь и кому представляется возможность поговорить с его строгими насельниками, с теми спокойными людьми, кто оставил мир, но не оставил мысли о его путях и кто молится о мире с ясным знанием человеческих и церковных пределов и верным убеждением, что чудо Господней воли велико, но неизбежно связано с полнотой слышания, без которой и чудо — не чудо.

Мне бы, может, самому и говорить ничего не надо было, а только выписать те суждения, которые когда-то легли на слух и разум и остались в моем дневнике, но хотелось как-то обозначить и общий контекст и самому что-то лучше понять, потому что я ведь сталкиваюсь со всем этим не как наблюдатель, но как прихожанин, как церковный человек, который и сам может однажды нечаянно проснуться «подданным» иной юрисдикции. И, наверное, как раз оттого, что мысль беспокойно крутится все вокруг одного, слышу в монастыре даже и в случайной беседе ответы на вопросы, которые не успеваю задать, хотя, конечно, когда почаще туда наезжаешь, то скоро начинаешь замечать, что случайных бесед там не бывает, а всякая — именно единственно точный ответ на твое уже опередившееся или только еще зреющее вопрошание, словно твоя беспокойная мысль успеваешь залететь в монастырь впереди тебя и выдать тебя с головой.

Стоит подумать о противостоянии церкви, и в келью к навещаемому мной больному игумену войдет далеко известный добрый печерский молитвенник Иоанн Крестьянкин и, радостно приобнимая больного и бодая его в плечо, после нескольких слов о здоровье заговорит так, будто за дверью стоял и мои сомнения слышал: «А в церкви что нужно? Согласие и согласие. А то что это, право? У старообрядцев — первоиерарх, у нас — первоиерарх, у зарубежных — первоиерарх. Значит, этому поклонись, а к тому задом повернись? А мы и на своих-то, прежде чем поклониться, в стеклышко поглядим. Вон что с митрополитом Сергием делаем. А вспомните, как померли каждый — Тихон, Сергей, Алексей, Пимен,— подлинно патриаршьи смерти. Нет, мы все с укорами. Да и какие у нас расхождения! Господь один! Устав один! Был у нас после войны в Академии преподаватель Боголюбов, войдет в класс, намолимся, наплачемся — будто и урок не урок, а душа как новая. А мудрейший был! Это его попросил Алексей (Первый! Первый!) написать слово к интронизации. А он возьми да подай текст времен Алексея Михайловича. И все там в точку, и каждое слово ко времени. У церкви другое летосчисление. Какие разногласия? Любовь, любовь и мир. А мы все дальше, дальше...»

Когда же приступят новые монархисты — редко из действительных, глубоко понимающих предмет проповедников этой великой идеи, а все больше из переметчивых интеллигентов, я вспомню архимандрита Зинова, который уже не однажды при таких встречах повторял: «Какая монархия — о чем вы говорите?! Никакие реконструкции недолговечны. Тем более после перерыва, изломавшего генетику. И потом это опять неосознанная подмена христианства, подмена свободы перед Богом. Как управлялся Израиль? Забыли? Теоκρατικός! Высшим стоянием! Но затосковал, чтобы было, как у соседей, по удобствам деспотии затосковал и уже не мог вернуться на прежние стези, как ни заклинал себя и как ни тщился, пока не съехал в незаметную глазу провинцию. Как нам теперь демократию подавай — тоже, чтобы «как у людей», а не как в старину у отцов. Нынешняя монархия при духовно разоренном народе будет мертворожденной. Она возможна только с крепкой церковью, с такой крепкой, что это уже предполагает просто другое государство. А мы потеряли простую общину. Загляните в любой приход. Там три человека едины, а остальные — кто куда. Какая это община? Какая вера? И значит — какая симфония? Не будет ее. Да и не было. Ни в XV веке, ни тем более при Николае Александровиче. Никак нам не услышать «Царство Мое не от мира сего», «Се посылаю вас яко агнцы посреде волков». Это мы мимо ушей. Слишком не по силам. Вот я вам сейчас справедливую цитату из Ивана Александровича Ильина покажу: «Сущность катастрофы духовна. Это есть кризис русской религиозности. Кризис русской военной верности и стойкости. Кризис русской чести и совести. Кризис русского национального сознания. Кризис русской семьи. Великий и глубокий кризис всей русской культуры». Поглядите-ка вокруг-то: подлинно ведь — ни семьи, ни веры. И это тоже не сейчас началось. Вы Костомарова читали? Вот хоть главу о Василии Третьем. Там очень хорошо видно, как все ломалось. Бесплоден брак Василия Третьего, давай ему для блага государства благословим Елену Глинскую. Вот от такого благословения и родился сынок Иван Васильевич с титулом Грозный, хотя, может, вернее, как французы писали, — Ужасный. Вон еще когда пошло рассыпаться. До Никона. Да и в самом русском расколе не Никон был виной, а Алексей Михайлович. Забыл, что отец ничего без патриаршего благословения не делал. И как духовно Русь стояла, как мощно поднималась при беде, как скоро в ней Минины находились! Где они теперь? Ведь это очень показательно, что нет народного авторитета. Ильин, как ни неприятно нам это слышать, поделом пишет, что нам теперь нечем гордиться и не словами бы о прошлых победах отгораживаться от нынешних забот, а деятельно и убедительно искать «религиозно укорененных идей».

Всегда после таких бесед испытываешь томительное чувство неловкости, а то и острого стыда. И особенно понимаешь, как запущена душа. Ведь мы действительно не слышим этого предупреждения Ильина, что в России работают только «религиозно укорененные творческие идеи». Говорить-то о церкви, слава

Богу, говорим, и вот уж до новейшего раскола договорились, а жить-то в ней не живем и даже не собираемся жить — ни в семье, ни тем более в полноте государственной жизни. Что мы слышим с высоких трибун о церкви? Одни общие места и снисходительное признание. И все «нет времени» услышать великое предупреждение псалмопевца: «Аще не Господь созиждет дом, всеу трудишася зиждущие его, напрасно рано встанут и поздно просиживают» (Пс. 126,1—2). Действительно ведь «рано встанут и поздно просиживают». Но всеу и всеу. Слух воском залит.

Е. Н. Трубецкой когда-то не без основания говорил, что нам ближе не христианство Сергия Радонежского и Серафима Саровского и не христианство Филарета Дроздова и Феофана Затворника, а христианство Обломова с его тапочками и разговорами, даже с хорошими статьями, но только не с Евхаристическим общением, не с крепким церковным обиходом. А пока мысль, пусть и очень верная и высокая, не подтверждена простым православным трудом, делом молитвы и исповеди, делом поста и причастия, она будет только пустым красноречием, и читатель сердцем это узнает и как к разговорам к нашим умствованиям и отнесется. А будь вера хоть с горчичное зерно, мы бы и сами еще до чтения работ Трубецкого догадались, что все противоположения церковей и взаимное перетягивание истины на свою сторону есть только очередной спор об одежде явления, а не о сердце России, не о ее судьбе и все споры о чистоте одних и большевистской порче других — это не каноническое объяснение, а политическое уклонение от истины. Это верно было замечено отцом Иоанном про «другое летосчисление». Трубецкой с другой вроде стороны, но про то же писал: «Никакие политические перевороты не могут ни одной йоты убавить от этой святыни (святой Руси. — В. К.) и ни одного штриха к ней прибавить. Ни с какой формой правления она для нас не связывается и ни от какой политической величины она не зависит. Наше благоволение к этой религиозной идее побуждает нас прежде всего восстать против соблазна религиозного политиканства».

Тяжело это слышать — «религиозное политиканство». Вроде не про нас. Мы искренно уверены в живой боли, стоящей за взаимными укоризнами церковей. Но боюсь, что если вслушаться в самый последний оттенок этой боли, мы с неприятным изумлением увидим, что на глубине мы подозрительно спокойны и речь, кажется, действительно идет о политике.

Опять и опять нам придется убедиться, что мы начинаем с чего угодно, кроме единственно спасительного — любви, а Родина, если напомнить подлинно великие слова Ивана Шмелева, «постигается любовью и строится верою. И национализм (а Церковь начинают и за него укорять. — В. К.) есть не что иное, как любовь к своеобразной духовности своего народа и вера в его творческие богоданные силы. Без любви и веры невозможно правосознание, необходимое для государственности, оберегающей нацию, и для справедливой организации хозяйственного труда».

Ведь эти последние слова — духовно-экономическая программа, как все живое и перспективное простая и убедительная, если наша государственность еще хочет зваться национальной (в чем уже есть основания сомневаться), а церковь — равноправной в деле устройства Родины и ее опять сызнова становящейся государственности.

..Временами близко отчаянье. Устаешь до того, что начинает казаться, будто никогда еще Родина не оказывалась на столь сомнительных, столь опасных порогах. И, конечно, бросается в глаза, что вместо осознания этого мы опять разливаемся в словах и вязнем в демократической, какой-то победительно-посторонней пошлости, искушающей и депутатское священство. А Зарубежная Церковь вместо того, чтобы стать с нами бок о бок в литургическом служении, вместо того, чтобы силой своей подкрепить нашу смутившуюся, ослабевшую душу, именно теперь пустилась корить московских оппонентов политическими обвинениями, понуждая их тратить силы на самозащиту, пока еретические ветви «под шумок» рассеивают по ветру свои цепкие репейные семена.

Впору опустить руки. Но, слава Богу, родная Церковь успела научить нас Сириновой воскрешающей молитве, относящей уныние к тяжким, оскорбляющим человека грехам. И хоть настоящей бодрости для воинского церковного стояния взять негде, но надо крепиться, надо отвечать на призыв Патриарха принять «вызовы сегодняшнего дня». А вызовы эти таковы, что, кажется, впервые церковь зовет в союзники «мыслящие силы России». Надо хоть сейчас постараться быть на высоте. Один раз, как мы помним по опыту религиозно-философских обществ начала века, попытка такого союза (предложенного тогда самой интеллигенцией) кончилась ничем (упаднически-безнадежный или равнодушно-иронический тон воспоминаний З. Гиппиус, М. Пришвина, В. Розанова о тогдашних заседаниях церковных кругов с «мыслящими людьми России» только подчеркивает неудачу опыта).

Немногие сегодняшние совместные сидения, в которых мне в последнее время пришлось участвовать в Пскове, Москве, Красноярске, тоже пока обнадеживают мало. До плодотворного союза все еще как до небес. Но хоть то благо, что зреет понимание причины, которая мешает союзу. И главнейшая, касающаяся всех сторон вокругцерковного бытия, в том, что как тогда мы начинали с первенства интеллектуальной стороны перед Евхаристическим общением, так продолжаем и теперь. И сейчас уже ясно, что пока первой мы не поставим единую, матерински-уверенную Церковь, все так и будет кончаться словами.

Григорий Богослов остужающе и поучительно напоминал таким новообращенным и малоуспешным учителям единства: «Для чего представляешь из себя пастыря, когда ты овца?.. Для чего гоняешься на море за великими, но сомнительными выгодами, когда можешь безопасно возделывать землю?»

Теперь время «возделывать землю», время встать одним сердцем и одной любовью в едином храме, как в единой России, и тогда можно надеяться, что небесный Пастырь просветит наше замутившееся, нарочито засоряемое многоликим князем мира сего зрение, и мы, наконец, укрепим для настоящей объединительной работы.

Это потребует терпения и труда. Слава Богу, русского человека трудом не испугаешь.

*г. Псков*



## Федор Ефимов

### САМОЧИНИЕ

Публикуя вслед за Валентином Курбатовым прямо противоположный по умонастроению атеистический памфлет Федора Ефимова, мы вполне отдаем себе отчет в том, что многие читатели нашего журнала могут упрекнуть нас в непоследовательности, в отсутствии «твердой линии». Могут, пожалуй, задать и традиционно русский вопрос: на чьей стороне симпатии редакции. Наверняка найдутся и такие, кто укажет, и вполне справедливо, что в этом «слове атеиста» противоречий немало, а мы «их видеть не хотим». Поэтому, во избежание недоразумений, постараемся объяснить.

Да, Федор Ефимов в «Самочинии» своем, сверхтвердости убеждений далеко не всегда основателен, четок и последователен в аргументации. А местами, даже на наш «плюралистический» взгляд, слишком уж резок, порой — до грубости. И тем не менее полагаем, что в нынешней ситуации, на сегодняшней стадии общественного самосознания худой мир предпочтительнее доброй ссоры. Ни мира, ни согласия не будет, пока находящиеся в состоянии развода стороны не успокоятся и не разойдутся — по своим отдельным домам. А они — теперь уже ясно — не разойдутся, пока не выкричат — граду и миру — искаженную годами немотствования СТРАСТЬ СВОЕЙ ПРАВОТЫ.

А дальше? Дальше как у Ефимова: поживем — увидим. Но чтобы дожить, необходимо, помимо разного прочего, еще и самоприучаться к тому, что «чужие мысли, как бы ни противоречили нашим, должно выслушивать с уважением и любознательством, если только говорящий их понимает самого себя». Виссарион Белинский — Василию Боткину. Из Петербурга в Москву. 13 июня 1840 года.

...Счастлив, кто точку Архимеда  
Умел сыскать в себе самом...

Ф. Тютчев

Атеисты, как и верующие, бывают настоящие и ненастоящие. Себя я отношу к первым, думаю, самопохвалы в этом нет, скорее наоборот, сейчас это может даже повредить общественной репутации (говорит героиня одного из документальных фильмов М. Голдвской: в наше время в бога не верят только идиоты). Особенно напугал меня диалог в «Литературной газете» с индийским журналистом, знатоком нашей страны Девом Мураркой: «Сейчас вас радует восстановление религии в правах, а вы не задумывались над тем, какую роль будет играть религиозный фактор лет через десять? И мусульманский, и христианский?» Зачем же через десять лет, отвечает ему наш ученый, специалист по Индии Борис Клюев, «посмотрите на битву за церковь в Западной Украине! Уже началось. Србственно говоря, у нас битва за храмы началась раньше, чем у вас в Айодхье!»

И верно! Та же «Литературка» приводит анонимное письмо, полученное священником греко-католической церкви Иваном Качанюком; начинается оно словами «Слава Иисусу Христу» и заканчивается обещанием повесить «дорогого батюшку» в самой церкви, буде он не откажется служить в ней. Если возвышенные религией люди способны вот так о з в ы ш а т ь пастыря, то что же — в случае чего — ожидает меня, грешного?.. И вообще, что же это такое н а д е л е — «религиозная нравственность», «религиозная духовность»?

Чужая душа, говорят, потемки, а сложнее уникальной у каждого человека психики в мире ничего нет. Я, например, совершенно не представляю себе духовный мир верующего человека. Для меня это глубокая тайна, но тогда откуда же верующий знает духовный мир атеиста? То есть откуда он знает, что у атеиста вообще никакого духовного мира нет и быть не может?.. Нельзя же думать,

что всякий верующий наделен, как щедринский жандарм Грацианов, способностью к чтению в душах.

Ни за кого не расписываюсь, но лично для меня долгие годы застоя были временем таких напряженных духовных исканий, такого упорства мысли, сияющей распутать земные узелки, что, когда эти годы, предположительно, кончились, я даже приуныл, — как жернова: вдруг перестало поступать зерно — все смолот!.. Какое-то время жернова эти прозябали, но потом, чувствую, закрутились снова: это когда пошла в наступление религия.

«Нет жизни вне Бога», — говорит герой романа В. Максимова «Семь дней творения». Я верю такому самоощущению, верю тем более охотно, что воспитан на соцреалистической литературе. Идеальный человек менее уязвим, какой бы идеей он ни защищался от жизни. Но правда и то, что такой спасительной идеей может быть принципиальное безбожие, сопровождавшее жизнь (да какую жизнь!) многих славных людей от Ксенована через могучего Спинозу до академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Оказывается, есть жизнь и вне бога, это для меня трюизм, и вот какая штука получается: хоть я и не представляю себе, в чем состоит духовная жизнь верующего, но допускаю, что это жизнь, верующий же на корню отрицает ее у атеиста. Но знает ли верующий, какая великая притягательная сила заключена в суровой истине материализма и атеизма, в истине, которая не нуждается для самоутверждения ни в капищах, ни в кумирнях, ни в храмах, ни в пышных одеждах и песнопениях? Не будучи прикосновен к такой идее, к такой истине, к такой жизни, как может судить о ней верующий? Может ли он понять, что таковая жизнь духа бог попросту не нужен, ни к чему, как и отрезал Наполеону Лаплас? Такая жизнь укладывается целиком в представление о безграничной творческой мощи природы. Больше того: если вся жизнь человеческого духа исчерпывается религиозностью, то я, каюсь, не могу не думать о такой жизни как о неполноценной и ущербной. Особенно умиляет обряд освящения какой-нибудь конторы по заготовке чего-нибудь такого, когда священник машет флейцем по 2 р. 14 к. и брызгает обыкновенной водопроводной, сильно хлорированной водой по всем углам, потолку и полу. Но даже не столько это производит угнетающее впечатление, сколько то, как благоговейно смотрят верующие на действие; смутно видится в этом что-то досредневековое...

Что до феномена загробной жизни, то в этом отношении характерен диалог О. Дмитриевой и знаменитого хирурга-сердечника Н. Амосова в «Комсомолке»: «...Вы тысячи людей вытаскивали после клинической смерти, — с трепетной надеждой спрашивает первая. — Что они рассказывают? «Там», по ту сторону что-нибудь есть? — О-о-о, если бы! Нет, там, к великому сожалению, — ничего. Ни одного свидетельства...»

Я в этой связи вспомнил мудрое замечание Анны Ахматовой: поэзия никогда не лжет — и сказанное атеистом Хайямом девять веков назад (впрочем, теперь и его пытаются «окрестить»):

Нет ни рая, ни ада, о сердце мое,  
Нет из мрака возврата, о сердце мое,  
И не надо надеяться, о мое сердце,  
И бояться не надо, о сердце мое.

(Перевод Германа Плисецкого)

Затронутый предмет очень важен для нашего сюжета. Ион Друцэ, размышляя в «ЛГ», совершенно справедливо отвергает так называемое «интеллектуальное христианство», которое в храм не ходит, постов не соблюдает и даже умудряется «проскочить мимо знаменитого замечания апостола Павла о том, что если не было Воскресения, стало быть, ничего не было».

Действительно, многие верующие, особенно из числа творческой интеллигенции, не хотят ни думать, как сказал Герцен, ни верить по-настоящему и обыкновенно говорят: нет-нет, во все эти фигли-мигли насчет непорочного зачатия и воскресения из мертвых я, конечно, не верю, верю только в «по образу и подобию». Все творчески-интеллектуальные споры только и вращаются вокруг

этого «по образу и подобию», но без всего того, что дает о с н о в а н и е для таких споров, они напоминают свару пассажиров в ильфо-петровском трамвае: никто уже и не знает, с чего и где она началась, а просто ввязываются, сообразно своему темпераменту, едва втиснувшись в гудящий склокой трамвай... И тут мне приходится защищать чистоту веры: нет, брат, говорю, любишь кататься — люби и саночки возить!

Истекающий XX век, особенно вторая его половина, ознаменованы великими достижениями науки генетики, в том числе и генетики человека. На их основе возникла, утвердилась и побеждает подлинно научная концепция биосоциального человека, кладущая конец мистифицированным представлениям о человеческой нравственности, рожденным две с половиной тысячи лет назад и с тех пор сильно поизносившимся. Эксплуатация религией достижений науки — обычное дело, но идея биосоциального существа, человека б и о л о г и ч е с к о г о, религия враждебна по самой своей сути: человек как творение природы и человек как «создание Божие» несовместимы. Конечно, религия попытается освоить и биологизм с тем, чтобы оправдать замечание безымянного ученого, приведенное в статье В. Ажажи «Ядовитый туман» в «Неделе»: «Пока критически мыслящий исследователь штурмует вершину науки, он и не подозревает, что там уже давно обосновался мистик», однако сделать ей это будет трудновато...

15 августа 1897 года Л. Н. Толстой записал в дневнике: «Был Ломброзо, ограниченный, наивный старичок...» 8 января 1900 года: «...философия Ницше, драмы Ибсена и Метерлинка и наука Ломброзо... Ведь это полное убожество мысли, понимания и чутья...» В прошлом году «Комсомолка» дважды печатала сообщения: алтайские ученые, исследуя, скажем так, б и о х и м и ю правонарушителей, подтвердили основные догадки Ломброзо о наследственной предрасположенности к совершению преступлений.

Запись от 5 августа 1895 года: «По В., объяснение наследственности состоит в том, что в каждом зародыше есть биофоры, биофоры же складываются в детерминанты, детерминанты складываются в иды, иды же в иданты. Что за прелесть для комедии...» Хорошо, что Л. Н. не написал комедию! «В» — это мое сокращение Артура Вейсмана, одного из отцов генетики, пользовавшегося, видимо, «неканоническими» покамест категориями этой науки...

Изо всех позитивных наук великий художник не признавал ни одной, признавал только науку нравственности, истекающую из десяти заповедей христианства. Через сто лет журналисты «Комсомольской правды» (которая ныне в мировоззренческом плане первым листом разворота примыкает к «Московским новостям», вторым — к «Литературной России») Г. Резанов и Т. Хорошилова в четыре руки сыграли на одной пишущей машинке следующую мелодию по партитуре Толстого: «Козьявки и разные пятна на солнце может каждый дурак посчитать, говорил он, нравственная деятельность есть к р е с т (разр. — Г. Р. и Т. Х.)... Спорят, спорят из-за горшков — безумные. Спорят, спорят из-за метлы, вещицы, из-за д о м о в, и з-з а з е м л и (разр. моя. — Ф. Е.) — несчастные...»

Бедный Жюль Фабр!.. Несчастный академик Амбарцумян!.. Дались вам эти козьявки, эти пятна па солнце, ну какой в них прок! Каждый же дурак... Да и как это б е з д у х о в н ы е люди не могут понять, что д о м а — мелочь, что з е м л я — совершеннейший пустяк!..

Хотя именно в з е м л е сегодня, как в яйце Коцея Бессмертного, заключены наша жизнь или наша смерть...

За все годы неудавшейся перестройки не читал ничего более безответственного. Надо же! Изо всего великого, бесценного, необозримого, нетленного наследия могучего гения извлекли на свет... — ну да, на свет б о ж и й!.. — самое-самое-самое... В угоду к р е с т у. Который как будто призван п р о с в е т л я т ь человека...

Вместе с тем это, конечно, и отражение вышеобозначенного конфликта религиозного и биосоциального. Здесь нас поджидает еще один феноменальный случай. В предуведомлении к беседе О. Дмитриевой с академиком Н. Амосовым говорится совершенно верно, с моей точки зрения: «Коммунизм, по Амосову, ненаучен уже потому, что не учитывает биологическую основу человека». По-

меня, что более подробно академик излагал этот свой взгляд в «Литгазете» еще в 1989 году, я уже ликовал в предвкушении единомыслия. И вдруг... Нет, сначала все-таки были слова, звучащие для моего уха волшебной музыкой: «Не существует примата «духовности». Материальное — первично. Сытость восстановит нашу нравственность...» Я уже намеревался прочесть это по телефону своим многолетним оппонентам, и вдруг... «...интеллект плюс религия (как система нравственных табу), плюс богатство сделают человека гуманнее... частная собственность плюс христианская мораль...».

Такое, думаю, не приснится и в страшном сне тому телепроповеднику, который в прошлом году в тихо почившей в бозе «Воскресной нравственной проповеди» говорил о полной противоположности человека биологического человеку духовно-нравственному — на религиозный, разумеется, манер...

Герой корреспонденции Е. Овчаренко «В семье не без племянника», опубликованной в «Комсомольской правде», Фил Леонетти «ходил в школу и в церковь по воскресеньям... творил добрые дела вместе с другими ребятами из католической молодежной организации», а выросши, стал мафиози и убийцей: «...кроме совершенных лично им двух убийств... участие в планировании еще восьми убийств, подкуп должностных лиц, избиения и запугивания людей...» Ныне он дает показания судебным органам, согласившись на роль так называемого «источника», то есть предавая уже своих... «Нужны ли тут слова?» — говорил в таких случаях И. Бабель. Разве только: вот что такое «...плюс христианская мораль»!..

Слышу выдержанные в какой-то странно знакомой фразеологии возражения: конечно... кое-где... иногда... в отдельных случаях... а в целом христианская мораль... ум («интеллект», по Н. М. Амосову), честь, совесть... нравственные табу опять же...

Нечто невероятное происходит в наше время с людьми, даже очень умными. Еще вчера они апеллировали к е д и н и ц е — теперь единица уже ничего не стоит и н и ч е г о не доказывает. «Бог есть толпа» — подавай им снова т о л п ы как аргумент. Даром, что ли, А. И. Солженицын выражал искреннее недоумение по тому поводу, что академик А. Д. Сахаров слишком много сил и времени отдает хлопотам и защите к о н к р е т н ы х людей. О нет, не случайно это!

Вам нужны толпы для аргументации?

Девятьсот тридцать лет плюсовало православие христианскую мораль к российскому интеллекту — и безуспешно. И не этот неоспоримый исторический факт занимает теперь позитивиста, а то, что оппонирующая мысль работает только над тем, как бы п о в т о р и т ь отрицательный опыт. Отчаянно бьется в прозрачное стекло, хотя сзади — широко распахнутая дверь...

Доктор технических наук, профессор «Бауманки» В. Н. Волченко выражает в журнале «Собеседник» глубокое убеждение: «В науку необходимо п р и в н е с т и — (разр. моя. — Ф. Е.) морально-этические категории... Наука должна признать религию...»

Ни академик Н. М. Амосов, ни профессор В. Н. Волченко не усложняют проблему и не отягощают свою рекомендацию некоей малостью: КАК ее осуществить на практике? Как «привнести» в науку морально-этические категории? Как «приплюсовать» христианскую мораль к интеллекту нашего человека? Убеждением? Пропагандой? Декретированием? Обязательной припиской каждого гражданина к церкви по месту жительства?.. Да ведь все это уже было!.. Доктор физико-математических наук Н. Работнов заявляет в журнале «Знамя», что уверовать в бога для него, «невоинствующего атеиста», означает просто-напросто поменять голову. В сущности, это единственно действенное средство, но в области хирургии головы нет еще своего профессора Блайберга. Сама-то подобная операция осуществлялась всегда, но только профессионалами другого рода и притом совсем недавно, можно сказать, вчера: единообразное мышление вколачивали молотком и зубилом, а несдающиеся «чуждые взгляды» смахивали вместе с головой. Можно ли не думать о том, что наша национальная память вполне подпадает под определение «манкуртства»?.. Да и то сказать: слишком долго били нас по голове, удивляться не приходится...



«Н е т о л ь к о верующий может быть нравственной личностью. Н е т о л ь к о церковь способна воспитать человеческое в человеке», пишет вразрядку С. Чупринин, осмысливая в послесловии к публикации в «Знамени» воспоминаний А. Д. Сахарова нравственные уроки этой великой жизни... Увы, «воспитание» может быть только процессом САМОВоспитания, то есть развертывания природных данных в данных социальных условиях!

Человек невоспитуем — зато прекрасно обучаем, почему человечество и выживает как вид. Воспитание в нашем привычном понимании этого слова есть, в сущности, ПЕРЕвоспитание, то есть переделка природы, лысенковское превращение лебеды в рожь. Антигуманный смысл «перевоспитания» замечательно точно выявляет его коммунистический аналог — «перековку»: сплющить человека молотом на наковальне и затем выковать нового — «по образу и подобию»...

Величайший пример невозможности перевоспитания и, так сказать, самоперевоспитания в религиозном духе — Лев Николаевич Толстой, а свидетельством тому — его дневники.

Он хотел стать и с т и н н ы м христианином, по понял, что стать им в рамках официальной церкви невозможно. Он хотел — чисто рационалистическое решение — каждый шаг своей жизни подчинить требованиям христианских заповедей и мужественно признавался — не выходит. Он хотел н а д е л е возлюбить всех людей — а дневники пестрят признаниями: недобро встретил посетителей, но потом, в с п о м н и в, исправился... Было бы, разумеется, неплохо, если бы каждый христианин хотя бы п о т о м, после первоначальной реакции, спохватывался, но нельзя забывать, что Толстой — это Толстой.

Сомнения в существовании бога, по-видимому, в той или иной мере присутствуют всем верующим (и легко понять их ненависть к сатанинским позитивистам: раздувают, мерзавцы, тайный уголек сомнения), но опять-таки только Л. Н. Толстой мужественно в них признавался самому себе.

Вот записи в дневнике. «В первый раз в жизни почувствовал случайность всего этого мира...»; «Ночью и поутру нашло, кажется, никогда не бывшее прежде состояние холодности, сомнения во всем, главное, в боге...»; «Есть ли бог? Не знаю. Знаю, что есть закон моего духовного существа. Источник, причину этого закона я называю богом...»

Подписываюсь под этим и могу повторить то же самое, хотя и без «бога». Остается только выяснить: почему у меня и н о й нравственный закон в душе?

Как раз когда отмечался 150-летний юбилей со дня рождения Л. Н. Толстого, в октябре 1978 года, в Москве работал Международный генетический конгресс. На нем единодушно был признан феномен антропологического полиморфизма, суть которого может быть выражена предельно просто: каждый человек уникален. Неповторим. Единичен. В этом отношении он подобен природе, живой и неживой. Природа не повторяется ни в чем...

Сейчас в мире уже пять с половиной миллиардов землян. Пять с половиной миллиардов р а з н ы х индивидов, пять с половиной миллиардов невероятно сложных с о з н а н и й, каждое из которых — целый мир, космос, галактика, вселенная. То, что нам известно об индивидуальной человеческой психике, объемлет, как утверждают, ничтожный процент ее потенциальных возможностей. В сопоставлении с таким невообразимым богатством не только религиозная, но и в с я к а я другая модель образцового человека воспринимается не иначе как только шутка. Если человек есть «создание Божие» и если создатель умещает свое лучшее создание в столь узкие параметры, то это хороший повод сравнить творческие возможности природы и бога. Десять заповедей? Да ведь это «ложе» древнегреческого Прокруста, считавшего, что все беды на Земле проистекают из того именно, что все люди — разные (образ отрицательный, самито греки в лице Протагора догадались об антропологическом полиморфизме и его «узаконили»), и изобретшего неслыханно простой способ привести всех землян к общему знаменателю. Эта п р о с т о т а до сих пор не дает покоя мыслителям. Один из предшественников новой прозаической волны В. Пьецух пишет в «ЛГ»: «Ну не выдумало человечество ничего проще и умнее того, что в десяти фразах заповедовал Господь Бог! И не выдумает никогда». Меня почти ошело-

мили эти два слова — «проще» и «никогда». Что до первого, то на этот счет ошибался и Маркс, говоривший, что в конце концов отношениями между коммунистическими государствами будут руководить «простые правила нравственности». Убежден, что это не случится, и межчеловеческие и межгосударственные отношения не только не упростятся, но всегда будут невероятно сложными. А относительно «никогда» — тут просто мороз по коже. «Никогда» — это к о н е ц развитию, духовным исканиям, умственному прогрессу!

В урагане сегодняшних славословий в адрес церкви-спасительницы раздался только один спокойный и негромкий голос — В. Познера в одном из номеров «Собеседника»: церковь — реакционный институт... Не потому только, что — ц е р к о в ь, а еще и потому, что — и н с т и т у т, учреждение, которое, по Марксу, сильнее людей.

Все это ничего не значит, говорит В. Пьецух, лишь бы заповеди были, умнейшие и простейшие, а они есть, стало быть, все в порядке. Меня, как позитивиста (нисколько не обижаюсь на нынешние кавычки у этого слова, наоборот, чувствую себя в них героем Э. Ионеско, ставшим на пути всеобщего носорожества), прямо изумляет этот тип мышления, эта беспредельная вера в слова, протворечащая сказанному нашим действительным Учителем жизни:

...Стократ блажен, кто предан вере,  
Кто, хладный ум угомонив,  
Покоится в сердечной неге,  
Как пьяный путник на ночлеге  
Или, нежней, как мотылек,  
В весенний впившийся цветок;  
Но жалок тот, кто все предвидит,  
Чья не кружится голова,  
Кто все движенья, все слова  
В их переводе ненавидит,  
Чье сердце опыт остудил  
И забываться запретил!

Жить по-христиански нельзя. И это сказано не мной — глубоко верующим христианином А. Синявским, а процитировано Г. Померанцем в апрельском номере «Знамени» за прошлый год. Нельзя! Земные условия не позволяют. Понедение и жизнь человека определяются наследственностью и средой, вырваться из которой совершенно невозможно. Равно как и освободиться от наследственной предопределенности. Ее можно только осознать и, так сказать, поставить себе на службу:

«Что нужно, чтобы жить с умом? Понять свою планиду: найти себя в себе самом и не терять из виду...» (А. Твардовский).

Ну а если жить по-христиански нельзя — следовательно, феномен некоей о с о б о й религиозной нравственности, христианской морали есть всего лишь теоретическая абстракция, то есть нечто в ы д у м а н н о е, измышленное и при этом не могущее быть синонимом о б щ е ч е л о в е ч е с к о й морали, так как христианские заповеди отличны от мусульманских, православные от католических и т. д.

Всегда были, есть и будут образцовые, с поведенческой точки зрения, индивиды, но доказать, что они стали такими под воздействием неких моральных заповедей, невозможно, ибо нельзя отделить влияние наследственности от влияния среды, включающей в себя все формы воздействия на поведение. В том числе и провозглашаемые религиями моральные заповеди. Их воздействие было и пребудет гипотезой. Зато воздействие наследственности из области догадок и предположений («яблоко от яблони недалеко падает») перешло в область научно доказанного...

Пусть так, говорят мне неохристиане, пусть абстракция, пусть гипотеза, но зато — м о д е л ь образцового человека, идеал, к которому будто бы должны стремиться и меняться люди, дни и ночи якобы думающие о том, как бы приблизиться к «образу и подобию». Это — тоже гипотезы: и «должное», и «стремле-

ние», и «приближение», которое вместе с тем может быть и «удалением». Всему этому нет доказательств. Таких доказательств просто не может быть: нельзя вынуть человека из среды его обитания, чтобы поставить на нем «чистый» религиозный опыт. А в «нечистой» общественно-исторической практике доказательств противоположного слишком много, и их, увы, нельзя опровергнуть, ибо это — факты!..

Однако и существование религий — факт общественной жизни, и нередки случаи, описываемые в разных источниках, когда преступник, придя к богу, изменял свое поведение, раскаивался. Принимаю и вопреки не глаголю, хотя и смущает то, что о подобном пишут почти исключительно верующие же. Впрочем, агитационно-пропагандистский смысл подобных сообщений не мешает признать: чудесные случаи не только есть, но и должны быть, если учесть величайшее разнообразие людей, среди которых есть и такие, которые могут поверить во что угодно. Исходный пункт такой метаморфозы — с а м человек с такими-то генетически обусловленными чертами характера.

Повторяю: впредь не глаголю. Вера — дело интимное. И благое. А вся беда в том, что церковь (в широком смысле) силится придать ей универсальный характер: стоит, мол, в с е м прикоснуться к нашему богу или, по Н. Амосову, приплюсовать к частной собственности христианскую мораль (так невнимательный школьник суммирует машины с километрами), сразу же дела пойдут на лад. Нет, не пойдут. Во всех странах, хоть с Библией, хоть без нее, стабилен процент рецидивизма среди преступников (примерно одна треть), меньше или больше — это зависит от состояния социума.

Вообще-то говоря, от социальных условий зависит не столько человек как единица, сколько народ как целое. Вероятно, это и имеют в виду пропагандисты лозунга «Все, как один, в религию!» — индивидуальных приобщений им явно недостаточно. Тут — момент обращения мировоззрения в политику, тут — церковь превращается из «школы нравственности» в политическую силу, не могущую не добиваться определенных политических целей...

И мне не кажется странным, что Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в беседе с бригадой журналистов «Комсомольской правды» (С. Берестов, Т. Хорошилова, Г. Резанов), отводя обвинения (со стороны ЗРПЦ) в том, что «советское» православие было лояльно по отношению к сатанинской власти и даже сотрудничало с ней, ссылается на с о ц и а л ь н ы е у с л о в и я, в которых осуществлялась деятельность церкви:

«Приходилось говорить н е п р а в д у, приходилось говорить, что у нас в с е н о р м а л ь н о. Но ведь шли гонения на Церковь. Делались заявления о п о л и т и ч е с к о й л о я л ь н о с т и. Отказывались от полноты церковной жизни, от благотворительности, от м и л о с е р д и я, от Державной иконы Божией Матери тоже. Ш л и н а к о м п р о м и с с ы (разр. моя. — Ф. Е.). Ради того, чтобы оставили Церковь людям, чтобы Церковь не ушла совсем в катакомбы... Митрополит Сергей, когда подписывал декларацию, сам находился в тюрьме, но он подписал не для того, чтобы выйти. Есть сведения, что ему сказали так: если вы не подпишете, все епископы, которые находятся в заключении, будут расстреляны...»

Выходит, даже церковь в ы н у ж д е н а была отказываться от принципов, от нравственных заповедей... Ради того, чтобы в ы ж и т ь...

Тогда о чем же мы спорим?.. Выживание — закон всего живого, всех живых систем и организмов, от микроба до человека. Закон природный, биологический, не допускающий ни единого случая «в порядке исключения», в отличие от законов социума, который тоже, впрочем, природное образование, хотя и специфическое. Закон, опровергающий и опрокидывающий все и всяческие моральные заповеди и заветы... Фома Аквинский великодушно разрешил верующим красть, если кому-либо из них грозит голодная смерть: где же «не укради»?..<sup>1</sup> Все религии благословляли и благословляют не только оборонительные,

<sup>1</sup> Женщина мечется между мужем и любовником: «Священник сказал мне: «Если веришь, что ложь идет во благо, то лги». (К. Лаврова, «Комсомольская правда»). А не податься ли, думаешь, в верующие, чтобы во всех щекотливых случаях получать подобное благословение?..

но и наступательные войны — где пятая заповедь?.. «...Для Церкви важнее всего сохранить себя, — говорит журналистам «Комсомолки» высокий собеседник. — ...христианину п р и х о д и т с я (разр. моя. — Ф. Е.) брать на душу грех, чтобы избежать греха большего. Если хотите, типичный пример: война. Церковь н е в о л ь н а (разр. моя. — Ф. Е.) в этом. Ей приходится благословлять солдат, защищающих Родину. Убийство остается убийством даже на войне, и это грех. Солдат, вернувшись с войны, должен нести покаяние. — Но ведь убивать — не желание солдата, а его долг... — Долг есть долг, но любое убийство отравляет душу!.. — А если человек не идет на войну? — Грех еще больший...»

Патриарх, как видим, оправдывает и е р а р х и ю нравственных постулатов христианства (и на первое место ставит ценность ж и з н и церкви как ц е л о г о — вполне прагматический взгляд, предусматривающий и такие ситуации, когда могут быть обесценены решительно все заповеди, за исключением последней: выжить. Ну а зловерный материалистический атеизм с нее прямо и начинается, а затем уж поднимается вверх по ступеням свободы как возможности придерживаться личных нравственных установок. В иерархии, выстроенной подобным образом, по крайней мере, нет места греху л и ц е м е р и я!..

Замечу попутно: во всех смыслах приятнее зависеть от свободного общества, чем от тоталитарного. Но и у свободного общества не может не быть своих целей, возможно, менее заметных, не знаю, не довелось жить в таком обществе. Вот вы нас критикуете, говорит Алексей II зарубежным единоверцам, а сами-то?.. «...Я могу сказать митрополиту Виталию: если вы убеждены, что миром правят масоны, то почему вы не анафемствуете президента США?»

Я, грешен, думаю: потому не «анафемствуют», что небезопасно, п р и х о д и т с я тоже скрывать высоконравственный антимасонский гнев. К тому же, в чужой монастырь со своим уставом не суются — еще один релятивистский момент, затесавшийся в систему нравственного абсолюта...

В эпоху репрессий и гонений на церковь, по существу, не было настоящего идеологического противостояния между религией и атеизмом (который сам как таковой к репрессиям против верующих не имеет никакого отношения: всех — и верующих, и атеистов — перемалывала государственная машина террора). Это было только на пользу религиозной идеологии: гонимая идея всегда сильнее. Ныне положение изменилось — особенно с принятием Закона о свободе совести, и в самое короткое время выявился центральный пункт бескомпромиссной полемики: человек как «создание Божие» или человек как биосоциальное существо.

Человек, идущий по ровной степи без видимых ориентиров, неизбежно возвращается к месту, откуда вышел. Точно так же и биосоциальная концепция человека как существа земного, пережив Возрождение, реформацию, просвещение, социальную теорию марксизма, фрейдистский биологизм, вернулась к догадке Аристотеля: человек есть животное социальное.

Итак: «создание Божие» или «биосоциальное существо»?

Как всегда, наилучшие варианты решения проблемы «или-или» предлагает философская эклектика. Соединение в биосоциальном человеке частной собственности и христианских заповедей по способу академика Н. Амосова или привнесение в науку морально-этических категорий того же христианства по проекту профессора В. Волченко — эклектика в теории и тупик в практическом ее осуществлении, что, к счастью, исключено. Жизнь притиснула нас к идее рыночной экономики, не оставив «выбора» между нею и «плановой экономикой социализма». А рыночная экономика являет собой реализацию идеи естественного отбора, которой, как мартовский снег водой, набухла пресса.

«Рынок выбирает сильнейших» (академический «Поиск»).

«Заменить извращенный механизм естественного отбора правильным, нормальным отбором» (О. Мороз, «ЛГ»).

«Неестественный отбор» («Труд»). «Противоестественный отбор... — страшное преступление большевизма» (д-р ист. н. А. Кива, «Комсомольская правда»). И это лишь немного из того, что под рукой.

Большевизм мог не быть злейшим врагом «социального дарвинизма», и религия в борьбе с этим «змием» обнаруживает все признаки большевизма. И

то, что первый ориентировался на «сознание», а другой на «нравственность», не имеет значения. Утопия равна утопии.

Кстати о нравственности.

По частоте употребления слово это «нравственность», по-видимому, занимает первое место во всех языках мира. Но это именно только слово. Образ. Метафора. Символ. И с действительностью соотносится так, как, скажем, табличка «площадь Свободы» в Минске с теми реальными свободами, которые обретает минчанин, ступающий на эту площадь: слово есть — свободы нет.

Всякий человек нравствен, поскольку вступает в контакт с внешним миром, осмысливает его, общается с себе подобными, говорит, думает, переживает, но во всех случаях — на свой лад, ему одному присущим способом. Безнравственность кого бы то ни было — это не слепонемоглухота, это просто нежизнь.

Слово как образ, как метафора облегчает мышление, общение и взаимопонимание меж людьми. Мы все приблизительно знаем, что имеет в виду собеседник, толкующий о нравственности: нравственное — то, что ему нравится в поведении людей, безнравственное — что не нравится. Но это «нравление» и «ненравление» — разные у всех индивидов. Для Брежнева, например, академик А. Д. Сахаров был исчадием ада, для меня — он человек великого ума и мужества.

«Абсолютная нравственность, — писал Герцен в «Концах и началах», — должна делить судьбу всего абсолютного — она вне теоретической мысли, вне отвлечений во все ее существо» (разр. моя. — Ф. Е.). Нравственностей *несколько* (курсив Герцена), и все они очень относительные, то есть исторические...» (сб. «Письма издалека»). Конечно, абсолютист А. Гулыга, призывающий покончить с релятивистской моралью, то есть за-пре-тить мне, например, говорить, писать и даже думать об относительности моральных норм, с Герценом не согласится, но абсолютная нравственность от этого в реальное поведение людей не воплотится... Александр Иванович Герцен (о котором нежно любивший его Л. Н. Толстой говорил, что в России его будут читать через сто пятьдесят лет, — осталось ждать полвека и даже меньше) — это и есть моя Библия, мои четыре Евангелия, мои Ветхий и Новый Заветы!

Вообще-то, лично я спокойно отношусь к «возрождению» религиозно-идеалистической идеологии в нашей стране. Это пройдет, если большой общественный организм излечится. Да и сама болезнь общественного «духа», «сопутствующая» болезни общественного экономического «тела», свидетельствует о невозможности отделить одно от другого. Однако решительно не понимаю верующих, сгущающих на мерзавцев-большевиков, будто бы отнявших у них веру. Как можно веру отнять? Вместе с головой, что ли? Истинно верующий скажет, перефразируя Декарта: живу — следовательно, верую...

Не успела Елена Тарасова в повести «Не помнящая зла» сказать, что «дуنيا повторяет тело», как критик Павел Басинский обвинил писательницу в том, что она отнимает у нас (!) душу и «с поразительным упорством загоняет» верующих «в духовный тупик». Видимо, это следует понимать так: критик, прочитавший вечером повесть Е. Тарасовой, утром едет на работу во вчерашних пальто и шляпе, но уже без души... Неужто «душа» — что-то вроде пылицы, которую можно слудть неосторожным движением пера и печатной машинки? Фу — и нету?

Понятно желание критика: согласно его мирозерцанию, «душа» должна «повторять» не тело, а бога, и если бы автор хоть разочек употребила в тексте слово «Бог» — все стало бы на место... Увы, и это уже было...

Напомню хотя бы запись в дневнике А. П. Довженко.

По прочтении сценария документального фильма «Украина в огне», «вытаращив на меня глаза, как плохой фальшивый актер, он (Берия) грубо гаркнул мне на заседании Политбюро (в начале сорок третьего года): — Будем вправлять мозги!.. — О, я знаю тебя, — грозясь пальцем и так же злобно вытаращив глаза, поучал меня друг Берии Н. (так в тексте. — Ф. Е.) — Ты вождю пожалел десять метров пленочки. Ты ни одного эпизода в картинах ему не сделал. пожалел! Не хотел изобразить вождя! Гордость тебя заела, вот и погибай теперь... Ты-ы... Как надо работать в кино?! И что твой талант? Тьфу, вот что твой талант... Ничего не

значит, если ты не умеешь работать... Ты работай, как я: думай что хочешь, а когда делаешь фильм, разбрасывай по нему то, что любят: тут серпочек, тут молоточек, тут серпочек, тут молоточек, там звездочка... Вот и был бы ты человеком. А теперь мой совет тебе — исчезай, как будто тебя и не было...» (А. Довженко «Зачарованная Десна»).

Требование П. Басинского, чтоб «душу» представлял «Бог», а не «тело», сродни совету «друга» — разбрасывать по тексту повести то, что нынче «любят»: тут крестик, тут распятыце, тут крестик, тут распятыце, там венчик...

«Душа («нравственность») повторяет тело» — этим схвачена и передана самая суть проблемы. В слове «нравственность» действительно зашифрованы нейропсихологические процессы строго индивидуального характера, протекающие в индивидуальном мозге, функциональная асимметрия которого и позволяет человеку поступать так, как советовал «друг Берии»: думать — как хочешь, а делать — как надо для жизни, для в ы ж и в а н и я. Гармоничные индивиды не выносят такого раздвоения, уходят в подполье, в дворники, в «операторы котельных», забиваются в щель, чтобы выжить, но выжить в с в о е м п р и р о д н о м к а ч е с т в е. Председатель Союза духовного возрождения Отечества Михаил Антонов рассказывает в интервью белорусскому еженедельнику «7 дней», что после трех лет ленинградской спецпсихбольницы о работе по специальности ему нельзя было и мечтать. Заниматься же н е с в о и м делом было для него равносильным социальной деградации, во избежание которой Антонов поступил в профтехучилище, работал библиотекарем, потом утвердился в православии. Вера и помогла ему выжить в экстремальных условиях. Что же из опыта этой судьбы следует? А вот что: стремление во что бы то ни стало остаться самим собой руководило поступками, прежде чем человек приобщился к религии...<sup>1</sup>

«Индивидуальность является свойством живой природы, — пишет Антони Кемпинский, польский психиатр и философ, в книге «Психопатология неврозов». Одной из черт процессов живой природы является и диалектика изменчивости и постоянства: ни один из атомов в организме не остается тем же, все изменяется, однако и... изменчивость — не изменяется...»

Человек неизменен в генетическом смысле, но превосходно изменчив в смысле социальном. В безбрежном океане вырезок затерялась одна, ценная: некий академик с армянской фамилией писал в доперестроечной «Комсомолке», что человек — это биологический каркас, неизменный в данном роду, однако навешиваемые на этот каркас социальные железобетонные плиты можно менять сколько угодно. Учитывая, что пять с половиной миллиардов землян — это пять с половиной миллиардов в а р и а н т о в приспособления человека как вида к среде обитания, нетрудно представить себе, до чего п л а с т и ч е н род людской в своих приспособительных возможностях. В Индонезии обнаружили остров, на котором радиационный фон в 200 раз выше естественного, — и ничего, люди живут и с успехом размножаются. Но можно предположить, что произошло это не вдруг, а в результате долгого естественного отбора, когда одни почему-то умирали, а другие выживали и производили потомство...

Человек неизменен, а социальные формы меняются, и человек очень скоро вписывается в них. Придя к власти, Хуан Перон объявил, что административные должности получат только члены его партии, и на следующее утро полмиллиона аргентинцев проснулись перонистами. Да что Аргентина! В Новосибирске (и по всей стране, конечно) «перестроили» прежний повальный атеизм в повальную любовь «к родному православию». И даже товарищ Полозков усаживается в президиум бок о бок с «нашим» священником в надежде, что ряса и крест

<sup>1</sup> Как отрадно встречать единомышленника из числа властителей дум!.. «Неделя» напечатала отрывки из «Философии счастья» Артура Шопенгауэра: «Нельзя уйти от самого себя... Единственное, что мы можем в этом отношении сделать, это использовать наши индивидуальные свойства с наибольшей для себя выгодой... выбирая ту должность занятия, тот образ жизни, какие подходят к нашей личности... Никто не может изменить своей индивидуальности — своего нравственного характера, умственных сил, темперамента, физиономии и т. д.». Современная наука все это поставила на твердый фундамент генетики.

помогут ему совершить чудо, и он, «подобно Георгию Победоносцу, поразит дракона демократии и рынка...» Вообще-то говоря, дракон сей неприятен и для церкви, при нем общественная жизнь неизбежно секуляризируется... Победные реляции Г. Резанова и Т. Хорошиловой о ротах, батальонах, полках и целых дивизиях, в стройном порядке совершающих ныне обряд крещения, разбиваются о горестный вздох журналистов, что «истинно верующих русских» все равно-де прискорбно мало.

А раз человек неизменен, то и невоспитуем в амосовском смысле. Его не взять ни пропагандой и агитацией, ни проповедями, ни книгами, ни душеспасительными беседами, ни убеждением, ни принуждением, ни насилием. Ни Библией, ни топором. Всякое непосредственное воздействие на человека с целью изменении его сущности и всех ее проявлений подобно стрельбе в тире по жестяной фигурке, а не по вынесенной в сторону мишени. Можно стрелять до второго пришествия, истратив все мировое богатство — фигурка не упадет. А прицелился в мишень, соединенную с фигуркой передаточным механизмом, — упала. Эта мишень — человеческое общество, стреляйте в него, если хотите изменить человека. Но зная наперед: изменятся не все индивиды. От преступности все равно не избавиться. И не пытаюсь нравственно изменить общество. Это — невыполнимо. Выполнимо иное: создание общества по экономическим законам. Законы эти очень просты: вложи в производство рубль и получи несколько копеек прибыли, а не убытка. Общество будет богатеть, а общественный «дух» — повторять его экономическое «тело» в той же конфигурации, с той же скоростью и в тех же объемах. О. Мариничева в очерке «Торгаши и герои» рассказывает, как, поеживаясь, шла к молодым советским предпринимателям, ожидая встретить ходячие счетные машины, но с изумлением увидела, что свое дело рождает и духовный подъем, и интенсивнейшую умственно-психическую, сиречь «духовную», деятельность! Деньги — только оценка, — признается один нынешний миллионер, — а бизнес — это азарт, игра. «Все опрошенные миллионеры — трудоголики», — комментирует автор материала. Вот это и есть «нравственность»!.. И в каком же, право, надо быть ослеплении, чтобы считать, будто «духовность» — это чтение Библии на сон грядущий да регулярное посещение церкви! Не спорю, может, у кого-то дух от этого воспаряет и просветляется, да только проповедями экономическое бесплодие не лечится. Только от сильных мужиков «третьего сословия» страна может наконец-то забеременеть богатством. От слов, какими бы возвышенными они ни были, — ни в коем случае!..

Все это опять и опять возвращает нас к вопросу: что же такое человек? И как бы мы ни увильвали от прямого ответа на него, а признать придется правоту Аристотеля...

Как и все другие, эти слова, конечно же, ничего не меняют, но по крайней мере позволяют выработать реалистическую модель общества, опирающуюся на реального человека, а не выдуманного. Такое общество не может не быть обществом свободы. Прежде всего экономической, а потому и в той же степени — нравственной. Поэтому иначе как призывом к насилию не могу назвать требование А. И. Солженицына «немедленно прекратить атеистическое вдалбливание»<sup>1</sup>. И? Начать вдалбливание религиозное? Безуспешно осуществляемое с 988 года с перерывом на каких-то семь десятков лет?.. Обязательно, отвечает хор «имеющих с ч а с т ь е верить» (разр. моя. — Ф. Е.) под управлением академика Н. Амосова: вот мы — счастливы, ну и желаем, чтоб были счастливы «все как один!» А. Кемпинский описывает такой случай: «В благодарность за спасение и приют (между прочим, акт «духовности») сорока принесла с огорода и стала совать в рот хозяину самого лучшего червяка. Хозяин отмахивался и отплевывал-

<sup>1</sup> В этом нет преувеличения. А. И. Солженицын, по сути, выступает против Закона о свободе совести, разрешающего как религиозную, так и атеистическую пропаганду, как выступает он вообще против самой идеи правового государства, путь к которому, начавшийся в эпоху Возрождения, был, по мнению писателя, стратегической ошибкой человечества (см. «Размышления по поводу двух гражданских войн», интервью А. И. Солженицына испанскому телевидению в 1976 году, перепечатанное в «Комсомольской правде»).

ся. Тогда озадаченная сорока стала совать червяка хозяину в ухо. Сорочье мышление свойственно и человеку. Я сам как-то купил две пластинки Николая Сличенко и подарил одну хорошей знакомой, которая впоследствии призналась, что терпеть этого певца не может.

Однажды я возликовал, прочтя у Герцена: вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его. Свое знамя я потерял в 1968 году, почувствовал громадное облегчение и больше никакой другой идеологии не хочу. Хочу соотноситься с миром напрямую, без идеологических посредников, в особенности без тех, что официально и с гордостью именуют себя рабами божьими. «Не токмо, что царю, ниже самому Господу Богу холопом быть не хочу!» — цитирует ломоносовский девиз Твардовский в речи о Пушкине. Ума не приложу, как мог В. Непомнящий в ыч е р к н у т ь это из Пушкинианы? Ведь даже ортодоксальнейший христианин и священник С. Булгаков признал, что «не на путях исторического, бытового и даже мистического православия пролегла основная магистраль его жизни, судьбы его» (сб. «Пушкин в русской философской критике»).

Как всему миру известно (любимая сказочка тоталитаризма) — «вначале было Слово». Верой в него счастлив Ю. Кублановский, чей голос из «хора», запечатленный в «скрижалях» «ЛГ», я процитировал выше, и на это свое счастье, как на бумажную веревочку баранки, нанизывает всю свою философию: «самая глубокая философия утверждает «свободу выбора».

Увы, это очень мелкая философия на очень глубоких местах, гипотеза, не подтвержденная человеческой п р а к т и к о й, так как не было случая, чтобы реальный человек смог бы найти по крайней мере д в а выхода из одной и той же ситуации. Только в литературе возможно «проиграть» конкретную ситуацию с другим исходом. Но это уже из области воображения. Да — говорят «выборщики», но вот д р у г о й человек в идентичной ситуации поступил иначе... Так ведь я только о том и толкую: в с е л ю д и р а з н ы е, каждый думает и поступает по-своему, другой — это Другой, и это совершенно иная р е а к ц и я !.

Именно — реакция, а не «выбор». И если взять антропологический полиморфизм (в безграничных рамках которого — «если два человека делают одно и то же, то они делают НЕ одно и то же») да помножить его на утверждение И. М. Сеченова («Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы»), то производным будет тот безбрежный мыслительный и поведенческий плюрализм, который пророс даже через чугунные плиты отечественного тоталитаризма...

Из «свободы выбора», по Ю. Кублановскому, само собой вытекает положение, что «человек сам кузнец своей судьбы» и «творец своего счастья».

Помните у Чехова? Герой, который убеждает гостя в том, что семейное счастье не свалилось на него с неба, что он сам его кузнец, а в это время жена счастливого семьянина бесповоротно влюбляется в гостя... Вероятно, человек как «кузнец своего счастья» в той же мере и «кузнец своего несчастья», то есть по своей собственной в о л е, по своему желанию и расчету с а м делает свою жизнь несчастливой? Но тут уже начинается философия унтер-офицерской вдовы, а вернее, городничего, олицетворяющего социальные обстоятельства, обрекающие людей на несчастья... Кому позавчера, вчера, сегодня «живется весело, вольготно на Руси?» Мало кому, разве одному пьяному, как сказал в частной беседе Н. А. Некрасов более ста лет назад. Да вот еще поэту Ю. Кублановскому... Несчастливая страна и громадное большинство народа, по Ю. Кублановскому, с а м и в и н о в а т ы: не захотели, вишь, будучи «кузнецами своего счастья», выковать таковое и для страны и каждый для себя, хотя сугь-то в том, что никогда еще русскому человеку не позволялось русской властью с а м о м у ковать собственное счастье...

А вот прежде, в блаженные времена, в золотые века России, продолжает Ю. Кублановский, «был грех, но было раскаяние, было стяжательство, но был и бескорыстный порыв, было бюрократическое фарисейство, но было и милосердие...».

Гоголь теперь у всех на слуху, но не Гоголь «Шинели», «Ревизора» и «Мертвых душ», а Гоголь «Выбранных мест...». Читаются они, однако, избирательно,



как бы одним только глазом, другой — спит. Например, в главе «О помощи бедным» с отрадой читается: «За пожертвованием у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать...» — «целиком» голодающим губерниям (это в золотые-то века!), которые, впрочем, голодают исключительно от «всем нам общей человеческой беспечности».

А вот дальнейшее — не читается: «Но пожертвования собственно в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли... до места назначенья его пожертвование. Большею частью случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего».

Что в России? — спросили Карамзина во Франции. Он ответил: воровство.

Согласившись, однако, с Ю. Кублановским в том, что были и примеры действенного милосердия, вернемся к субботнему очищению. Шесть дней греха, стяжательства и бюрократического фарисейства и один день очищения? Точно по А. Блоку?

Грешить бесстыдно, непробудно,  
Счет потерять ночам и дням,  
И, с головой от хмеля трудной,  
Пройти сторонкой в божий храм.  
Три раза преклониться долу,  
Семь — осенить себя крестом,  
Тайком к заплеванному полу  
Горячим прикоснуться лбом.  
Кладя в тарелку грошик медный,  
Три, да еще семь раз подряд,  
Поцеловать столетний бедный  
И зацелованный оклад.  
А воротясь домой, обмерить  
На тот же грош кого-нибудь,  
И пса голодного от двери,  
Икнув, ногою отпихнуть...

Обряд покаяния, очищения через покаяние — это, в сущности, официально разрешенный, санкционированный церковью грех, то бишь индульгенция. Что бы ни натворил в течение недели — исповедуйся у батюшки, покаяйся, затем сходи в субботнюю баню, и ты снова, говоря по-белорусски, чысты, як шкельца. Вот как легко и просто снимается мучительная проблема л и ч н о й о т в е т с т в е н н о с т и перед самим собой, перед собственной совестью! В этом обряде просматривается та же логика, по которой наше государство с легкостью беспримерной списывает миллиардные долги колхозов: государство насилует, не дает свободно хозяйствовать и свободно распоряжаться произведенным продуктом — пусть, мол, само и расплачивается за несвободу!.. Т а к колхозу жить значительно л е г ч е, почему и держатся в большинстве за колхозы не только колхозные генералы. То же и верующий: обряд покаяния (если я правильно называю его «обрядом», признаю свою некомпетентность) — это всемерное облегчение (но какой ценой!) жизни верующего, плата за его духовную несвободу, за то, что он, как говорит Ю. Кублановский, не живет, «сообразуясь лишь со своим с а м о ч и н и е м» (разр. моя. — Ф. Е.). Всему этому — ну что ты скажешь! — опять перечит Александр Сергеевич. Ему было в чем каяться:

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

Несмываемы. А если бы можно было смывать, подлинно нравственный

(за неимением другого слова) человек не позволил бы себе этого сделать, ибо только в них — залог САМОочищения, а не прощения, идущего со стороны...

Мне странно, до дикости, читать в родной «Литературке» осуждение «самочиния». Сколько себя помню, только к нему и стремился. Каким образом осуждаемое Ю. Кублановским «самочиние» согласуется с идеей «выбора», предполагающей именно с а м о ч и н н о е решение? Не знаю. Зато хорошо помню, что совсем недавно самым страшным для режима словом был «самотек». «Пустить дело на самотек» значило распротиться с креслом и привилегиями...

Но это все эмоции, а истина — привилегия разума. Разум же утверждает: без того, что привязывает человека к почве природного биологизма, он был бы подобен воздушному шару, подчиняющемуся любому ветерку, в особенности тому, который на данный момент сильнее дует. И таких людей сколько угодно! Возможно, большинство. Но это свидетельствует лишь о нереализованных потенциалах личности!

Деятелен ли человек? Что за вопрос!.. Однако поставим его несколько иначе: может ли человек НЕ БЫТЬ деятельным? То есть имеется ли у него «выбор» между деятельностью и бездеятельностью? Стоит задаться таким вопросом, как станет ясно: человек деятелен не по «собственной воле», не по «выбору» — деятелен по необходимости жить и кормиться. Да и успех в экономической деятельности зависит не «от нас», а, как показала опять-таки историческая практика, от Системы, иначе нам придется утверждать, что западные и восточные немцы — два народа, из коих первый трудолюбив и умен, а второй ленив и глуп...

Деятелен человек, очень деятелен. Только для того, чтобы в этом убедиться, не стоит созывать дорогостоящие конференции. Даже и то давно понятно, почему наш-то человек столь бездеятелен и, хотя «все зависит от нас», никак не может создать условий, стимулирующих энергичную деятельность. Тут мое второе капитальное расхождение с Герценом, сказавшим: «Понимать — значит уж действовать». Нет, нет и нет: между пониманием и действием должны вклиниться у с л о в и я, делающие возможным последнее...

Ответствен ли человек? Да, перед законом и судом. Всякая другая ответственность — дело интимное, «внутреннее», скрытое от внешнего надзирания. Человек платит — собственными терзаниями, муками совести, — но только по тем нравственным векселям, которые он сам подписал. Приписывать ему то, что он не считает своей виной, как это делают власть и религия, равно как и освободить его от этих чувств (правительственной наградой за успешное выполнение теракта за границей; тем же отпущением грехов через покаяние) — дело бесполозное. «Винят» человека сила, слабость и религия, исходящая из того, что человек виновен еще до рождения — впрямь, чтоб служба медом не казалась.

Вот таков человек. Иного не было, нет и не будет. Сначала нагревается печка, а от нее — комната, а мы сидим у открытой дверцы, без толку сжигаем огромное количество дров и удивляемся: и печь холодная, и в комнате хоть волков морозь...

Статья эта была задумана как приглашение к полемике. Но оказалось, что полемика «верующих» и «атеистов» теперь напоминает брань разводящихся супругов. А раз полемика невозможна, то остается смиренно-мудрое терпение да упование: авось события будут развиваться по А. Платонову: «Закрытая дверь отделяла соседнюю комнату, там посредством равномерного чтения вслух какой-то рабфаковец вбирал в свою память политическую науку. Раньше бы там жил, наверно, семинарист и изучал бы догматы вселенских соборов, чтобы впоследствии по законам диалектического развития души прийти к богохульству» («Чевенгур»). К тому же Макиавелли отпустил религиям пять-шесть тысяч лет. Половину христианство уже исчерпало, так что поживем — увидим...

г. Минск

---

## ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

---

*Кн. Сергей Щербатов*

### ХУДОЖНИК В УШЕДШЕЙ РОССИИ

Чувство жизни, острое ощущение природы, подметчивость и, что очень важно отметить, лирический сюжет могут быть присущи картине, в то время как лирика в ней отсутствует. Лирика может быть в искусстве внешняя, «сюжетная», и подлинная, внутренняя. Ни лунная ночь, ни весенний мотив с сиренью, ни костры табора у реки, ни девушка у окна, выходящего в сад, не обеспечивают лирический элемент картины, который присущ подчас самому скромному, лишённому всяких лирических атрибутов пейзажу Коро и, как я уже сказал, почти всем произведениям Левитана.

Надо ли говорить, что все упомянутые свойства таланта Коровина как нельзя более были приспособлены и ценны для театра, где он проявился и прославился со всей своей красочной и веселой декоративностью.

На акварельных набросках для театральных костюмов, валявшихся на его, никогда не убираемом, пыльном рабочем столе, на котором в банке с мутной водой плавала золотая рыбка, меня раз поразили беглые надписи карандашом на разных местах талантливо задуманного костюма: «Здесь орнамент, тут тоже орнамент». — «Что это?» — спросил я. «Ну, в этом пусть археологи уж сами разбираются, это их дело, довольно и этого!» — рассмеявшись, ответил Коровин. Ученая сторона, исторически протокольная, была ему не под силу, да лень было о ней и думать: красивый намек, гамма красок — и довольно!

Невольно сравниваешь это отношение к делу с добросовестной, аккуратной разработкой костюмов на сухих и скучных рисунках Билибина, при всем графическом мастерстве и тщательности выполнения никогда не радовавших, равно как не радовали его декорации. Декорации Коровина радовали всегда.

Весело было с Коровиным всюду: и в Париже, и на его причудливой даче Саламбо в Крыму, в Гурзуфе, где я у него пожил, у самого моря, среди татар, с которыми Коровин, предаваясь сладкой лени, целыми днями болтал, как близкий приятель, объясняясь на каком-то невероятном языке и смешивая их до слез. Татары его обожали за его забавность и простоту обращения. Но нигде не было веселее, как в день его именин в Москве. Чай с вином и щедрым угощением с пяти часов дня и всю ночь до утра. Художники, актеры, приятели самого разнообразного типа и неизменный в эту ночь Шаляпин, всегда приятный в простой, в художественной, богемной среде — и только в этой. Обычай требовал, чтобы он в этот вечер после своего спектакля, если он совпадал с этим днем, появлялся в костюме и гриме, и какая была прелесть, когда он раз вошел к нам в костюме Олоферна, с запястьями на оранжевых руках и со стильной ассирийской бородой. Часами он состязался с Коровиным за этими веселыми, непринужденными пирушками в рассказах и анекдотах из русской народной жизни. Кто лучше из них рассказывал, лучше знал деревню и мужиков, сказать трудно.

---

Окончание. Начало см. «Согласие», № 7, 8, 1991 г.; № 1, 2, 3, 1992 г.  
Полностью книга кн. С. Щербатова выйдет в издательстве «Дружба народов».

Вспоминая эти товарищеские пирушки и того же Шаляпина на них, приятного только в богемной среде, да и всякий такого рода непринужденный контакт художников друг с другом, я также вспоминаю, как я испытывал обычно неловкое и досадное чувство при виде контакта художников с обществом. Словно выйдя из-за кулис, где они только что весело шугили, были просты, непринужденны, естественны, они, выйдя на подмостки, начинали играть — и прескверно — какую-то роль, — то кривляясь, принимая позы, впадая в великоречивость, то неестественно милашничая, хихикая и балагурия, нередко с сомнительным вкусом и тактом. Другие, наоборот, делались, в противоположность всякой аффектации, невыносимо скучными, молчаливыми или донельзя банальными. Но и те и другие словно хотели выразить своим поведением и тоном: «С вас, от искусства далеких, ничего в нем не смыслящих и лишь притворяющихся из снобизма (или в силу необходимости доказать, что вы не лишены культуры и кое-что читали), — с вас и этого довольно, да и позвали вы нас только потому, чтобы иметь среди приглашенных художников, да еще знаменитостей, это реклама для вас и вашего салона».

Досаду и неловкость я испытывал в этих случаях и за тех, и за других — за художников, совсем иных, приятных и интересных среди своих, и за общество, к которому проявлено либо утонченным, либо хамоватым образом снисходительное презрение. Ведь на самом деле не виновато оно, это общество, обвиняемое за свою кастовую обособленность. Оно выросло в условиях и понятиях со своей глубокой, подчас и утонченной культурой, в ином быту, с иными традициями и навыками, чем тот людской состав, из которого состоял у нас мир художников и литераторов.

Хотя я чувствовал почти непреодолимую трудность содействовать проникновению одной среды в другую и содействовать нахождению точек соприкосновения, что уже было бы некоторым достижением, но все же некий опыт, новый в московской жизни, во всяком случае в моей среде, я решил произвести пока на черню в моей квартире, где мы доживали последние недели, а потом в моем новом доме, приурочив этот опыт ко дню новоселия.

Блестящий Коровин смешил дам, Суриков оживился и, жестикулируя, что-то горячо доказывал его окружавшим. Наши старые москвичи, представленные двумя поколениями, видимо, столь же были заинтересованы знакомством с разными художниками, сколько и с представителями театра. Увидать Станиславского, Лужского, Качалова, Москвина, Вишневского, Книппер (жену Чехова) без париков, искусственных лысин, бород и морщин, Собинова без золотых кудрей, серебряных лат, с серебряным лебедем на шлеме Лоэнгрина (лучшего Лоэнгрина в мире!) было для них любопытной новинкой. Станиславский казался простым, но, конечно, был преисполнен сознанием своей важной роли и даже миссии, как новатора в театральной области, и в связи с этим особого положения в Москве. Улыбка его толстых губ и черных глаз, ласковых и живых, его красивый стан и белоснежные волосы были привлекательны, равно как его красивый тембр бархатного голоса, с подчас задушевыми нотами.

Шаляпин, мною из другой комнаты не замеченный, появился в горохового цвета пиджаке и, увидев очень нарядное общество и фраки (я сознательно не считал нужным выдерживать вечер в богемном тоне), стремительно бросился бежать. Через некоторое время записка: «Простите, дорогой, увидел фраки и в мизерном пиджаке сконфуженно сбежал. Не гневайтесь, жалею, но переодеться не решаюсь. Ваня Федор Шаляпин». Он остался верен себе.

Когда я с интересом присматривался к этому необычному контакту представителей «комедийного нашего искусства» с нашим старым дворянским обществом, то многие мысли роились в голове. Вспомнилась актриса Малого театра Яблочкина, изображавшая в какой-то пьесе роль княгини: надменно закинутые голова и торс, презрительно гордый взгляд через «обязательный» для подобной роли лорнет («атрибут дамы высшего общества») и повелительный жест руки. Вспомнилось, как покатывалась со смеху моя мать в ложе и ее слова: «Если бы эти актрисы дали себе труда взглядеться в нас». То же можно было бы сказать и про играющих (впрочем, столь редко) роли аристократов, особенно ши-

карно, небрежно закидывающих в кресле ногу на ногу, картавящих, особенно гарцующих и вынимающих золотой портсигар, чтобы во время раздумья цардно пустить дым папиросы. Все это столь же комично, как и показательно.

Доказывает же это многое. Прежде всего, полную отчужденность художника сцены от той русской жизни, которая является такой же русской, своей национальной жизнью и во всяком случае не менее значительной и характерной, как и жизнь тех слоев общества, которую наши писатели избрали своей почти исключительной специальностью\*. Целый сектор общественной жизни, с иным бытом, иной структурой духовной жизни был словно нарочито изъят из репертуара наших пьес; точнее, драмы и пьесы не писались и не игрались на темы иные, из иного быта, как злобно сатирические, скорбные, мрачные и обличительные (некоторые пьесы Тургенева являются радостным и редким исключением).

Трудно не признать, меня лично удручавшего, этого несомненного факта. Будучи поклонником красивого обмана оперы и балета, я никогда не мог любить наш драматический театр. Последний ввергал вас в некую «власть тьмы», тьмы тем более удушливой, страшной и безотрадной в своей роковой безвыходности, чем талантливей и гениальней были авторы и исполнители. Я подразумеваю отборный классический репертуар: Городничий с его омерзительным окружением, Фамусов, Молчалин, персонажи Островского — кулаки, грубые, темные силы, подкупные свахи, сводни, «кабанихи», развратники, пьяницы, взяточники, хамы всякого рода, мизерные неврастеники Чехова, пьянчуги, опустившиеся в провинциальном болоте, персонажи «Вишневого сада» (кулак и выживший из ума дворянин-помещик), «На дне» Горького — не есть ли все это сплошная «власть тьмы», на изображение которой были употреблены все лучшие, нередко гениальные силы пера и сценического таланта. Был у нас писатель-гений, в силу своего происхождения и огромного дара смогший, как никто иной, раскрыть иной лик русской жизни и дать бессмертные образы Ростовых, князя Андрея Болконского, княжны Марьи и героев «Анны Карениной». О, если бы что-либо подобное, как некая освежающая струя воздуха, могло проникнуть в театральную нашу продукцию и поставить иные задачи нашим актерам, тонко передающим невыносимую по грубости, по удушливой тоске, по пошлости, психологии героев наших пьес. И что же!.. Граф Лев Толстой обогатил репертуар наших театров уж на сей раз подлинной «Властью тьмы» и полушугливой, полужлобной, вредной сатирой на русское общество «Плоды просвещения».

Припоминается беседа, которую я имел с одним уже пожилым и очень культурным французом, хорошо понимавшим русскую речь и, как некое исключение, интересовавшимся в России не оперой (которую, по его словам, он мог видеть и у Дягилева в Париже), а спектаклями в Александринском театре, Малом театре и Художественном театре в Москве.

Мы только что вышли из театра «Gympase» и пошли в кофейную после блестяще разыгранной Люсьеном Гитри с изумительным ансамблем лучших парижских сил очень интересной пьесы\*\*. Фабула была талантливо задумана, изящество, нарядность, остроумие, красота женщин и обстановки, французский утонченный аромат — облекали идейное содержание пьесы в обаятельную форму. Вспоминая свои впечатления о русской сцене, мой собеседник, прося меня не обижаться, вдруг выпалил: «Как жалко, что в ваших пьесах, столь хорошо разыгранных, всегда находишься в таком плохом или скучном обществе на сцене». Мне было как-то неловко, что мой собеседник выразил именно то чувство досады за Россию (он так и оттенил свою мысль, развивая ее), которое я сам остро испытывал, как и чувство досады, что наш Малый театр в своих возмутительных по уродству старых постановках и обстановках и Художественный театр, с

\* На этих страницах я исключительно говорю о пьесах из русского быта, не касаясь иностранных классиков.

\*\* Это было во времена еще блестящего довоенного Парижа, когда я всегда посещал лучшие театры и отборные пьесы с их высоким составом исполнителей, — великое удовольствие, которого я окончательно лишился после революции, чтобы не пробуждать старой и заглохшей страсти, кстати, и не могшей быть удовлетворенной в силу изменившихся условий моей жизни.

его реализмом (уже не говоря о вышесказанном относительно сюжета, типов и быта), никогда не давали эстетической радости для глаз, никогда ничего праздничного, радующего, бодрящего, веселящего. Наш театр был словно каким-то судилищем над русской жизнью и, как таковой, не в силах был исполнить другого назначения театра — «Дивертисмента», столь ценимого французами как необходимый элемент жизни, без которого «комедийные зрелища» к тяжелой, нередко безотрадной жизни привешивают еще лишний тяжелый груз.

«И на сцене гадко, и на улице гадко, сыро, мрачно, и в политике гадко, и на душе гадко!» — сказал мне раз, полубалагурия, Д. А. Олсуфьев, выходя со мной после «Власти тьмы» Толстого из театра.

Что-то, признаюсь, довольно неудачно, когда в объяснениях своих я сказал о «глубине» психологических тем, то француз уколол меня ударом рапиры: «Есть глубины ям, из которых идет смрадный дух».

Обычно во французских пьесах, как и у Ибсена, как бы ни различен был дух их, берется тема из жизни, раскрывающая общечеловеческие проблемы, в связи с трагическими и комическими ситуациями и конфликтами. Центр тяжести — человек, и от таланта автора зависит, чтобы жизненная правда не была искусственно подчинена идее (что так невыносимо в романах). У нас весь классический репертуар бытовых пьес прежде всего насыщен социальной проблемой, вернее трагичностью и трагизмом русской жизни, с каким-то нарочитым устранением всего, вне этих проблем и вне этого специфического трагизма, именно жизни русской, а не всечеловеческой, стоящего. Это и создает удушливую атмосферу нашего репертуара бытовых пьес.

Тип нашего актера выращен нашим репертуаром; он был близок, родственен тем, кто этим репертуаром удовлетворялся, и чужд тем, кому этот репертуар, в силу иных запросов и вкусов, был несоприроден. Отчужденность нашей сцены, о которой я говорил, отчужденность, конечно, для сцены нашей вредная, отдалила наших актеров от многого ценного в нашей жизни, напрашивающегося как тема и материал для художественного воплощения, отдалила наших актеров и авторов-писателей от многого, могущего быть ценным для их культуры (имевшейся у Тургенева), для развития повышенного вкуса и потребностей и могущего содействовать выходу актера из слишком у нас затхлого, слишком специфически окрашенного театрального круга художников сцены.

Как бы то ни было, но на этом вечере у нас «новые» наши гости были веселы и в ударе, очень интересовались обстановкой, картинами, предметами искусства и, конечно, программой, окончившейся холодным ужином. А закусить наши актеры и художники любили.

За роялью была большой мой друг Вера Васильевна Вульф, урожденная Якуничкова (сестра милейшей и талантливой, рано скончавшейся художницы). Какое это было очаровательное создание, тонкое, талантливое, поэтичное, с нежной, отзывчивой, чуткой душой! Я глубоко ценил ее и дружески любил. Болезнь подтачивала эту талантливую музыкантшу и художницу, сделавшую прелестные вышивки, вернее, мозаики из шелка. В этот вечер она отлично исполнила сонату Грига, играла Глюка по моей просьбе и, конечно, по своему желанию — Брамса. В программе ее нарочито ничего не было русского, так как «русское» в сильной дозе имело быть преподнесенным во второй части, как некий гвоздь вечера, в виде пения еще неизвестной в то время в Москве Плевицкой\*.

У нас на этом вечере был ее дебют в Москве, да и вообще дебют в обществе, что она с благодарностью вспоминала всегда впоследствии, когда стала любимицей русской публики, прославленной и награжденной брошью с бриллиантовым орлом государем, ее очень ценившим и приглашавшим во дворец. С тех пор она и в Петербурге стала знаменитостью; концерты с Плевицкой были в мо-

\* Я пишу о прошлом, а прошлое Плевицкой принадлежит искусству, поэтому, невзирая на всю последующую трагедию, я, как о певице, не могу не упомянуть о ней добром, как нельзя не воздать должное тому же Караваджио, большому мастеру, трижды бывшему убийцей. После того, как эти строки были написаны и я перенесся в светлое прошлое, Плевицкая была замешана в ужасном преступлении ее мужа, предавшего большевикам на смерть в Париже ген. Миллера, и приговорена судом к каторжным работам как соучастница.

де, и зал был переполнен до отказа. Столь далекий от народа и народной самобытной жизни Петербург любил подчас вызывать в себе чувство умиления от русской песни так же, как и повесить у себя в светской гостиной кустарную вышивку тамбовской бабы.

Известный актер Художественного театра Вишневский, часто нас навещавший и в Москве и в подмосковном имении и всегда сообщавший много интересного о театре, об Антоне Чехове, с которым дружил, о новых постановках и планах Станиславского, о новых идеях этого талантливого любимца Москвы, как-то раз с увлечением сообщил нам интересную новость. В Москву приехала крестьянка Курской губернии, некая Плевацкая, очень талантливая, ничего общего не имеющая с банальным типом «исполнительниц русской песни». Этого специального жанра песни я никогда не любил, так как слишком часто родное, русское, народно-примитивное или подлинное поэтично самобытное искажалось, опошлялось, вульгаризировалось и удешевлялось ложной сентиментальностью, искусственной «слезой и тоской», считавшимися элементами русской души, не говоря об обычном отсутствии талантливости исполнения.

Подлинно русское чувство, уход в русскую природу и степь можно было в мое время найти не у «исполнительниц русских песен», а у цыган, вернее, у лучших солисток. Такой, и высоко талантливой, была знаменитая Варя Панина, певшая со своим хором у «Яра», а также иногда выступавшая в концертном зале Дворянского собрания. Не только глубокое контральто этой, уже не молодой и не красивой артистки, подлинной художницы, но еще более чувство, волнующее душу, вкладываемое ею в песню и скрашивавшее иногда и пошловатые слова ромansa, завораживали и давали сильные переживания и, как говорится, «вышибали слезы». Ее почти уродливое лицо словно преображалось во время пения, музыкальное чутье и художественный такт никогда ей не изменяли, а прекрасный хор под ее пение поднимался на не всегда для него обычную высоту исполнения. И хор, и сама Варя Панина знали хорошо публику. Обычная, кутежная у «Яра» была для них одно, настоящие любители-знатоки — другое; последних они ценили, любили и для них и репертуар, и утонченность исполнения с нежными пиано и замиранием аккордов были особыми и подлинно художественными, с исключительной поэзией, особой, только цыганам присущей.

Вяльцева, любимица Петербурга, стояла на границе между подлинным и мишурным, но нега и необыкновенная женственность ее голоса заражали, действовали чувственно-любовно. В ее пении были элементы подлинной лирики, но она не была ни подлинно народной, ни подлинно цыганской певицей, а скорее концертной, совсем иного порядка, чем Варя Панина.

Цыганское пение, как я его слушал в небольшом кружке друзей братьев князей Голицыных, братьев Раевских и других со строго нами подобранным репертуаром и с лишь таким количеством вина, чтобы оно могло содействовать должному настроению от и без того опьяняющего пения, являлось искусством подлинным, совсем особым и очень наслаждательным. Оно помогало чувствовать Россию, сливалось с ее природой и вызывало призрак Пушкина. В мое время в разрушенном впоследствии старом, милом «Яре», замененном роскошным рестораном американского стиля, существовал еще «Пушкинский кабинет», где он, любитель «Яра», слушал с друзьями цыган.

Возвращаюсь к Плевацкой и нашему вечеру.

Сообщение артиста Вишневского меня заинтересовало и, переборов свой скептицизм, поверя его словам, я отправился к Плевацкой в скромную гостиницу. Бедная обстановка, невзрачный маленького роста муж, ее аккомпаниатор, скромная женщина с привлекательным русским лицом, приятной улыбкой, белоснежными зубами, понравившийся мне бесхитростный рассказ о себе, о своей любви к пению и к русской песне, которую она изучила и которая вдохновила ее на создание собственного репертуара — все это создало хорошее впечатление, чувствовалась талантливость, а главное — искренность. Репертуар мы совместно установили, и я пригласил ее, предупредив, что этот показательный для нее, многолюдный нарядный вечер имеет для нее немалое значение.

В это посещение крестьянки Плевацкой, скромной, в скромном номере

гостиницы, трудно было предугадать нарядную эффектную даму, какой она явилась у нас на вечере, в ало-красном, красиво сшитом платье, подчеркивавшем прекрасный в то время стан и белоснежный цвет широких плеч. Волосы, густые, цвета вороньего крыла и соболиные брови придавали ее облику особую колоритность.

Все же, не скрою, я немало волновался, ввиду состава приглашенных и повышенных требований их, какое получится впечатление от этой московской новинки. Я рассчитывал на ее талант и, как таковому, была оказана подобающая встреча, увенчавшаяся, к ее и моему счастью, полным признанием.

Плевицкая меня сразу очаровала и поразила искренней поэзией народной, и подлинно народной, в исполнении разнообразного своего репертуара. Тут был и народный юмор, и ухарство, и заливная песнь, и трогательность в ценном смысле слова, была и отличная мимика и пляс — вернее, плавные движения тела, с той величавой гордостью, переходящей в удаль, которая свойственна нашему, и еще в более художественной форме испанскому танцу, лучшему народному танцу, мне известному. Последний может быть оценен во всей своей самобытной красе, конечно, не на сцене каких-нибудь театров-варьетэ, а на подмостках народных скромных кабаков, где я им любовался в Испании. У нас в России, к сожалению, не было нашей гениальной, высокохудожественной и культурной Аргентины, могущей бы наш народный танец путем отбора явить в претворенном виде, в подлинно художественном стиле. Отчасти Плевицкая этого достигла путем интуиции и благодаря вкусу и такту, к сожалению, изменившими ей в выборе репертуара впоследствии, в угоду эмигрантской публике его засоренного и сниженного ложной сентиментальностью. Эмигрантская тоска и слеза (которой преисполнена песня «Замело тебя снегом, Россия», исполняемая на бис и мне не нравившаяся) многое продешевили в эмигрантском искусстве.

По-своему я заплатил дань этой тоске, вернее тоске по дорогомому моему сердцу облику русской бабы, «пахнувшей сеном», кумачом, терпким ситцевым платком, обожженной солнцем на жнитве, по которой я стосковался на чужбине и которой я посвятил свое стихотворение «Любимая». Плевицкая переложила его на удачную музыку и под аккомпанемент гитар и балалаек его отлично исполнила с шумным успехом в Париже, в зале Гаво.

Долго в этот «незабываемый», как она его и впоследствии называла, вечер ее интервьюировали в углу гостиной Станиславский и Собиннов, которые были в полном восторге от всего, что без всякой школы (и это примечательно) было в пении Плевицкой ценного, свежего и непосредственного.

Интересно было на наглядном примере проследить, как у нас, да и не только у нас, но обычно во всем мире складывается оценка нового явления (в музыке, в живописи, в поэзии — все одинаково), создающая в свою очередь «репутацию». Надо ли говорить, что в данном случае, как и в сотнях других, пока не был дан тон и точка опоры «свыше» — видными знатоками и критиками, а впоследствии не утвердилось мнение об «известном», «знаменитом» или «известной» и «знаменитой» бывших «неизвестными» и «незнаменитыми», мнения, как и у «публики» на нашем вечере, высказывались сначала робко, неуверенно и сдержанно.

Ах, как мне известна эта сдержанная робость, это опасливое недоумение, которое можно читать в глазах боящихся, не имеющих своего мнения и ожидающихся этой точки опоры и санкции видного критика, первой газетной рецензии; после этого открывается шлюз плотины, и льется поток слов в гостиницах за светским чаем. Всегда все то же обычное явление при выходе из театра после премьеры, на вернисаже, после дебюта на концерте: «Ну, что? Ну, как? Что скажете?» — «Очень хорошо!» — «Правда? Неправда ли? Я тоже нахожу!..» — «Плохо!» — «Да, мне тоже показалось неважно, хотя, как вам сказать, все-таки что-то есть...» (Это если спрашивающий не совсем сдается, расходясь во мнении). Все это робко, сдержанно, словно с боязнью слишком зайти вперед. Пявилась газета, разбор в фельетоне — путь открыт, точка опоры найдена.



К этому времени относится одно из самых замечательных и глубоких впечатлений из всех мной в жизни полученных от контакта со столь многими художниками, впечатление, мной хранимое в памяти, как знаменательный момент жизни, когда она озарилась сближением с Врубелем.

Врубель принадлежал к той плеяде художников мирового масштаба, которые могут почитаться гениальными и вдохновенными; вдохновенными не в смысле обычном, так как каждый крупный и даже средний художник, в большей или меньшей степени, причастен к подлинному вдохновению, более или менее сильному и глубокому.

Вдохновенность Врубеля была высшего порядка и ныне во всем художественном мире отсутствующего. Ее надо понимать в смысле приобщения в творчестве к неким высшим духовным, мировым началам, вечным, потусторонним, божественным откровениям.

Все творчество Врубеля протекало под особым знаком и отмечено было особой, не всем понятной печатью. Отсюда огромная амплитуда колебаний в его оценках — от полного недоумения, испуга, отрицания до углубленного восторга и культа.

«Не понимаю ничего! Бог знает что! Разве это искусство!?» — говорил собственник галереи П. Третьяков. «Декадентство, психопатия, галлюцинация!» — слышались возгласы мнящих себя — и не без основания — ценителями, и вдруг словно прозрение: «Гениально странно, но велико, значительно, необыкновенно талантливо, огромное мастерство!»

Так отнесся И. С. Остроухов: не признавал и вдруг стал набрасываться, покупать.

Чуящие в нем большой талант боялись баловать и ставили на него, как на биржевую бумагу. «Это было в то время, когда я Врубеля в рублях держал..» — выразился один крупный меценат из купцов; горделиво его осаживали, чтобы понимал свое место, и в Киеве, во время работ во Владимирском соборе, маститые его конкуренты (Сведомский, Каторбинский и «великий» Васнецов). Отчасти, но все же отчасти только, признавал его Прахов, постольку поскольку иначе как объяснить себе, что при сотрудничестве в росписи этого собора таких несоизмеримых величин, как Врубель и другие участники, самая ответственная работа была дана посредственностям, гениальные проекты Врубеля забракованы, и ему поручена была лишь орнаментальная роспись, то есть была дана самая скромная роль.

Такие свыше ниспосланные таланты, художники с таким духовным содержанием — явление редчайшее и благодатное. У нас не поняли (а за границей ли было это понять!), что Врубель был таким явлением, или поняли по малости, поздно, односторонне, лишь весьма немногие спохватились, запоздали, когда прозрели. Не поняли, что Врубеля нужно было беречь, как творческую силу для великого национального дела, а его взяли в оборот для частного театра, на роспись стен в более или менее безвкусных особняках, ларцов, балалаек, для снижающего, оскорбительного, скучного дела, от которого он не мог в силу нужды отказываться. Не поняли, что Врубеля нужно, как человека, беречь, а его морили голодом, обижали голодного скупой платой или увлекали в кутежи, спаивали. Россия оказала ему прием, как страннику, дала переночевать и слегка накормила, чтобы не умер, не поняв, что он пришелец свыше, и эту тупость, косность и тот грех простить трудно.

Словно весь Врубель был каким-то анахронизмом — явился не там, не тогда и не к тем людям, не в ту эпоху, как требовал для полного расцвета сил и для осуществления великих заданий его подлинный гений.

Был ли Врубель поистине крупным, совершенным мастером? И да, и нет, во многом, но не во всем.

К сожалению, в масляной живописи и у него, как и у всех русских художников нашей эпохи, учеников Академии, каким был и Врубель, сказывалось во многом неумение владеть материалом. Большая патологическая нервность, спешность и порывистость в работе, часто шедшая бок о бок с кропотливым, крайне внимательным изучением малейших деталей, структуры отдельных

предметов, тканей, цветка, дерева, кончая лицом человеческим, кисти рук, одеяний и его орнамента, во многом содействовали техническим дефектам живописных приемов и в обращении со столь капризным материалом, как масляная краска, не терпящая игнорирования известных технических и химических законов, столь изученных древними мастерами. Трагическим последствием этого явилось очень быстрое почернение всех врубелевских картин, писанных маслом, до неузнаваемости на моих глазах изменившее первоначальный чудесный тон.

В этом я мог убедиться во время моего прощального посещения перед отъездом из Москвы Третьяковской галереи, где я долгое время не был. Картины Врубеля — «Демон», «Пан», «Цыганка», «Ночное» и др. были неузнаваемы.

К большому счастью, Врубель много работал акварелью. Акварель и гуашь являются показательными для оценки всей красоты, богатства, насыщенности, драгоценности и изысканности врубелевской красочной гаммы.

Рисовальщиком Врубель был первоклассным, и, по мастерству и изысканности, он может быть приравнен к самым лучшим мастерам древних времен, хотя с годами его рисунок стал столь своеобразным, что делал его отличным от всех мастеров рисунка, настолько остро выражались в них его индивидуальность, его пронизательная зоркость, его нервная, обостренная восприимчивость.

Врубель жил в мире видений и вдруг, погружаясь в космос, в мир реальных тел и форм, любовно изучая их структуру, на свой лад настраивал, и на такой высокий лад все изученное пытливым глазом, что самое реальное, будничное (кусок обоев, мебель, занавеску, ковер) преображал в сказочное видение, фантастический орнамент.

Отличительным свойством глаза Врубеля было — видеть мир, его окружающий, столь же, как им воображаемый, в обогащенном претворении, подчас усложненном до крайности; это делало его столь отличным от современных художников, обедняющих многообразие форм и цветов в окружающем их богатстве природы путем синтеза, стилизации, упрощения, доведенного до наипростейшей темы. У Врубеля все виденное преломлялось через особую призму; у него все изысканно, подчас до причудливости, все обогащено, насыщено до переизбытка, полновесно, содержательно и всегда и в малом и в великом значительно\*. Этому содействовал особый «росчерк» карандаша и мазка Врубеля, трактовка путем усложненных преломлений, дроблений плоскостей, форм и линий, близких к мозаике и к кружевам, прием, делающий в высокой степени своеобразными и живопись, и рисунки Врубеля.

Менее всего он был похож на кого-либо из художников нашей эпохи своим визионерством. Глаза врубелевских фигур, устремленные в потусторонний мир, нереально, напряженно расширенные, производили мистическое, подчас тревожное и жуткое впечатление.

Эти два отличительных свойства усложненно-обогащенного восприятия природы и визионерства являлись не только в сфере творчества в искусстве неотъемлемыми у Врубеля, но и в творческом процессе житейских переживаний, и в любовных увлечениях. Женщины, в которых он влюблялся (цирковая наездница, явившаяся в его глазах совсем особым существом, идеализировалась в его воображении до степени некоего сказочного видения), — русалки, царевны или мадонны.

Часто сам Врубель своей возбужденностью производил впечатление одержимого, когда ему грезилась композиция или когда он работал над нею лихорадочно, нервно.

Таким я видел его, раньше лишь мельком встречаясь с ним, в эпоху творения его «Демона», которым он в полном смысле слова был одержим, как некой навязчивой идеей. Готовилась большая композиция, но до ее оформления

\* В некотором отношении единственный художник, и только внешне ему родственный в смысле обогащенности восприятия и сложности, это Моро, с которым французы, Врубеля не понявшие, его сравнивают, конечно, оказывая предпочтение Моро и считая Врубеля его «подражателем», не понимая значения Врубеля.

сколько было метания, искания, мучений творчества, постоянной неудовлетворенности в погоне за призраком, за мечтой, перед ним носившимися, то ускользающими, то материализовавшимися в неверных, сбивчивых, но столь подчас чудесных образах, ни днем, ни в долгие бессонницы не дававших Врубелю покоя; многое уничтожалось, гибло бесследно.

Наконец, я увидел нечто, похожее на лавру, удлиненного червя с грудной клеткой и закинутой за голову рукой, человекообразное нереальное существо, лицо не давалось, переписывалось.

Не забуду никогда трагического впечатления, которое на меня произвел Врубель за час до открытия выставки «Мира искусства» в залах Петербургской Академии Художеств. Уже начали стекаться художники, представители прессы. Нервный, с красным от прилива крови лицом, с растрепанной прядью обычно изысканно причесанных волос (Врубель вообще очень следил за своей наружностью и костюмами), весь в поту, Врубель с нервной поспешностью дорабатывал уже выставленный огромный длинный холст «Демона». В последний момент он вдруг решил переписать все еще не удовлетворявшую его голову «Демона», самое значительное место картины. Я с ужасом следил за его нервными мазками. Появился до того не существовавший огромный пламенный цветок, как некий светоч, на челе Демона менялся нос, глаз... «Лишь бы не испортил, — думал я, — а сейчас нагрянет толпа, откроются залы». Было жуткое зрелище!

В одной из стадий творчества «Демона», моей любимой, более удачной, чем большая композиция маслом (приобретенная В. В. Мекком и впоследствии проданная им Третьяковской галерее), Демон был задуман летящим над морской пучиной (изъятой на картине). Эта композиция узкого формата, исполненная акварелью с гуашью и золотом на павлиньих крыльях, с чудесной гаммой красок, была приобретена мной и была одной из любимых вещей в моем собрании.

Тяжелый неизлечимый недуг подтачивал и без того перенапряженную нервную систему Врубеля. Он временно лишился рассудка, потом вполне оправился, но, увы, лишь на время.

Таким вполне нормальным, даже просветленным и более спокойным, чем раньше, я чаще всего видел его. Навещал я Врубеля на даче в Петровском парке, где и провел с ним раз целый день и вечер.

Он сидел со своей любимой, милейшей сестрой (издавшей его интересные письма) на балконе и писал акварелью лиловые кампанулы. Горшок с цветами стоял совсем рядом у самого его лица, и каким пытливым взором, смотря на них в упор, он изучал структуру цветка, чашечки лепестков, причудливые подробности этих прелестных колокольчиков! С каким особым нежным чувством смотрел я всегда на эту очаровательную акварель, висевшую в моей галерее, приобретенную как ценное для меня воспоминание этого дня, проведенного с Врубелем. Мы уютно распивали чай. Беседа с Врубелем была непринужденная, приятная и углубленная, другой тональности, чем со многими другими художниками. Во всем чувствовалось университетское образование, начитанность, культурное, углубленное отношение к искусству и в оценках людей. Юмор, который я всегда так ценю, иногда острое саркастическое словцо придавали разговору приятную легкость. Врубель отлично знал историю, стиль различных эпох; он поражал меня острой памятью, позволявшей ему без каких-либо справок в источниках рисовать доспехи, костюмы, головные уборы, оружие любой эпохи, потому исторические композиции из эпохи Ренессанса и любимой его готики давались ему очень легко.

После чая мы пошли вдвоем гулять в Петровский парк. Был чудный летний вечер. Мы говорили, мечтали, любовались. Вдруг молниеносно, на моих глазах, создалась у Врубеля идея картины «Снегурочка». Лето... тепло... зима — по какой таинственной ассоциации, в силу каких оккультных законов творческой мысли, художественного прозрения родился этот образ в его мозгу, в тени лип красивого (и столь искалеченного безобразными дачами и ресторанами), близкого сердцу москвичей Петровского парка? Разве можно когда-либо понять все это, эту вечную тайну!

«Платье, рубаха с орнаментом мороза, знаете... цветы мороза у окна... и усыпанная звездами... черные косы... как красиво». Словно лунатик, Врубель, остановившись, выговаривал эти слова, которые были уже почти не слова, а бредовые мазки на воображаемом холсте. Родилась чудесная, небольшая, узкого формата акварель-гуашь с серебром, которую я в силу контраста обрамил рядом с эскизом Врубеля «Пир царя Салтана», того же размера, в гжучих тонах — красное с золотом, как два драгоценных камня, они сверкали у меня среди других произведений Врубеля.

Влюблен был Врубель в то время в сказочной красоты им приобретенную перламутровую раковину павлиньего цвета с переливами опала. Все изучал он сложную структуру перламутрового орнамента, рисовал углем, карандашом, в разном формате, в разных поворотах. Так он любовался, что я предчувствовал, что он, вдохновляясь этой раковиной, может сделать сказочную композицию, которую я и просил для меня исполнить в красках. Врубель страшно обрадовался. Как обычно, он в то время сильно нуждался.

«Ваша картина готова, хорошо вышло, приезжайте смотреть, назвал ее «Жемчужина», сделал фигуры русалок. Они в раковину словно вplывают, мучаюсь с рамой, пока широкая серая, но хочу всю расписать — посоветуемся, жду вас...» Как я обрадовался этому письму, немедленно поехал на дачу Врубеля, горя любопытством. Какой это был праздник для меня, когда я увидел это сокровище! Это одна из самых волшебных вещей Врубеля, и она была и жемчужиной моего собрания. Только рама мне не нравилась. Не нравилась мне мысль ее расписать, при столь насыщенном и без того красочном содержании самой картины (исполненной акварелью с примесью пастели, к счастью, не маслом, потому вся свежесть красок была обеспечена).

Меня всегда поражало неумение художников подбирать рамы к своим вещам, часто полное отсутствие чутья и вкуса. Хорошая вещь, а раму к ней либо никак не может выдумать, либо обрамит скверно. Странно и непонятно это явление. О чудесных рамах, которые за последнее время с таким вкусом делаются в Париже для современной живописи, придающие нередко обманчивую ценность малоценному холсту, у нас в то время и помину не было. Сколько ужасных рам мишурного, вульгарного золота губили живопись в Третьяковской галерее; да редко у художников и денег хватало для изысканного обрамления своих произведений.

Деньги в кармане у Врубеля не удерживались: только получит, обрадуется, и вдруг, при неоплаченной квартире, купит дорогую красивую вазу Галлэ.

Я также увлекался этими чудесными по изысканной технике и цветам произведениями чародея Галлэ из тяжелого стекла, местами массивного, матового, местами прозрачного. Этот мастер открыл целую эру художественной обработки стекла, за последнее время ставшей одной из самых интересных отраслей французского прикладного искусства. После знаменитых древних венецианских стекол, кубков, из которых пили янтарное вино гости Медичи, флакон, ваза, кубок вновь вошли в свои права и представляют собой подлинную художественную ценность на парижском рынке.

После каждой моей поездки в Париж собрание этих чудесных ваз Галлэ у меня увеличивалось, обогащалось новыми изысканными экземплярами. По смерти Галлэ мне удалось приобрести у его вдовы любимые его стекла из его личного собрания. Среди разных других ваз глубокого винного цвета, большой чаши с черными лиловыми ирисами, словно тонущими в мутном фоне цвета с еле материализующимся сквозь теплый фон фантастическим цветком, исполненным из частиц червонного золота, чудом техники вплавленным в глубь стекла, была одна ваза несколько античной формы маленькой урны, об утрате которой среди стольких уграт я особенно жалею: она была моя любимая. В опаловой густой массе стекла серебрились (мельчайшие частицы серебра) мохнатые вербочки; пожалуй, не менее любил я и другую, с нежно-розовым гиацинтом, утонченно стилизованным, проглядывающим сквозь мутно-молочную массу стекла.

Сильно бедствующего Врубеля (он мне всегда казался трагической жерт-

вой судьбы, человеческой тупости и неблагодарности) я раз посетил, уже вернувшегося в город, в убогой его квартире... Это было уже близко к печальному финалу. Он в то время, крайне нервный, иной чем тогда, во время прогулки в парке, поразил меня внезапной переменной. В то время у него была мания, внезапно бежать из города, обычно рано утром, чуть не до восхода солнца — на заре. Брал он извозчика и приказывал везти скорее за заставу, в поле или лес.

И вот передо мной на мольберте стояла большая, поистине волшебная композиция, сильно продвинутая, почти законченная: «Пасхальный звон». Среди белых стволов березовой рощи летели византийского стиля херувимы в белых ризах; вдали, в поле, виднелась церковь и словно слышался радостный утренний звон. «Что за прелесть!» — воскликнул я громко и, помню, чуть его не обнял.

Пусть это будет банально, сто раз сказано, и все же хочется еще раз сказать, какой это праздник для души, когда видишь подлинную вдохновенную вещь; но когда присутствуешь при ее появлении на свет, рождении из небытия, из каких-то тайных недр, то это праздник еще более захватывающий, не менее, если не более, волнующий момент, как первый крик ребенка.

У меня был порыв тут же, немедленно увезти с собой эту чудесную картину, пусть и не совсем еще дописанную. Зная Врубеля, я боялся, что он начнет, будучи всегда неудовлетворенным, переделывать — пожалуй, и испортит при такой неуравновешенности и нервности. Но Врубель сопротивлялся и чуть не рассердился. «Нет! Нет! Нельзя никак еще! Ну, дня через два, три, дайте закончить, лики еще не хороши, обещаю — она за вами». Через три дня, когда я вернулся, видение исчезло. На том же холсте поверх «Пасхального звона» был начерно написан большой павлин. Я был просто в отчаянии. До слез было жалко гибели незабываемой вещи, которую я предвкушал видеть у себя.

«Другого холста не было. Вот и написал сверху! Захотелось после белого написать синее с золотом, так красиво, богато. Не сердитесь... Виноват!...»

Все же я сердился.

Все творчество, процесс творчества и сам духовный облик Врубеля оставили неизгладимую память во мне до сего дня. Помню его голос, его жест, его изящную внешность, всегда хорошо одетого, с изысканными галстуками, до которых он был большой охотник, породистым, несколько польского типа лицом, тщательно зачесанными волосами, вспоминаю его воодушевление, его увлечение грезами и видениями вечно его завораживающей красоты, невидимого, но для него разверзающегося мира, в который он погружался, любясь праздничностью земного мира, столь мало для него праздничного и гостеприимного, но в котором он находил свои особые, ему нужные, ему понятные радости вечной красоты. Наряду с этим помню всю обаятельность его простоты. Лишен он был всякой напыщенности, рисовки, самовлюбленности, столь часто среди художников встречающихся.

Несмотря на бедность, подчас острую нужду, он, в равной мере всегда подтянутый, был чужд всякой нарочитой божественной распушенности, в чем, наряду со всем его образом мысли, сказывалась глубокая культура.

Он был «великим» и сознавал это, но столь велико было то, к чему тянулись его тревожная, одухотворенная и восторженная природа, и его нервные, непрочные силы, что в сравнении с этим он сам, как истый великий талант, признавал свою беспомощность. В этом было великое благородство его души.

## ГЛАВА XII

Над Москвой, над Россией, над всем миром нависла и бурно разразилась гроза.

Как ни сокрушительна и ни страшна война, но нельзя отрицать, что с ней все же связано обычно много высоких духовных переживаний и незабываемых моментов восторженного подъема. Такой патриотический подъем был и в Рос-

сии в момент объявления войны, и блестящие первые успехи открывали великие радостные для национальной гордости перспективы. Впоследствии и неудачи не смогли сломить веру в конечную победу, и этой верой жила вся страна, кроме тех, которые на неудаче основывали свои темные разрушительные планы, всемерно стараясь использовать для своих видов и для подрыва авторитета власти каждый случай.

Война сломала всю мою внутреннюю жизнь. Первоначально испытываемый подъем сменился чувством смертельного ужаса. Она представлялась мне неким концом мира. Чувства двоились. С одной стороны, я, применяя замечательные слова Послания Ап. Павла («к Римлянам», IV.18): «Сверх надежды поверил с надеждой» в победу России, считал, конечно, начатое дело долженствующим быть доведенным до победного конца, а в подобном конце нельзя было не усматривать великие для России перспективы. С другой стороны, совершающееся мне представлялось недопустимым ни с какой точки зрения концом христианской эры и культуры и все же допущенным, состоявшимся, в силу инерции разрастающимся в мировую трагедию. Моя полная уверенность в том, что иссякшие в современном человечестве, в связи со столь многими глубокими причинами, творческие художественные силы никогда не смогут дать на развалинах сколько-нибудь достойную замену всего погубленного, повергала меня, пред лицом этого апокалиптического явления, в безысходный пессимизм, в некое эсхатологическое настроение.

В качестве единственного сына покойного отца я не был мобилизован и вряд ли по состоянию сердца мог бы подлежать призыву даже при углубленной мобилизации. Как воин, я и не был бы пригоден, но я вполне сознавал, что мог быть полезен в другом отношении, и потому я предложил свои услуги Красному Кресту и был немедленно выбран членом Комиссии Красного Креста при Московской губернской управе, развивавшей широкую деятельность по организации лазаретов в губернии.

В качестве члена этой комиссии я, наряду с деятельностью по лазаретам, организовал и фургонный сбор для помощи семьям призванных.

В силу того, что мое подмосковное имение находилось в одной версте от станции Нара (Московско-Киевской ж. д.) на пути следования поездов с ранеными прямо с фронта и что по соседству был огромный фабричный центр Цинделевской мануфактуры, располагавший большими помещениями для лазаретов и отлично организованной медицинской помощью, моя деятельность протекала в очень кипучем центре. Жена и я вложили всю душу в организацию и своих личных лазаретов, предоставив два дома в усадьбе для раненых и один в лесу, где спешно был выстроен мной поместительный барак для отравленных газами, могущих пользоваться целебным лесным воздухом, которому, к счастью, столь многие были обязаны значительным улучшением. В московском доме половина нашей квартиры была превращена в лазарет для офицеров со светлой большой операционной, где жена работала с хирургами, будучи опытной в медицине (курсы, пройденные до свадьбы, ейгодились).

Нечеловеческие страдания, кашель и кровохарканье отравленных, стоны, вид ран, запах хлороформа, тяжелый смрад лазаретов, раздирающий душу вид несчастных беспризорных детей беженцев с фронта, для которых мы устроили специальное помещение в деревне, создавали страшную, давящую атмосферу. Посильная помощь вместе с тем давала несколько утешительное духовное удовлетворение, а также близкий контакт со всеми страдальцами, контакт, без которого жизнь была бы невыносима, ибо в конце концов вся жизнь, все мысли и все переживания были сосредоточены на войне.

Вспоминались слова моего петербургского товарища Николая Врангеля (брата известного генерала), столь беззаветно преданного изучению искусства и тонкого знатока и критика: «Во время войны искусству нет места, и художники обязаны бросить палитру...» Лазареты и раненые влекли к себе с такой силой, что только среди них, казалось, в то время жизнь и имеет смысл и оправдание. Близость смерти, витавшей вокруг меня, подчас в моем представлении лишала жизнь смысла, вернее, заглушала все то, что составляло для меня ее содержание,

иногда же, наоборот, жизнь в моих глазах приобретала особый смысл именно в связи с этими переживаниями, вызывавшими сосредоточенное, возвышенное, религиозное настроение при виде покорности, кроткого смирения и величия духа находящихся между жизнью и смертью. Та и другая, сменявшаяся во мне настроенность — одна, дававшая душевную подавленность, другая духовно-религиозный подъем, каждая по-своему угрожали выжечь, как раскаленным железом, во мне все, что относилось к искусству, — не только увлечение личной работой, но даже интерес и любовь к искусству. Все, что я любил, что было мной создано, в сравнении с гибелью мировых сокровищ казалось мне донельзя ничтожным.

Этому отходу от искусства немало способствовал постоянный контакт с моим сотрудником, заведующим лазаретом, дельным, энергичным, на вид колючим, черствым, а на самом деле добрейшим земским врачом Некрасовым. Весь горящий чувством долг и увлеченный огромной работой, он, не покладая рук, оперировал, лечил, делал повязки, носился от одного лазарета к другому, и при виде его и непосредственной пользы, им оказываемой, мне было даже совестно, что я художник и что моя бесполезная профессия является анахронизмом, а в глазах «полезного» и, конечно, типичного интеллигента Некрасова, разумеется, просто «блажь». Пред ним мне было как-то неловко, не по себе, и меня спасало только сознание, что я вошел в его жизнь и что мы оба, столь разные и чуждые друг другу, товарищески объединились в общем деле, для него обычном, для меня новом.

«Вот я и пропал как художник и со всей моей любовью к искусству. Кончились заботы по постройке, взялся с радостью за работу в моей мастерской, которая сулила мне такие радостные тихие часы работы, но теперь — куда уж тут, после всего этого! И теперь не до этого и потом тоже будет не до этого!» Часто думал я: «Иные масштабы, иные требования, иные времена, все надо сдать в архив...» Я испытывал глубокий душевный кризис.

Но судьба решила иначе.

---

Мой друг Воля Мекк, столь же сильно, как и я, все ужасы войны переживавший (он служил в Красном Кресте и был прикомандирован к организации имп. Александры Федоровны), меня понимал со свойственной ему сердечной чуткостью. Верил он и в мое искусство и, видимо, в мой вкус. В эту эпоху переживаемого мною мучительного душевного кризиса, огорченный моим пессимизмом, он стремился, чтобы я ушел, более чем когда-либо, в искусство, вернулся к своей профессии, как только все по части лазаретной службы и организации госпиталей в Нарском районе и московском моем доме будет налажено. Как всякая хорошо слаженная машина, пущенная в ход, лазаретная организация, обставленная надежными кадрами, требовала, конечно, контроля, душевного участия, но уже не требовала, как первоначально, затраты всего времени и всех сил; и это время и эти мои силы Мекк с большим тактом решил использовать для дела, ему порученного правлением Московско-Казанской ж. д.

— Знаешь что, Сережа, — сказал он, зайдя ко мне. — Я хочу сделать тебе очень интересное предложение: правление Московско-Казанской ж. д. решило через меня обратиться к тебе с просьбой взяться за исполнение росписи Казанского вокзала. Не пугайся, если я скажу тебе, что имеется в виду тебе предоставить роспись первого класса, то есть, как видишь, главного зала. Нужно исполнить пять панно с сюжетами и, не скрою, больших размеров, 3 1/2 на 2 1/2 сажень каждое, и декорировать плафон. Тебе дается полная свобода для твоей творческой фантазии, в которую я верю. Ты представь проекты, макет, и, если они, во что я хочу верить, будут интересны, то с Богом! Обдумай и ответь мне на этой неделе. Теперь распределяются заказы на декоративные работы, и я должен сообщить твой ответ правлению не откладывая.

Конечно, я был немало ошеломлен. Большая ответственность меня пугала,

оказанное мне доверие было мне приятно и подобная задача не могла не заинтересовать меня. Все предприятие, по-московски широкое и талантливо задуманное, было для меня вообще как нельзя более по сердцу. Пахнуло эпохой Медичи, когда к общественному зданию (интересно было, что именно вокзал — современное общественное здание было решено обратить, при всей утилитарности подобного здания, в художественный памятник) привлекались художественные силы.

Постройка нового огромного вокзала по планам талантливого архитектора Щусева в Москве была тогда подлинным событием, и событием во всем художественном мире. Масштаб задания был огромный, и в этом почине, в самой идее было много талантливого, свежего, а на фоне исторических событий чего-то весьма отдохновительного и целебного. В этом предприятии и в неукоснительном проведении широкого плана с художественной идеей, в него вложенной, символизировалась твердая вера, что за Россию не страшно, что победа будет несомненной и что «матушка-Москва» не дрогнет, не испугается и будет жить своей жизнью, как бы ни бушевала буря.

Николай Карлович фон Мекк, председатель правления Московско-Казанской ж. д. (впоследствии расстрелянный большевиками), был человеком весьма незаурядным. С огромной энергией, огромной работоспособностью, организаторским даром сочеталась в нем талантливая инициатива, свежее дерзновение и несомненный интерес к искусству. Тонкий вкус и чутье его племянника направляли этот интерес в должную сторону, и удачное соединение и сотрудничество обоих — дяди и племянника — обеспечивали интересное разрешение, при большом таланте Щусева, указанной задачи.

Щусев долго работал над проектом вокзала-дворца, меняя его много раз. Задача была очень сложная, так как по идее заказчиков растянутое в длину огромное здание должно было символизировать собой единение России с Азией, то есть символизировать значение железнодорожного пути. Потому оно должно было вобрать в отдельных частях — и в архитектурной разработке, и во внутренней отделке стен — разные стили и притом представлять собой нечто цельное, некий синтез русско-азиатской России. Разработка отдельных стилей Щусеву удалась лучше, чем приведение в единство архитектурных масс, над которыми маячила башня азиатского стиля. В смысле разработки отдельных частей он проявил тонкий вкус, знание и большую находчивость. Как бы то ни было, можно смело утверждать, что такого художественного разрешения трудной проблемы вокзального здания нигде нет и не было, и потому этот вокзал в Москве явился событием и останется как подлинный памятник искусства в эпоху крайнего практицизма и утилитарности.

Как я уже сказал, внутренние декорации должны были быть исполнены также в разных стилях и должныствовали быть поручены художникам, могущим наиболее ярко представить тот или другой стиль в своем творчестве согласно предрасположению и таланту каждого.

Для росписи стен третьего класса, задуманного в азиатском стиле, был предназначен художник Яковлев. Будучи хорошим рисовальщиком, Яковлев, по мнению фон Мекков, был значительно слабее в чувстве красок. Потому он был на средства правления дороги командирован в Китай, чтобы проникнуться благородным колоритом китайского искусства, его углубленной и радостной гаммой красок. Этой поездке, кончившейся долгим пребыванием в Китае, Яковлев был обязан не только спасением от военной опасности, но и безмятежным благополучным житьем художника вдали от развертывающейся трагедии, что содействовало его дальнейшим успехам в Париже. Китай был использован в связи с изменившимися событиями уже не для московского вокзала, а для Парижской выставки, и командировка московскими Медичи оказала Яковлеву, вывезшему из Китая обильный материал, большую услугу.

Роспись столовой была поручена Александру Бенуа, давшему эскиз некоего триумфального шествия с колесницей, запряженной почему-то быками. Помнится, как я не мог удержаться от смеха, когда в общем малокультурный Щусев стал уверять меня, что белые быки и символизируют «Европу». Эта экскур-



сия в мифологию («Похищение Европы») была чрезвычайно комична. Два декоративных панно для стен у входных дверей были заказаны Билибину. Я жалел, что обойден был художник Стеллецкий, видимо не бывший в фаворе у Мекков. Хотя и слабый рисовальщик, он хорошо чувствовал цвет и обладал декоративным талантом. Его лучшее произведение, иллюстрации к «Слову о полку Игореве», это доказали. В мою бытность членом Совета Третьяковской галереи я выдержал настоящий бой, но мне удалось все же провести на Совете ряд декоративных гуашей этого несколько недооцененного у нас художника.

Обдумав, я с волнением и радостью принял сделанное мне предложение, и, следя за лазаретами, где все было хорошо налажено, я заперся в мастерской на вышке моего дома.

Для меня встал со всей остротой вопрос, не один раз меня в жизни мучивший, о праве целиком отдаваться искусству, когда столько тревожных переживаний, столько беды, столько властно навязывающих себя обязанностей кругом, о праве полного отхода (кстати, не легко дающегося) от жизни.

---

Огромный зал, для которого мне предстояло исполнить панно с декоративной сюжетной росписью, представлял собой пятиугольник, крытый куполом пятигранным с первьюрами, отделяющими своды, сходящиеся к центру. Зал не имел окон, но двумя широкими пролетами соединился со смежной ему светлой столовой, которую должен был расписать А. Бенуа. Каждое мое панно в верхней части должно было заканчиваться полукругом и должно было иметь, как мне указал Мекк, 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> сажени в высоту и 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> — в ширину. Подобного размера холсты (заменяющие фрески), конечно, не могли бы исполняться в моей мастерской, буде мои проекты приняты, но об этом я пока не думал — нужно было сначала выдержать «экзамен», представить проекты в красках и макет всего зала.

Помнится, видение всей композиции мне явилось ночью, и вполне ясно представились мне два панно, третье в моем воображении развилось позже, дня через три. Мне так отчетливо представились композиции и даже вся раскраска, что, я помню, сразу бегло нарисовал панно на листах блока и раскрасил акварелью, чтобы спешно зафиксировать то, что мне представилось.

Мне сразу представились композиции на три темы, по моему мнению, соответствовавшие заданию: город, деревня и промысел, и лишь много позже пришли в голову композиции двух остальных панно, требовавших чисто декоративного разрешения, а не сюжетного.

Мне хотелось дать богатый, радостный, кипящий жизнью торговый город, и вот как мне явился он в воображении: посреди центральный мотив — огромная белая лошадь — тяжеловоз (битюг), на нем черная сбруя и золотые бубны и бляхи на шлее (исполненные червонным золотом). Такие монументальные копии в богатой сбруе мне встречались в торговой части Москвы, и я всегда любовался их мощью и декоративностью. Коня ведет под уздцы рослый мужик (все фигуры должны были быть несколько больше человеческого роста, для монументального эффекта картины) в красной рубахе, в черных сапогах и черно-голубоватых шароварах. Высокий воз занимает середину картины: поклажа — нагромозжденные ящики, сколоченные из досок, цвета старой слоновой кости, коегде серые линии веревок, перевязывающих ящики. Наверху воза мужик в красной рубахе со свисающими черными смазными сапогами. Черные декоративные пятна, красные, белые, золото и теплый желтоватый тон поклажи. За фурой, другая, обе в легком сокращении, в три четверти. Вороная лошадь с золотом бубенцов и блях. Поклажа — сизо-коричневые бочки, со ржавыми полосами железных обручей (я заранее радовался этому красивому цвету). Наконец, вдали рыжая лошадь, которой на пустой фуре правит стоя вожжами парень в красном. Мне хотелось выдержать всю эту вереницу фур в тонах древних ростовских икон, красные тона и белый конь были навеяны образом Георгия Победоносца.

Вся композиция требовала, конечно, в качестве декоративной стенописи условной перспективы: будучи насыщена богатым содержанием, она должна была дать впечатление ценного восточного ковра или огромной иконы, без сокращения к какой-либо точке схода, без неба и, конечно, без воздушной перспективы. После увлечения импрессионизмом подобная полярно противоположная ему задача, которую я себе поставил, меня очень интересовала.

На первом плане две огромные фигуры разносчиков, стилизованных, как некие египетские изваяния с поднятыми вверх руками, придерживающими лотки на голове — у одного с красными яблоками, у другого — с золотыми апельсинами (я всегда любовался этим жестом русских разносчиков, столь пластическим и торжественным в своей монументальной ритмичности). Это были мои любимые, облюбованные мной персонажи в моем городе.

По обе стороны центральной части композиции кипела торговая жизнь. Налево зеленые крыши лавок базара давали своими разнообразными изломами интересный геометрический орнамент. Парни, девицы, ситцевые юбки, платки с орнаментами, черные пятна картузов и сапог, виднеющиеся под крышами товары давали богатый восточный орнамент с ритмом линий удлинённых стилизованных фигур. В углу сидящий продавец калачей, в бледно-розовой рубашке. На другой стороне вход в трактир с вывеской. В сенях парень в тускло голубой рубашке с серыми мешками на плече, оборачиваясь, давал пластический силуэт. Слева, над базаром, на площади с круглыми серыми булыжниками, врывается по направлению к центру, наискось, желтый фасад торговых рядов, низкий с черными жерлами аркад и длинной синей вывеской. Большие четкие буквы на ней (надпись на вывеске) давали что-то персидское своей графикой. Справа, за трактиром, высилась на заднем плане высокая розовая масса строящегося дома в лесах. Леса серо-желтоватыми линиями орнаментально перерезывали розовую поверхность. По ним, в разных направлениях, двигались в ритме эпических барельефов чередой каменщики, несущие кирпичи на спине. Во время постройки моего дома меня поразила красотой этот мотив, никем не использованный. Причудливым орнаментом город со своими пестрыми домами, улицами, серо-зеленой рекой с мостами заполнял всю поверхность панно и заканчивался в верхней полукруглой его части густым орнаментом фабрик цвета розового коралла с трубами, темными пятнышками окон и сизо-голубым дымом.

Насыщенность, осложненность и пышность задуманной композиции, приведенные в гармонию, повышенная красочность при ритме линии и исто русский дух, которые мне хотелось дать, мне казались соответствующими заданию и во всяком случае меня донельзя увлекли. Исполнение этого мотива в огромном масштабе сулило мне несказанную радость и при внимательной разработке рисунка, раз красочная гамма уже вся была разрешена, мне не казалось уже столь сложным, хотя я сознавал, что труда предстояло немало.

Одновременно я занялся работой над композицией проекта второго панно «Деревня», исполняя ее, как и первую, масляными красками. Отрываясь от одного и переходя ко второму, мне казалось, я мог сохранить большую свежесть в процессе работы и самокритику, притупляющуюся обычно при сосредоточенном внимании на одной работе.

Панно «Деревня» должно было изображать жатву хлеба, не той пшеницы или ржи, которая в Московской губ. тянулась узкой полоской среди овса и гречихи, а той, которая на юге разливалась золотым морем до горизонта. Когда шла жатва и к ней приступали (я помню это еще со времен ранней юности, до появления машин) с разных концов одновременно, то получались выкосы, дававшие полю ржи или пшеницы самые различные геометрические формы. Среди золотых стен хлебов получались пустоты, и это образовывало некий орнамент, который я и задумал использовать и стилизовать со своей композицией. До самого верха ее, в условной (иконной) перспективе, в различных комбинациях громоздились причудливые формы еще не сжатых хлебов, между которыми орнаментально геометрическими формами и изгибами компоновались желтовато-зеленые выкосы (зеленый тон, подтепленный лессировкой желтой съены). Получился изысканный узор во все полотно (без неба).

Центральным мотивом являлась огромная круглая скирда с легко намеченным орнаментом сложенных снопов. На золотисто-желтой монументальной массе скирды выделялась фигура мужика в красной рубахе, подающего на скирду вилами золотой сноп в той позе и с тем движением рук, которыми я всегда любовался, как скульптурным мотивом. На верхушке скирды нагнувшиеся бабы тянулись к подаваемым снопам; они — в веселого цвета рубахах — казались бумажными розами на пасхальном куличе — это выходило красиво и занятно. Подождать девки отдыхают, собравшись в кружок на траве (ритм круга, перебивающий ритм прямых линий хлебов). По полю, вдали, разбросаны с наивной убедительностью (столь очаровательной у итальянских примитивов) серые телеги, пасущиеся лошади, мелкие фигуры, дающие красные пятна в золоте полей: две большие фигуры согнутых баб, на первом плане, вяжущих снопы (ритм полукруглых линий спин), связанные и поставленные бабками снопы четко выделяются на зеленой траве. Огромная пластическая фигура молодой бабы тоже, как и разноскики в мотиве города, являющаяся некоей египетской скульптурой, которая держит на голове золотой сноп вскинутыми руками. Справа, на фоне стены хлебов, три женские фигуры на первом плане, одна в бледно-розовом, другая в красном спят в тех же позах, с закинутой рукой. Третья баба кормит грудью ребенка (ритм вытянутых фигур и ног).

Наконец, на левой стороне панно, мой излюбленный и заранее облюбованный мотив, в который хотелось вложить наиболее всего чувства и внимания в разработке. На фоне прямой высокой стены хлебов, как некий ассирийский или египетский барельеф, выступают шесть удлиненных больших фигур (больше человеческого роста) девушек, держащих грабли на плечах. Богатый орнамент ситцевых сарафанов и платков вторит детально разработанному драгоценному орнаменту фона стены. Она представляет собой изысканную комбинацию полевых цветов, белых, шапками, на высоких стеблях, васильков, клевера, ромашки, пестреющих, как эмаль на фоне золота, на фоне стеблей злаков; поверху четко разработанные колосья с позолотой червонным золотом зерен и усов колосьев (фактура Сиенской иконописи).

Бронзовые лица, руки и ноги, богатство пестреющего орнамента одежд и детально разработанного фона золотой стены ржи с цветами, игра колосьев, ритм серых граблей, друг с другом переплетающихся, мне казались донельзя интересной задачей, увлекавшей меня еще более мотива города.

Работая над этими проектами, я переживал то особое состояние, которое сопряжено с интенсивной работой мысли, сосредоточенной всецело на творческом задании и делающейся навязчивой, мыслью, все поглощающей. На улице, отходя ко сну, пробуждаясь от него, да и во сне грезятся образы, краски, типы лиц, распределение фигур, вплоть до самых мелких деталей орнаментов, рисующихся в воображении столь же четко, как на бумаге. Особое состояние — и мучительное и опьяненное, подобное тому, когда в мозгу складываются мучающие вас стихотворные рифмы.

Я считал несвоевременной работу по третьей композиции до того, пока два первых проекта не пройдут через жюри. Закончив их, я в тяжелых белых рамках поставил их на мольберте в мастерской и, конечно, с волнением ждал прежде всего, как всегда, строгой оценки Воли Мекка, посредника в заказе. Он пришел смотреть проекты не один, а с художником Нестеровым и, поднявшись с ним в мастерскую, просил меня оставить их одних. Я вполне понял мотив этого желания обменяться впечатлениями без присутствия автора. Когда оба спустились ко мне в кабинет с довольными лицами, высказывая свое полное одобрение, это было для меня уже радостным предзнаменованием, что и на жюри правления проекты будут одобрены.

Мекк, как и я тоже, обычно бывал очень строг в суждениях об искусстве, часто был нетерпим и резок, при всей его деликатности, эта резкость, выражающаяся в кратких обрывистых определениях, нередко с иронической усмешкой и острым словцом, а иногда и некая капризность меня в данном случае несколько пугала. Нестерова, которого тогда еще мало знал, я и впрямь опасался, зная его тяжелый, крутой, часто неприятный нрав. Потому его очаровательная улыбка,

освещающая его строгое, умное лицо, и сияющее удовлетворенное лицо Мекка были для меня столь приятными после минут остро пережитого беспокойства — вдруг не понравится?

Нестеров, как мне сказал потом Мекк, очень заинтересовался «духом» композиций и вложенным в них «чувством» понимавшего поэзию русского крестьянства «истинно-русского помещика». Колоритное задание, думается, было более понятно Мекку, так как Нестеров в этом отношении, обладая несомненной духовностью, что я ценил в нем, как колорист, был художником не столь одаренным.

Проекты на жюри правления ж. д. были единогласно приняты, о чем мне с радостью сообщил лично ко мне приехавший с поздравлением председатель Н.К. фон Мекк:

— Ну, теперь с Богом, ждем третий проект, валяйте скорее, времени на все, увы, не так много, и приступайте к исполнению, дайте макет для общего впечатления и проекты двух декоративных панно для других стен. Надеемся, что и остальное будет столь же интересным.

На исполнение мне было дано два года, что при сложности задачи и больших размерах было, конечно, не много, и нельзя было терять времени.

«Вот я и пропал, как художник, — вспоминались мне сказанные мной самому себе слова, когда грянула война, — и вот вышло все наоборот».

Заказ, донельзя захватывающий по интересу и на тему, мной себе заданную, столь для меня дорогую. Уйти в некую стихию крестьянской жизни после лазаретов, отчуждения и наряды со всей лазаретной, удручающей душу жизнью, — было великим утешением.

Да, поистине крестьянский мир мы, помещики русские, чувствовали, понимали и знали: знали его красоту и поэзию, его светлые и мрачные стороны и отрадные и плохие свойства этих «плохо воспитанных и плохо дисциплинированных детей», как называла мужиков моя мать. Мы жили всегда близ крестьян, знали их быт, их нравы, их горести, малые и великие, их добродушие и хитрость и через все сетования, жалобы и причитания баб, приносивших нам в деревянных чашках, закутанных платком, яйца и лесную ягоду с разными просьбами или с благодарностью за их исполнение, умели отличить правду от неправды, искренность и притворство.

Напрасно мнила наша пишущая, читающая и мыслящая молодежь в своих прокуренных студенческих комнатах на Бронной, молодежь, свободомыслящая и бурная — «передовая Россия», что она, со своими академическими доктринами и надуманной идеологией, со слезливой ее сентиментальностью, понимала крестьянскую стихию, столь для нее далекую и чуждую. Не знала и не понимала эту «серую скотинку» (пущенное злобное словцо) наша надменная петербургская бюрократия, не понимал ее наш прозорливый и мудрый патриот Столыпин, желавший из нее создать мощную силу и павший жертвой своей прозорливости от руки тех, кто русской мощи боялся.

Но я был художник-помещик, и поверх, или вне, тех или иных оценок и отношений к крестьянству я прежде всего чувствовал всю красоту этого мира, с красными рубахами, назло всей серости пейзажа и жизни, пестрыми ситцами, гибкий мягкий стан крестьянских девушек в облегающих его и дающих античные складки сарафанах, их величественный прельстительный облик и поступь — бесшумную, босыми ногами, красоту бронзового загара, скромной гордыни и особых жестов. Я любил тонкий и терпкий запах кумача и ситцевого платка, смешанный с запахом сена, травы и земли, с тем бесподобным, сложным и живительным запахом, о котором так тоскуешь в городах. Быть может, все это и было то, о чем мне грезилось, когда я приступил к работе, и что Нестеров определил, как «чувство русского помещика» — это, чувственное, красочное и поэтичное, о чем изнывает сердце в заграничном изгнании. Несмотря на все, в ней совершившееся, на все искажение и изуродование, — хоть в художественной памяти пребывает неизменное все это в своем чарующем, своеобразном облике. И как больно становитея при ясном сознании, что лишь в художественной памяти уцелел этот живописный облик, что модное городское платье, короткие

юбки, ботинки, кепки и безобразные пиджаки, бритые лица сменили красную рубаху, сарафан, черные смазные сапоги, окладистые бороды и промасленный пророб, виднеющийся под ситцевым платком!

За третий проект панно «Промысел» я принялся с меньшим увлечением. Но, уйдя в работу, увлекся.

В голове он мне представился вдруг столь ясно, до малейших подробностей, что трудность заключалась не в композиции, а в том, чтобы добиться технически насыщенного глубокого тона, который в связи с созданием было так важно достичь, тем более, что вода играла большую роль в композиции. Только рядом лессировок мне удалось добиться того, что хотелось. Мне хотелось дать золотой, богатый аккорд, чтобы панно соответствовало золотистому цвету поля. Панно я задумал следующим образом. Оно изображало плоты на большой реке, светящейся золотом на закате солнца. По золотой зеркальной глади, дающей местами зеленоватые волны, на первом плане большие плоты, сизо-коричневые (удлиненные квадраты), уходящие в условную перспективу. На круглящихся стволах леса плотов, на первом плане сидят в серовато-белых рубахах бородатые мужики и хлебают щи из деревянных чашек. Нагнувшаяся баба на огне (красное пятно) что-то варит. На золотом фоне воды, на дальнем плоту, удлиненный силуэт мужика в красном, в позе «русского гондольера», отпихивает шестом плот от моста. Огромные массы тепло-серого тона каменных столбов железнодорожного моста перерезают в условном сокращении золотую гладь реки. Над ними, заполняя верх композиции, железная решетка моста заполняла полукруглый верх панно. Сквозь нее краснеет (красная охра) проходящий за переплетами моста товарный поезд. Большая извивающаяся стилизованная струя дыма серо-зеленовато-голубого цвета вырывается сверху и перерезает местами архитектурные массы каменных столбов, чем избегнута сухость их очертания. Помнится, этот клубящийся широкой лентой дым дал причудливый и удавшийся орнамент. Наконец, как и на двух первых композициях, мой «любимый кусок», исполнение которого я с радостью предвкушал: за мостом невидимый пестрый русский город, опрокинутый в отражении вод реки, что по золотистому ее фону должно было дать изысканно разработанный мотив персидского ковра вдали за мощной массой моста. Весь тон панно должен был быть выдержан в глубокой золотистой гамме.

У каждого художника есть свой духовный водитель — гид, и в истории искусства весьма интересно распознать своего рода «крестных отцов» разных художников — кто влиял, от кого шел, кем проникся тот или иной, где влияние, где вклад индивидуальности. Разбираясь в самом себе, в процессе указанной работы, мне не трудно было найти подсознательные влияния Византии, Востока, иконописи, Венеццо Гоццоли, итальянских примитивов, а также нашего Венецианова, отчасти и русского фарфора. Любя добросовестную наивность примитивов, я хотел разработать и уже успел тогда разработать, очень детально и убедительно, траву на первом плане поля, со всеми листочками и цветками.

Третий проект, к моей радости, заслужил полное одобрение жюри и был принят единогласно. Оба первых были на выставке в Москве. «Поле» нравилось публике, помнится, больше «Города» и, думается, потому, что последний на все же небольшом эскизе проекта не мог дать полного впечатления, которое должен был бы дать в большом размере и в детальной разработке. Получив от правления ж. д. определенный заказ, я исполнил из картона макет с вправленными в стенки модели панно в уменьшенном виде, исполненные темперой, а также темперой сделал оба проекта для двух остальных стен и проект росписи потолка, получивший санкцию. Я задумал его как шатер-купол, с богатым орнаментом по фону цвета серо-голубому из стилизованных виноградных лоз, с волютами стеблей (несколько византийского церковного стиля) и листьями цвета золотой охры и крупными малиновыми гроздьями ягод.

Роспись двух стен с широкими пролетами в столовую Бенуа мне долгое время не могла ясно представиться. Я набрасывал разные эскизы, меня самого не удовлетворявшие. Орнаментальную разработку нужно было объединить в гармонии с сюжетными композициями других стен; пересыщать новыми сю-

жетами уже и без того богатую содержанием роспись зала было бы для него слишком большой перегрузкой. Я советовался с Мекком и Щусевым и им обоим, согласным с этим моим мнением, неясно представлялось, какой тип росписи этих двух стен наиболее мог бы подойти. Вдруг, помнится, ночью меня сразу осенила мысль. Я засел утром за работу и к вечеру заготовил оба проекта небольшого формата сразу, не отрываясь. На другой день я поспешил к Щусеву в его огромную мастерскую при вокзале, где кипела работа и где рисовальщики за столами, как в большой лаборатории, заготавливали все чертежи, или словно оркестр музыкантов, каждый у своего пюпитра, исполняли свою партию под палочку дирижера-архитектора Щусева — это было интересное зрелище. Сосредоточенная работа и большое увлечение создавали особую атмосферу, столь далеко уносившую от войны и лазаретной жизни, где тоже кипела работа. Два мира, две обязанности, два столь разные служения, столь друг другу противоположные; война и искусство — как это странно сочеталось и как странно-это уживалось вместе, тем более, что к тому времени уже нависала и другая туча; предгрозовоый ветер Революции уже веял в воздухе, к нескрываемой радости Щусева, бывшего левых убеждений: «Хотел бы, чтобы левее, левее хватило, а то жидко идет», — приговаривал он с улыбочкой. «Вот увидите, не поздоровится», — отвечал я ему. Талантливый художник и донельзя примитивный политический мыслитель, он высказывал неким детским лепетом свои наивные детские убеждения. Менее всех он пострадал от того, до чего довели у нас такого рода убеждения, став персона грата у большевиков и, надо признать, во спасение города Москвы. В эпоху лихорадочного строительства, перестройки и ломки в Москве, окончательно теряющей свой прежний чарующий облик, Щусев, Жолтовский, Шуко, как талантливые архитекторы с хорошими традициями, со вкусом и подлинным мастерством, среди всего ужаса, творящегося в Белокаменной, в смысле строительства, все же, насколько можно судить, отстаивают благородные принципы классической архитектуры среди увлечений крайним модернизмом.

«Прелестно!» — в один голос воскликнули Щусев и фон Мекк, бывший также в мастерской в то время, когда я принес проекты. «Очень занятно!» Я очень обрадовался. Роспись двух последних стен я задумал таким образом.

По обе стороны пролетов, на обеих стенах, огромные фигуры, своего рода кариатиды: молодая баба в красной рубахе с закинутой на голову смуглой рукой держит на голове золотой сноп, в опущенной руке серп. Ей соответствовала на другой стороне фигура парня-жнеца в серо-голубой рубахе и лаптях с косой на плече. На другой стороне торговка ситцами и разносчик с лотком. Фигуры на белом (слегка патинированном) фоне; они вкомпонованы в длинные овалы, составленные из стилизованных в барочном стиле жирных стеблей и листьев. Овалы густого синего цвета, какой бывает на русских чайниках, и кое-где горят красные стилизованные маки.

Вся стена оранжевого цвета (кадмий с охрой). По оранжевому полю раскинуты в виде орнаментальных пятен на довольно больших расстояниях друг от друга птицы и предметы из деревенской жизни. Над обеими арками дверей в столовую я задумал расписать огромное полотенце над каждой — одно малиновое, другое синее, с декоративными складками, свисающие полукругом (как в церковной росписи) над арками и с богатым орнаментом на висящих концах. Полотенца и фигуры по обе стороны пролета должны были давать крупные орнаментальные мотивы.

Вскоре после того, что все проекты заслужили одобрение и приняты были к исполнению, началось все то, что является бичом во всей художественной жизни, — зависть, интриги, злые подвохи, желание напорить и спихнуть с места с целью его самому занять. Ущемленное самолюбие, недружелюбные инстинкты и прежде всего и главным образом ревность, во все времена отравляющая художественную атмосферу и для меня невыносимая. Я отлично понимал,

что, получив такой заказ, являющийся, конечно, значительным событием, завистливые и обиженные чувства скажутся и возникнут прежде всего на почве материальной заинтересованности.

И вот, в одно из моих посещений мастерской Щусева, я услышал вдруг от него такое неожиданное заявление: «А я решил изменить пропорции вашего зала». — «Как? — спросил я. — И это после того, что все проекты уже сделаны по точно данным мне вами лично размерам, как я знаю, установленным правлением ж. д.» — «Ну что ж, срежьте по две фигуры — перекройте, что это вам стоит; архитектура важнее росписи». Эта разыгранная наивность была столь неубедительна, что я сразу почувствовал, в чем дело, заключающееся в желании отбить у меня охоту и отшить меня после законного, ясно предвиденного моего возмущения. Понял это, конечно, и Мекк, которому я сообщил немедленно о неожиданном для меня сюрпризе. Он, конечно, возмутился, но не удивился, так как он был человеком, искушенным горьким опытом.

«Размеры утверждены и изменены не будут, Щусеву будет сказано, что нужно, а ты берись за работу и начинай с Богом». Эти слова меня окончательно успокоили, и Щусев был со мной с той поры несколько сконфуженно любезен. Все вошло в норму.

Я дал распоряжение выстроить немедленно высокую большую мастерскую в подмосковном имении, в саду, близ дома, где бы я мог разместиться с огромными подрамками моих панно, своими размерами очень осложнявшими всю организацию работы, и предвкушал полное уединение в деревне, где я мог бы вполне сосредоточиться.

Роспись стен была в данном случае невозможной по соображениям времени. Прошли те времена, когда месяцами художники расписывали стены фресками. Картины-панно к моменту окончания здания должны были быть вполне готовыми и немедленно вправленными в стены. Но, заменяя собой фрески, понятно, они не могли бы исполняться масляными красками. С другой стороны, чистая темпера, с ее матовой тусклой поверхностью, не могла бы дать силу цвета, которую мотивы, задуманные мной, требовали.

Я узнал, что в Петербургской Академии Художеств есть специалист преподаватель, изучавший особый способ писания темперой с примесью масла, и подобный способ мне казался самым удачным разрешением очень мучившего меня вопроса. Я переехал в Петербург, чтоб брать у него уроки, и составил целый план действия для исполнения картонов-рисунков в Петербурге, вдали от интриг, зависти и нескромного любопытства москвичей. Мой знакомый, очень милый Гауш, имел в Петербурге очень подходящую огромную мастерскую, которой он не пользовался. Я очень был тронут его милым предложением.

Началась особая очень интенсивная жизнь в Петербурге. Я брал уроки в Академии утром, а затем весь день до вечера проводил в мастерской Гауша и лишь вечером к обеду возвращался в нанятую женой меблированную квартиру на Моховой.

Изготовление картонов должно было идти быстрым темпом, чтобы на лето с ними уехать в деревню, когда моя мастерская там будет готова. Потому я надумал наладить работу особым образом. Я выбрал в Академии трех учеников старших классов, умеющих рисовать если не талантливо, то дельно, и притом нарочно таких, которые рисовали в совсем различном стиле. Взял я сразу трех натурщиц, позировавших одновременно для персонажей «Поля», с которого мне хотелось начать. Я руководил работой по изготовлению рисунков, и сам, переходя от одной природы к другой, зарисовывал все, что было мне нужно. Из материала рисунков с природы моих трех помощников, весьма различного по характеру, я имел в виду сделать мой рисунок на картоне. Разный характер эскизов позволял мне избежать опасности «попасть в их тон» и позволял мне сохранить свой индивидуальный стиль и вкладываемое в рисунок мое чувство. С другой стороны, быстрое накопление материала очень ускоряло темп работы. Очень расположенный ко мне зять Сурикова П. Кончаловский, горевший от любопытства, был единственный москвич, которому я позволил посетить мое «Святое святых», желая избежать интриг. «Ради Бога, — воскликнул он, — не заражайтесь стилем

Академии! У вас есть в композиции ваше чувство. Храните его, это важнее всего, а то собьетесь!»

Работа наладилась, спорилась и обещала идти быстро. Создалась очень приятная атмосфера. Помощники были милы, и сами увлеклись всем интересным заданием. Вечера, усталый, радостный и удовлетворенный, я проводил с женой в кругу петербургских знакомых и друзей. Все казалось удачно и целесообразно налаженным, и я навсегда сохранил светлую память об этих рабочих петербургских днях. Эрмитаж — по воскресениям, в будни — мастерская.

Живя этой замкнутой жизнью и всецело поглощенный работой, я не то что не подозревал, но в силу некоего инстинкта самосохранения не допускал до себя всего того, что творилось вокруг, отмахиваясь от доносящихся до меня по вечерам в среде петербуржцев слухов о нарастающих грозных событиях. Я просто не хотел допускать мысли, что так хорошо наладившиеся жизнь и работа могут быть нарушены и даже сорваны, а в мастерской, в нашей артели, об этом не говорилось. Обдумывалось, как хорошо должна лечь складка ситцевой рубахи на натурщице, как ей держать руку, но о политике не упоминалось. Но как ни закрывай окна и ни задергивай занавеску, ничего не поможет. Гроза надвигалась, загремел гром и вспыхнула революция.

Описывать эти трагические, жуткие дни 1917 г. я не буду; картины революции не входят в задачу этих записей.

Но отречение государя явилось для меня душевной катастрофой, и что это была катастрофа, а не спасение для России, я ни минуты не сомневался. Отречением монарха был вынесен России приговор. Катастрофой это было и для меня самого, так как ужасы революции в столице, кровавые бои и опасность, нам ежеминутно угрожающая, заставили все бросить. Захватив в охапку рисунки и смятый огромный картон для «Поля» (предполагалось скоро уже приступить к картону «Город»), я с женой с огромными трудностями вырвался в Москву.

Вспоминается незабываемый эпизод, которого я уже коснулся, где также до щемящей боли столкнулись две жизни — жизнь искусства и грозная жизнь политическая.

Говоря о художнике Головине, я уже упомянул об его чудесной постановке «Маскарада» Лермонтова, где он выявил свой блестящий талант. Только что я пожал ему руку на прощание, высказав мой восторг, только что умолкли бурные аплодисменты и мы с женой очутились на улице, после такого праздника для глаз, унесшего нас на несколько часов далеко от современности, как наш автомобиль врезался в огромную революционную толпу, густой черной массой залившую Невский. Крики, стрельба, полиция верхом с обнаженными шашками — революционная стихия разбушевалась окончательно и затопляла город. С трудом мы прорвались домой и с меньшим трудом, неким чудом оказались вечером в вагоне, до отказа переполненном беженцами, спасающимися в Москву.

Моя тихая мастерская, работа, милые товарищи по работе, «Маскарад», революция, свист пуль, треск пулеметов, крик толпы, трупы на улице — все смешалось в мозгу, как в лихорадочном бреду.

В Москве была тишь да гладь, Божья благодать. Москва гордилась своим спокойствием и тем, что первая вспышка беспорядков была подавлена немедленно; она верила в «бескровную революцию», хотя в северной столице кровь уже лилась рекой. «Все уладится, свобода, данная народу, спасет родину, совершился великий сдвиг и начинается новая светлая эра».

Было и страшно, и тяжело в этой атмосфере общего психоза, самообольщения и пагубных иллюзий. Но временно, и все с тем же чувством самосохранения и желанием охранения начатой и столь меня увлекавшей работы, сулившей много радости впереди, я поверил, вернее хотел во что бы то ни стало верить, что не все кончено, и что вдруг наши оптимисты не совсем не правы. Я врал сам себе подсознательно, чувствуя, что они не правы, и все же столь чудовищной мне казалась необходимость все бросить, поставить крест на все, что мне казалось в то время наиболее для меня важным, что я подверг себя некоему гипнозу. Одна моя мечта была скорее уехать в деревню, где меня ждет уже гото-



вая большая и только что отстроенная мастерская и работа, сулящая мне душевное отдохновение и забвение тяжелых переживаний и дум.

Да и как мог я бросить работу по заказу, так как на «фронте» вокзальных работ ничего не было приостановлено, и все шло своим чередом, потому и я не имел права дезертировать с него. Скорее в Нару, мою дорогую деревню, быть может, все переменится, обойдется — так хотелось в это верить, как верил Авраам, когда занесенный им над сыном кинжал волей Господней все же был остановлен. А вот и тут нож выпадет из рук — нож, направленный на мою родину.

## ГЛАВА XIII

С моей точки зрения у каждого человека есть святое право любить свою собственность, любить тот маленький кусочек на земном шаре, где осела его семья, где жили его деды, где он родился (в Нару я родился, и в моей комнате сохранялось кольцо на потолке, к которому привешана была моя люлька). Этим правом я пользовался в высокой мере в Нару\*. Лишение меня этого права я считал, считаю и буду считать преступным и насилием над непреложным законом историческим и культурным.

При жизни отца в этом родовом имении, перешедшем ко мне в силу преемственности, все шло «по старинке». Родители в нем отдыхали летом, не желая и думать о каких-либо существенных переменах, переделках, перестройках. Все стояло на местах и, как водилось в старомодных усадьбах, помещик жил посреди служб, обступавших дом владельца. Все было скучено, создавалось несуразно, но по какой-то внутренней хозяйственной бытовой логике, без художественного плана. Было мило, уютно, домовито, все было под рукой. Сарай, амбар, погреб с запасами льда у дома, попахивало близкой конюшней, скрипел колодец, доносились песни из рабочей и по праздникам гармонь. Так все это было умили-тельно, в зарисовках трогательно передавать с чувством и убедительностью обязательную сторону примитивной, старой усадебной жизни. Таков был имевшийся у члена нашей семьи альбом с рисунками Соколова, иллюстрирующими всего «Евгения Онегина», включая милую Ларинскую усадьбу.

Я любил традиционность в широком смысле слова, но всегда ненавидел удушливую косность. Соединение традиционности и новаторства не естественно, если новизна, имеющая также историческое право за собой, не оскорбляет врывающейся дисгармонической нотой тональность, данную окружением.

Будучи весьма деятельным и решительным «новатором» в переустройстве Нары и отменяя все, что не свойственно было моему нутру, моим вкусам и потребностям, я всемерно старался вогнать все мной там предпринятое в русло старинных традиций, по которому текла жизнь в русских усадьбах более повышенного типа, родного русскому сердцу, но более художественного, притом сохраняя бережно все, что было так красиво в парке, и оба дома, выходящие на вековую липовую аллею.

Старинные литографии, гравюры, все мной виденное при посещении старинных загородных обиталищ петербургских и московских помещиков меня вдохновляло, да и жил я в то счастливое время, когда, как я сказал, после злополучной эры безвкусицы, бесстильности 60-х и 70-х годов в России пробудился тонкий вкус и культ всего, что было у нас красивого раньше, столь мало (увы) ценимого. Отличный журнал «Старые годы», «Столица и усадьбы» и др. во многом способствовали развитию этого вкуса.

Наслаждение и интерес к творческой художественной работе в моей усадьбе и по внутренней отделке и мебелировке домов были столь велики, равно как и радостное удовлетворение сделанным, что это меня прикрепило надолго к деревне. Раньше я немало путешествовал, но этот вошедший в меня «бес» декора-

---

\* Нару, она же Фоминское, была местом сражения с Наполеоном, упомянутым в «Войне и мире».

тивного строительства так меня попутал, что я уже редко пускался в путь, и подчас я впоследствии, когда все было потеряно, с сожалением отвечал на вопросы, почему я не бывал в той или иной стране: «Слишком любил свою деревню и не мог оторваться от своего любимого детища». Таковым новорожденная Нара и стала, но я сильно был наказан за эту любовь.

К моему счастью, и для благополучия моей серьезной предпринятой работы по данному мне заказу, я водворился в Нару, в отстроенную новую мастерскую, когда в усадьбе и домах все было уже закончено и ничего меня не отвлекало, и я мог всецело сосредоточиться, уйдя в свою работу.

Когда я спрашиваю себя, какие дни моей жизни были самыми счастливыми, не говоря о детских годах, которые под старость кажутся всегда каким-то потусторонним райским миром, то мне ясно, что эти дни за работой в тихой мастерской в Нарском саду, после всех пережитых в Петербурге ужасов и прежних разочарований, были самыми счастливыми. Эти незабвенные дни дали мне наибольшую радость и наибольшее удовлетворение, и жил я тогда верой и надеждой в успех, которые меня окрыляли. Мне грезились великий для меня день, когда мои панно водворятся в стенах законченного зала и когда я почувствую нечто похожее на то, что в прежние времена испытывали художники, не выставлявшие только к сезону свои картины в рамках на очередных выставках, а когда они на стенах общественных зданий могли демонстрировать свое творчество. Сознание, что я работаю для Москвы, что эта работа в Москве останется, а не подвержена будет случайностям покупки тем или иным лицом, уносящим к себе свое приобретение, было очень радостное.

Взял я для работы в подмастерья из деревни одного смышленного мальчишка, которому я объяснил, как растирать краски для темперы; специальную эмульсию для нее (состоящую из яйца, уксуса и масла) я по рецепту моего петербургского преподавателя ежедневно изготавливал сам. Краски, смоченные в воде, заполняли удобные для этой цели старые тяжелые бокалы для шампанского, которые видали у нас в семье иную обстановку и обслуживали иные цели за семейными патриархальными праздниками. С высокой стремянки я выкрикивал мальчику: «Дай вохру (как он называл охру), дай красную!»

Вторым помощником я взял из Москвы крестьянина иконника, который помогал мне натягивать на огромные подрамки холсты и сшивал их. Я грунтовал их потом сам особым раствором (мел, известь, гипс и клей), обеспечивающим вриятную полуматовую поверхность живописи. Иконописец прокладывал булавкой контуры рисунков и «припорохом» похлопывая по дыркам мешочком с порошком угля, переводил контура на холсты, мною по пунктиру потом детально прорисованные. Его же я имел в виду для позолоты, требующей особого опыта, имевшегося у иконников. Накладывая частички листового золота на «мардан» (от слова *marquant*), он мякотью черного хлеба (русский способ) нажимом снимал все лишнее, и золото, самые тонкие частички его (как на колосьях ржи), оставались прикрепленными, где требовалось.

До чего же типичен был этот крестьянин иконописец (вернее, подмастерье иконописцев)! Он повязывал ремешком длинные волосы, как обычно у нас делают столяры. Был он важный, суровый на вид, с окладистой бородой, похожий на апостола, молчаливый, цену себе он знал, относился к делу не только со вниманием, но с самой серьезной сосредоточенностью, понимая всю важность и ответственность художественного труда. Проникшись и моим серьезным отношением, он и относился ко мне не как к «барину», а как к посвященному в служение делу, которое он высоко ценил, уважал и любил и которое в данном случае ему также было дорого. Нравилась ему и тема из нашей русской «жисти». Приступая к работе, он всякий раз осенял себя крестным знаменем, а когда я приступил к живописи, то и впрямь помолился об удаче — Бог в помощь!

До чего мне была приятна эта атмосфера, создававшаяся в мастерской! Я был погружен в русский мир, и мои два крестьянина-помощника содействовали настроению для работы, в свою очередь с этим миром всецело связанной. Работа шла ходко и дружно.

Начал я с панно «Поле» и одновременно, отдыхая от первого, работал над

декоративным панно с двумя фигурами-кариатидами, девушка с золотым снопом ржи на голове, с косарем и с рассыпанными по оранжевому фону веселыми мотивами.

Уже не петербургские натурщики, а подлинные крестьяне моей деревни впоследствии должны были мне позировать для панно «Города».

Утром, в 8 ч., я через березовую рощу, пахнувшую утренней свежестью, где заливались птицы веселым пением, отправлялся в мастерскую. После завтрака работа шла до 5 ч. После чая я уезжал с женой в лес. Как хорошо было там, в любимом вековом хвойном лесу, оберегаемом, как сокровище, от топора\*, на крутом берегу реки, после трудового дня!

Подобно Иисусу Навину, крикнувшему солнцу: «Остановись!» я готов был крикнуть, чтобы это время, чтобы чудесное тогда мною переживаемое время остановилось. Сознание, что я один, что никто мне не мешает и не может помешать, не оторвет от работы, протекающей среди природы, а не в городской атмосфере где-нибудь на вышке душной мастерской, что вместо назойливых людей я вижу лес и поля, что можно отойти от всего тяжелого вдали от меня совершающегося, — какое это было счастье, своего рода Нирвана.

Но вот вошли и помешали жуткие и неожиданные гости!

Как-то раз, работая среди дня, я услышал гул голосов, гул протяжный и странный. Выглянув в окно мастерской, выходявшее, во избежание рефлексов, на широкое пространство, я увидел вдали черную толпу, проходившую между венецианскими статуями у въездной аллеи, надвигающуюся сплошной массой от дальних ворот и огибающую, как змея, широкую поляну, по окружающей ее дороге. Толпа направлялась прямо к главному дому, находившемуся поодаль от мастерской.

Это были рабочие большой соседней фабрики и наши крестьяне, конечно, не «революционеры», но революционерами ведомые (какие же революционеры были все наши Кондратии, Степаны, Фомы и Иваны!) и на «пьющих их крошку» направляемые.

Было их несколько сот. Я быстро скинул рабочий фартук, оделся и поспешил к дому. В старой липовой аллее пред ним толпа гудела. Мой подмастерий-иконописец выкрикнул: «Господи Иисусе, спаси и сохрани!» и начал креститься.

У порога дома стояла бледная, как полотно, моя жена, хотя не терявшая присутствия духа, но с замиранием сердца ожидавшая, что произойдет при моем появлении. Толпа громко горланила, и ей вторил пронзительный крик испуганных чудесных попугаев «ара», которые вереницей пестрели со своим сказочным оперением — красным, бирюзовым, изумрудным и оранжевым — на кольцах, висевших между старыми липами перед домом. Эти слившиеся вместе в трагический унисон звуки навсегда остались в памяти.

Толпа меня обступила. Ничего нельзя было понять, чего она от меня требовала. Скомандовав: «Тихо!», громким голосом я приказал, наконец, чтобы «парламентеры» ясно высказали мне, в чем дело. Оказалось, меня обвиняли в том, что я присвоил себе собственность Красного Креста и укрыл все мной присвоенное в погребах. Я потребовал, искусственно смеясь, чтобы меня как «вора» обыскали, чтобы толпа не трогалась и чтобы были посланы люди осмотреть все помещения в усадьбе. Я сразу понял, что это, конечно, предлог для расправы с нами и с усадьбой и что через несколько минут революционная толпа, попав в глупое положение по возвращению посланных для обыска людей, под другим предлогом начнет наступать на нас, и я не долго ждал, чтобы убедиться в том, что я не ошибаюсь. «Оратор», вскочив на садовую скамью, обратился к толпе, уже с определенно революционной зажигательной речью, со всеми известными митинговыми доводами, избитыми фразами о зверском отношении помещиков к крестьянам, о режиме, о «Николае» (царе), о свободе, о земле, «как воздух», принадлежащей всем, и пр. Тон его был театрально повышенный и крайне озлобленный.

\* Ныне, как я узнал, все леса имения безжалостно и варварски срублены большевиками, включая этот живописный бор у реки.

Французская пословица говорит, что от трагического до комического один шаг. И смех, спасительный, данный человеку смех, спас положение.

Вглядываясь в весьма странную одежду кричащего во всю глотку оратора, я увидел, что на его черном пиджаке пришиты золотые пуговицы (для большей важности и для отличия от остальных), а на них двуглавый императорский орел — пуговицы, очевидно, были перешиты с университетского мундира.

«Вот кричит всякую ругань на царя, а сам в пуговицах с орлом и короной щеголяет — видно, для важности мундира перешил! — крикнул я. — Смотрите, аль не разглядели? Ну и революционер!»

На эти громкие мои слова послышалось: «И то правда, ну отрывай! Ишь генерал какой!» Вместо революционного гвалта по толпе прокатился раскати-стый громкий хохот. Оратор, сконфуженный, соскочил со скамьи и стушевался в смеющейся толпе. «Ну, а теперь прощайте!» — крикнул я и с женой удалился в дом. Толпа умолкла, кое-кто еще посмеивался, и стала расходиться, видимо сконфуженная, что попалась на столь нелепую провокацию, не найдя краденно-го мною добра в подвалах и погребах.

Гроза пронеслась, и отлегло на душе, но не надолго. На другой день, в неу-рочный час, ко мне заявился управляющий, весьма расстроенный, и взволно-ванным голосом стал убеждать меня, не откладывая ни одного дня, уезжать с женой, что хотя «Бог помиловал вчера, но вся местность, фабрика и деревни на-ходятся в сильном брожении», что оставаться в Наре для нас представляет гроз-ную опасность и что мешкать нельзя. Тихонов был не паникер, а по природе смельчак, и я не мог ему не поверить.

Жена и я поняли и покорились судьбе.

Стоял чудный осенний день, листья уже золотились и падали на красный песок аллея парка, вспоминается их кисло-пряный запах, который для меня не-разрывно связан в памяти с этими последними часами в Наре. Я обошел с же-ной все дорожки нашего дорого сада. Закончив прощальный обход его, мы се-ли в круглой беседке, свидетельнице всей семейной жизни; против нее, как золо-то, блестела вода вырытого мной канала.

Вечером со щемящей болью в сердце оторвал я с подрамка уже сильно продвинутое и частично законченное панно «Поле», оставив другое и махнув на него рукой. Я скатал холст в длиннейший сверток и распорядился погрузить его на двух связанных в длину телегах и ночью везти в Москву по шоссе на лоша-дях. Несмотря на все предосторожности, холст был доставлен продраным в трех местах и погиб, да он погиб бы и без того, как и погибло у меня все.

Тому, кто не испытал окончательной разлуки с семейным гнездом и кто не испытывал такого крушения надежд и резкого, грубого, насильственного отрыва от любимой работы, в то время являвшейся целью жизни, тому не понять всего, мной испытанного, когда автомобиль ранним утром увозил меня с женой из Нары в Москву. В Наре все погибло и погибла сама Нара\*. С ней погиб и уже на-чавшийся осуществляться, мною задуманный, в воображении выношенный мною и женой, — проект постройки благотворительно-художественного Детско-го Посада у берега реки, рядом с вековым лесом близ усадьбы. «Посад» должен был быть полярно противоположным какому-либо казенному учреждению для сирот и бедных детей Москвы. План, по моим указаниям, был уже подробно разработан Щусевым и весьма художественно исполнен акварелью.

Посад представлял раскиданные среди березок и рябин домики особого русского типа, очень веселой разнообразной окраски, обнесенные низкой белой каменной оградой. Белое центральное здание школы спереди должно было быть украшено мозаикой — группа Христа с детьми — с соответствующим текстом из Евангелия. Надпись большими буквами, уже заранее мною скомпонованная. Планы были уже разработаны, но все потонуло в Лете. Как было горько!

\* Проф. Б. П. Ширяев засвидетельствовал, что, будучи в Москве, видел все мои панно, хорошо исполненные (думаю, благодаря вмешательству Грабаря), и что они производят очень внушитель-ное впечатление.

Последующая недолгая жизнь в Москве была преисполнена самыми безотрадными тяжелыми переживаниями. Никогда прежде я не чувствовал, что опустели руки, а в то время они беспомощно опустелись. Слишком сильно хватил удар, и, ушибленный событиями, я чувствовал, что цель жизни утрачена. Но то, что, кроме всех утрат и мертвящих душу разочарований, я утрачу и мою родину — подобная чудовищная мысль мне тогда не могла все же прийти в голову. Искусство, палитру я бросил и остыл к самому искусству, ничего не шло в голову — это было состояние анабиоза.

Мог ли я предполагать когда-либо, что художник Нестеров сыграет решающую роль в моей жизни и явится моим и моей жены спасителем.

Лишь за последнее время моей московской жизни, незадолго до революции, в связи с моей работой и поселением Нестерова в нашем доме, я с ним сблизился и очень оценил его.

Был он очень сложным человеком, замкнутым, недружелюбным, «неуютным», до болезненности самолюбивым, легко уязвимым и могущим казаться недобрый, даже злым; но в последнее все же как-то не верилось. Как его ни расценивать в смысле художественных качеств, но слишком много в нем было душевного, искреннего, подлинно религиозного, прочувствованного, при всей подчас надуманности, особенно в последних композициях, которые мне были не по душе. Но даже и в них, при всех неприятных сторонах, при некоей театральности в том или ином персонаже, было вложено искреннее чувство и любовь — русское чувство и любовь к русскому народу.

В наибольшей степени то и другое проявлялось в пейзажах Нестерова, играющих большую роль в его религиозных композициях. Много было в них подлинной поэзии и проникновения в «душу» русской природы — смиренной, трогательной, с ее березами, осинами, елками. Что особенно было ценно в пейзажах Нестерова и чего у наших пейзажистов не было — это некая претворенность природы: при убедительно переданных деталях, любовно изученных, пейзаж у него не был протокольным, а словно обвеянным не то сказочной, не то потусторонней мистической и исто-русской лирикой. Мне казалось, что Нестеров мог бы дать гораздо более подходящий и прочувствованный пейзаж для оперы «Град Китеж», чем размашистый пейзаж Коровина и пейзаж в трактовке Васнецова и Билибина.

Наряду с некоторыми последующими неудачами, к которым приходится причислить большую религиозную композицию «Святая Русь», исполненную по заказу вел. кн. Елизаветы Федоровны для построенного Щусевым храма в ее Марфо-Мариинской обители в Москве, наряду с некоторым сладковатым сентиментализмом, иногда Нестерову присущим, он явил себя, как подлинный вдохновенный мастер серьезного и высокого стиля в трех лучших своих произведениях (помещенных в Третьяковской галерее): «Русский странник» — старец с котомкой на фоне большого и прелестного пейзажа, «Св. Сергий» — в экстазе, в лесу с потусторонним молитвенным выражением лица, и в особенности в лучшем вообще его произведении «Видение отроку Варфоломею». Последний холст, будь он исполнен фреской на стене, мог бы занять видное место среди крупных произведений религиозного искусства в храме, а не только быть одним из выдающихся номеров в галерее.

Некоторая недооценка Нестерова, давшего хотя бы только эти три указанных произведения, несомненно, наиболее удачных, и даже резко отрицательное к нему отношение некоторых наших и утонченных художников-критиков Петербурга, а также нового поколения художников, объясняются двумя причинами. Одна из них та, что религиозный пафос Нестерова ныне, увы, является анахронизмом при отмирании духовности, душевное же в Нестерове недооценивается или впрямь не замечается при отмирании душевности. То, что вложено в лицо отрока Варфоломея, ныне не по плечу современному художнику, вряд

ли и «Надгробный плач» Врубеля может быть воспринят во всем его значении, во всей его глубине.

Другая причина заключается в живописных дефектах Нестерова (именно в этих трех упомянутых его вещах эти дефекты отсутствуют). Подлинным, утонченным мастером чистой живописи Нестеров, конечно, не был; думается, он и сознавал это, во всяком случае, это задание у него не было на первом плане в его поисках чего-то иного и ныне в искусстве отсутствующего. Неудивительно, что в эпоху, когда лозунгом была «живопись для живописи», когда «как» заменило всецело «что», Нестеров также не мог быть «в моде». Повышенных требований, предъявленных к чистой живописи, фактуре, к цвету и тону, породивших преувеличенный отчасти культ Сезанна и некий культ в наше время натюр-мортов, Нестеров, конечно, удовлетворить не мог. Цвет и тон, техника нередко скучноватая, живопись, часто являвшаяся не настоящей живописью, а раскраской, — все это было слабой его стороной. Многие очень красивые эскизы его гуашью и акварелью были интереснее, свежее и с большим вкусом исполнены, чем его большие холсты.

Если это не прощалось Нестерову, то еще менее прощались ему несомненные некоторые его неудачи и дефекты вкуса в той или иной композиции, за которой не различалось в общей оценке мастера то, что им было дано значительного и впрямь прекрасного.

Быть может, и вернее всего, Нестеров при его чуткости и уме сам чувствовал, что ему не было дано, а часто столь несправедливое отношение к его творчеству он сознавал несомненно. Это объясняло многое в его раздражительном и сложном характере. Он сознавал, думается, что он не дитя и не герой своего времени, и потому был скорее одиноким молчальником, раскрывая свое нутро лишь изредка и весьма немногим, но эти немногие его ценили и любили. Когда подход к нему самому, как к человеку, находился правильный, задушевный и прежде всего искренний, лишенный всякой предвзятости и банальности, сумрачный Нестеров с его странным изменчивым лицом, своеобразным высоким черепом, умными, пронизательными светло-серыми глазами, становился обаятельным, и обаятельной являлась его улыбка, просветленная, добрая и ласковая.

Таким я и полюбил его и глубоко оценил, оценил ум, чуткость и сердце этого скрытного человека и подлинного художника, с его неровностями, странностями и задержками, но с отличным сердцем, русской душой и большим духовным внутренним содержанием. Огромным качеством Нестерова была его абсолютная честность. Ни на какие компромиссы, подлаживания, заискивания не способная. И так как я знал, что он остался в Москве при большевиках, и знал его ненависть к ним, мне было за него всегда страшно. Но именно эта внушительная честность, а также заслуженное звание мастера его спасли, и в стране, где более ничего не уважается, Нестеров внушил и стяжал к себе уважение.

В начале революции Нестеров мне показал у себя еще недописанную большую композицию масляными красками «Русский царь». «Ох, не вовремя написали это!» — сказал я. — «Да, что ж поделаешь, конечно, не в духе времени», — ответил он с улыбкой. Не знаю, какая судьба постигла эту не слишком удачную, насыщенную персонажами картину — запятана ли она или уничтожена из понятного чувства самосохранения, но мне известно, что Нестеров перешел окончательно к портретной живописи, бросив композиции, в которых с его честностью он не мог бы пожертвовать всем, что ему дорого, и еще гораздо менее, как столь многие художники в Советской России, подлаживаться под требования начальства, заказывающего, и в большом количестве, картины, прославляющие режим и быт подъяремной России. В портретном искусстве Нестеров преуспевал. Двойной портрет юношей, репродукции которого я видел, мастерски нарисован и, видимо, очень хорош.

К моему большому уважению присоединилось чувство беспредельной благодарности Нестерову, спасшему нас, как я сказал, от грозной опасности.

В душевном состоянии, в котором я находился после бегства из Нары и всего пережитого, я ни на что более не реагировал, и все кругом происходящее содействовало самому мрачному настроению. Жизнь в Москве продолжалась в

силу инерции, но дни текли уныло, однообразно, все вкусы и желания атрофировались, и я искусственно создал для себя полное отрешение от всего и всех, кроме близких членов семьи, столь же как и я удрученных.

Через Китайскую стену, которой я себя окружил, перелетали все более тревожные вести, но что можно было делать другого, когда стоящие у дела ничего не смогли сделать и спасти вовремя, как философски покоряться и верить в некое неожиданное спасение положения, придерживаясь ставших знаменитыми русских «авось» и «ничего» (слово, выгравированное на кольце Бисмарка, как русское слово, ему особенно понравившееся); «авось» и «ничего» погубили многих и чуть не погубили и меня с женой. Все бросить на произвол судьбы, все с любовью собранные картины, иконы, художественные предметы, библиотеки, бросить дом в Москве, как была брошена уже вовлеченная в революционный водоворот Нара, — это все казалось чудовищным, и это не могло пройти в сознание, как необходимость, чтобы спасти все же главное, как это все ни было мне дорого, — жизнь.

В жизни нужна внезапная решимость, как она нужна для того, чтобы лечь на операционный стол, толчок извне. Операцией в данном случае было бросить все, оторваться от всего, на все поставить крест и ринуться в неизвестность — то, на что не решилась моя семья, жестоко за это поплатившаяся.

Этот толчок дал Нестеров. Зайдя к нам неожиданно вечером, он, проявляя трогательную о нас заботу, притом в бурной форме, стал, топя ногами, кричать мне и жёне: «Уезжайте, уезжайте немедленно! Говорю вам уезжайте! Не теряя ни одного дня, бросьте все, все пропало, начались голодные бунты, всеобщее брожение — будет беда. И вам, с вашим домом, особенно грозит беда, уже несомненная. Вам здесь не место, не одобровать вам, поверьте же, слушайте меня!..» Так убедительна была его горячая, трогательная, рассерженная настойчивость, столько было в ней сердечности и дружеской тревоги за нас, что мы до дна ему поверили, прониклись его доводами и его опасениями, и колебаниям более не было места. Мы молниеносно приняли решение и, быстро уложив самое ценное (картины, гобелены, художественные вещи, лучшие книги, бронзу, фарфор), отправили на хранение в подвалы Исторического и Румянцевского музеев согласно любезному предложению их директоров. Мой однофамилец, директор Исторического музея, за это впоследствии чуть не поплатился жизнью — «за укрывательство буржуйной собственности», и все в обоих хранилищах было найдено и разграблено. Кое-какие картины, как я слышал, висят в Третьяковской галерее, другие были разбазарены, как, конечно, и все художественные предметы.

Бросив все остальное, немедленно разграбленное по пришествии большевиков, мы, взяв только самое необходимое, сели в автомобиль и уехали на вокзал, где в окруженном войсками поезде направились в Крым через опасные зоны — «на время», как нам казалось тогда, когда в худшее еще не верилось, но на самом деле, покидая Москву навсегда, а в скором времени, думается теперь, покинув навсегда и Россию. Через несколько дней после нашего бегства Москва была во власти большевиков.

Уезжая, жена и я осенили крестным знамением наш дом.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

«Золотая рыбка» уплыла на дно морское, и ныне, как старик в Пушкинской сказке, я сижу на берегу и могу звать только ее — вернись! Но тщетно! — я знаю, она не вернется!

По ту сторону — вся моя бывшая жизнь, столь иная, когда-то солнечная, озаренная светлой надеждой на будущее.

На том берегу — моя родина, не только облик свой, но и название свое утратившая, мой родной народ — народ прежний, который я знал, — истекающий кровью, вымирающий от голода, униженный, осрамленный, обнищавший, гонимый и истребляемый, и новый народ, явившийся ему на смену, мне чуждый, незнакомый. И сидя одинокий, со спутницей моей жизни, на чужом берегу, не

имея возможности ни проплыть это море, держа путь к родине, ни помочь ей, ни жить в ней, как «враг моего народа», предмет ненависти его порабитителей, я окидываю взором всю мою жизнь с искусством и в искусстве.

Многое за долгие годы продумано, многое пересмотрено, переоценено, много иллюзий и разочарований изжито, много мечтаний и грез унесено временем.

Казалось бы, разрушено все, но наряду с религией у меня еще осталась твердая база, на которую я опираюсь, — искусство, и все еще жива любовь к нему и не отмирает живой к нему интерес. Они оба, спасительные и животворные, дают смысл и содержание моей жизни, казалось бы, того и другого лишенной. Правда, любовь и интерес иные, ничего общего с укладом моей личной жизни не имеющие, лишенные необходимого пафоса для какого-либо созидания, организаторских стимулов, ни к чему более не приложимых, как было на родине.

Московский дом, мое детище, разгромлен, обверован, и газеты подробно описали это расхищение, в котором я, конечно, не мог сомневаться, зная отношение в Советской России ко всему «бывшему» и «бывшим» людям принадлежавшему. Мой дом в полном смысле слова был «храмом искусства», с его отделкой и его художественным содержанием, он был предназначен стать общественным храмом искусства, — а что с ним ныне? Дом в Нара-Фоминском, где я родился и провел столько счастливых лет моей жизни, мной украшенный, художественно преобразованный, как и вся усадьба, уничтожен, и на его месте водружен кинематограф для соседней фабрики. Старые заповедные леса вырублены.

Временно спасенные в момент моего бегства из Москвы в подвалах музеев мои собрания предметов искусства, гобелены, бронза, фарфор, ковры, изысканные, любовно собранные вещи расхищены. Чудная библиотека, годами собранные, художественные редкие издания либо гниют на книжных свалках, никому не нужные, либо скручены на папиросы.

Где картины — не знаю. Некоторые, возможно, в каком-нибудь музее — в каком? Где? Большая часть, несомненно (про картину Ренуара я знаю точно), разбазарены в Америку или в иные страны. Большая картина Малявина, тщетно им самим разыскиваемая в бытность его в Москве, пропала бесследно. О моих работах я и не говорю. А где чудные иконы? Все это сплошные развалины, и все мое собрание — канувшие в Лету ценности...

Развалина ли моя личная жизнь, после утраты всех этих ценностей, прошедшая через горнило испытаний? В одном плане — вполне развалина, в другом, уничтожившись, она преобразилась, проходя через сложный крестный путь, и это, конечно, не только в смысле материальных утрат, утрат без остатка всего мне принадлежавшего. Да. Я любил не только искусство, но, принимая это понятие в широком его значении, любил и красоту жизни, и роскошь. Не каюсь, а признаю это и подчеркиваю понятие столь вульгаризированное, столь опорощенное в его смысле и значении; оно выращивается в сознании поколениями, с отбором в них людского состава, путем дисциплины мысли и культурных понятий, обуславливающих законное, нужное и в социальном отношении полезное проведение его в жизни, без этого фактора, обреченной на удручающую, серую, душливую обывательщину, на снижение диапазона культуры страны, на сбеднение ее облика. Поэтому личную потребность в красивой роскоши, противопоставленной грубой, спесивой и мишурной, выявляющей яркие и обличительные признаки некультурности, я не могу не только почитать за прихоть, а, наоборот, не могу не считать за важный фактор в единоличной и общественной жизни.

А что сказать о подлых ревнивцах, стремящихся путем воровства и разгрома дорваться до этой роскоши, не будучи в состоянии усвоить и понять благородную природу роскоши, очищенной путем вековой культуры, развившей



утонченность вкуса и потребности, роскоши, органически связанной с культом искусства, подлинной красоты, вздымавшей в веках уровень искусства до предельной высоты во всех его отраслях.

Мы видим и знаем по опыту, что дает эта погоня за недоступными благами и ценностями. Мы видим нелепые, уродливые позы и замашки недорослей, мальчишек, взбирающихся по промасленному ярмарочному столбу к его макушке, чтобы сорвать заманчивые гостинцы, барахтающихся, соскальзывающих и падающих: не легко вскарабкаться на ярмарочный столб, не сразу и не легко дается гостинице!

В силу зависти и нелепой, разрушительной идеологии социализма роскошь, понятие, вызвавшее и вызывающее столько негодования, презрения и злобы к бывшему моему сословию, явилась во всем превратном и опорочивающем его представлении одним из важнейших факторов разрушительного, беспощадного, революционного процесса; она явилась мишенью, на которую были направлены стрелы бунтовщиков, хулителей и врагов культуры; но она же, презираемая роскошь, для разрушителей, для всех темных и грубых сил, спешащих на смену, является манящей, притягивающей, как некий магнит. Презираемая, хулимая, она является предметом вожделения; будучи предметом утонченнейших потребностей, она же является соблазном для грубой похоти. Да и понимали ли красоту роскоши искажающие, опорочивающие это понятие, оскорбленные, жалкие, опустошенные в мыслях и духе люди, невежественные, слепые хулители, для которых слово «красота» недоступно либо презренно, ибо из их мировоззрения изъято. Оно вне поля зрения и сознания, а потому, какое у них право судить о значении и смысле непонятого им понятия! Не столь уже легко оно дается в его положительном и важном своем значении!

Да и понимают ли благонамеренные друзья человечества, обличители, моралисты, равно как и варвары, вандалы, себялюбивые завистники, разрушители, что похоронено под этими развалинами, за которые мир и мы, русские, в частности, обязаны им? А если поймут, не страшно ли им станет, если они даже в этом и не сознаются; не начнут ли они выскребывать из-под обломков черепки, чинить и склеивать эти погибшие ценности, снимать с них копии, подражать и изучать для собственной нужды и пользы, почесывая затылок, перешептываясь, но только не признаваясь вслух — уж очень зазорно говорить о совершенном безобразии!

Да уж не так много и было у нас в России, что разламывать из того, что уцелело с давних времен, чтобы уж так бесцеремонно предаваться ломке, и не так уж много было создано красивого, добротного, художественного вновь, чтобы так бесшабашно расправляться с этим редким и ценным русским добром!

Да и не так уж много было и людей, которые умели это растить, беречь и любить; людей, обогативших страну и ее украшавших, покровительствовавших творческим художественным силам, чтобы так их обижать, оскорблять, поносить, гнать и расстреливать, как самых лютых врагов. Какую жизнь ни строй, все могло бы пригодиться, а такой выращенный веками завод людской снова не скоро вырастишь. Травка взойдет, а цветы ведь не скоро распустятся!

Страшно проснуться от наваждения; ломать легко, чинить трудно, а насаждать, выращивать людей, приспособленных к тому, чтобы делать то, что делали «бывшие люди», — еще труднее. Многие ли из них оправятся от ушиба, залечат раны, вернуться к жизни, не говоря о загубленных? Да и уцелевшие смогут ли вернуться для общего дела, если бы после покаянной их гонители признали их: хватит ли сил и годов жизни? А если признают их, то поймут ли друг друга «бывшие» и «новые» люди? Понимают ли варвары, что значит не только уничтожать богатства и красу страны, но и скинуть со счетов целые поколения, да начать счет по-новому, не прикладывая к этому старого. Цифра к цифре — счет получился бы куда интереснее, круглее и прибыльнее! Строя новое, не полезно ли поглядывать и на старое, вековое, в котором все же кое-что было неплохого, что и вернуть бы хотелось, да и что вовремя могло бы быть использовано.

Пустот жизнь не терпит, но чтобы не заваливать пустоту хламом, нужно потерпеть, осмотреться, ибо спешки жизнь тоже не признает, и все в ней должно

идти чинно и по порядку. «Поспешишь — людей насмешишь», а жизнь шуток не терпит, не терпит опрометчивой спешки и людей скороспелых, и мстит за насилие над ней.

Но красоты не уничтожить, какой свалкой ни заваливай луг, а как сгниет, хочешь или не хочешь, а цветы на поле сами вырастут, но все же не скоро, быть может, очень, очень не скоро! Можно залить бетоном известное количество квадратных саженей, но поле широкое не зальешь; можно загородить реку, но вода разольется. Плыть же по ней будет труднее, чем продвигаться по вековому руслу.

Я живу в эпоху, когда со всех концов везут на возах мусор на некую гигантскую свалку. Им заполняется огромное пустое пространство, и он широко раскидывается по полям. В ожидании перегноя земля обвевана смрадом, нестерпимо удушливым, и вид этой свалки отвратителен и мерзок!

Потребность бежать, найти девственный луг, бежать туда, куда зловоние не доходит, — ныне преисполняет душу, но для этого нужно бежать далеко и твердо знать, куда держать путь.

Там, где перегноя, верю, взойдет когда-нибудь трава — свежая, возможно, сочная и густая, и даст цветы.

Но пока смрад нестерпим, лучше запереться в комнате и закрыть окно. Пока бежать не удастся. Это я и делаю.

---

Стоя, в силу своего возраста и в силу событий, на рубеже двух эпох, я одним ликом обращен к новой, другим к старой, отживающей. Не желая причислить себя к «отжившим», которые, отмежевываясь принципиально и идейно от всего нового и являясь сами призраками, живут исключительно среди призраков прошлого, я всемерно стараюсь и в новом отделить «пшеничное зерно от плевел» и готов признать всю ценность огромных достижений современности, но меня пугает, более того, преисполняет ужасом и скорбью не эволюция, не переходный процесс от одних форм жизни, от одной установки культуры к другой, а беспощадная расправа, в порядке грубой ломки уничтожения, выкорчевывания во всех областях, — великого наследия прошлого. Пугает меня и не эволюция в самом человеке, а некое полное его перерождение, перестройка всего его нутра и изменение состава его «сердцевины»; в этом отмечается столь же беспощадная расправа со всем наследием прошлого, как и во внешней жизни, в которую он — этот человек — ввержен, жизни политической, социальной и бытовой, созидаемой либо силами, от него не зависящими и пред ним не ответственными, либо при личном его содействии.

В жизни искусства и в моей жизни с искусством, во всех переживаниях, с последней связанных, подобный смерч произвел огромное опустошение, принесшее с собой столь великие разочарования, что они нередко граничат с отчаянием не только за мою личную жизнь с искусством, но и за судьбу искусства в его интегральном значении, что для меня лично несравненно важнее.

Искусство, растерявшись, утратив все точки опоры, либо гибнет, уже не имея на своих верхах никаких руководящих, значительных сил, либо находится в некоем оцепенении в стадии задержки, либо приспосабливается к диапазону требований и вкусу времени, опорочивая себя высшим грехом — безвкусицей и пошлостью, либо, наконец, вверженное в клоаку, оно взято в оборот темными и развращающими его силами. Все высшие его когда-то ценности взяты под подозрение, если не впрямь дискредитируются, ибо переживаемое время не только отличается огрубелостью, но и горделивой надменностью по отношению ко всему, что им относится к пережиткам старого, укоризненно взирающего на смену, ничего равного по ценности не могущую дать, несмотря на весь пафос новаторства. Стихийное уничтожение старых сокровищ искусства, совпадающее во времени с подобной переоценкой и ломкой, пополняет собой во внешнем плане разрушительное начало, идущее изнутри, из омраченного сознания, и словно

вторит ему в общем сокрушительном процессе. Глаз и ухо постепенно привыкают к уродству архитектуры, выставочного хлама, к плебейской или оскорбительной музыке, к пошлости экрана, не говоря об измельчавшей и опошлившейся литературе. Высшая духовная культурная элита, просвещенное меценатство, обеспечивавшие аристократизм искусства, сметены волной истории, выкидывающей из пучины на сушу иные элементы, за редкими исключениями, содействующие снижению и опорочиванию искусства и оперирующие с новым составом людским новым уровнем понятий, с его измененными требованиями и решениями житейских и социальных проблем, непосредственно влияющими на судьбы и формы искусства.

Казалось бы, что все сказанное человека старой культуры и твердо укоренившихся убеждений могло бы привести к безысходной тоске — мировой тоске, если бы, именно в силу этой, свойственной ему культуры и убеждений, он не чувствовал ту почву под ногами, которая не может поколебаться даже при подобном ее сотрясении.

Чувство подлинной и вечной красоты, всего великого, чем наградило искусство человечество, позволяет жить особой жизнью, вне времени и пространства, в особом и всегда живом контакте с миром, для него не призрачным, а вечно живым, в сожительстве со сродственными, верными, надежными друзьями, в сфере высшего и вечного искусства и высшей человеческой мысли, более того, в некоем таинственном живом общении с их творцами, оживающими в оставленном ими наследии и словно ведущими с обращающимися к ним и к их творению особую проникновенную беседу. Это свойство вживания в мир отошедший и есть одно из особых свойств, которым люди отмирающей культуры ей обязаны, — свойство, ныне убиваемое и вытравливаемое.

Это общение вне времени и пространства, в ином, духовном плане, делающее значение прошлого вечным и умерших живыми, нередко компенсирует столь же великое одиночество, сколько и тяжкий контакт с тем, что является столь отрицательным и неприемлемым в современности.

Признание вечно ценного, нужного и вечно живого в прошлом создает иммунитет и твердую почву, и тогда не страшны все соблазны, все инфекции и яды, вырабатываемые современностью. Среди «плевел» из долга перед правдой необходимо отличать «пшеничные зерна» даже в искусстве, где они весьма редки, прикрыты мусором, но все же имеются и должны быть отобраны с беспристрастной оценкой и с должным вниманием и признанием. Старая культура обязывает, в оценках, в подходе к явлениям и вещам, не впасть в ошибки современности. Подобный отбор — долг совести.

Указанный мной иммунитет, данный старой культурой, спасает от той новообозначающей культуры, которая столь поверхностно, с неосторожностью фанатика, порочит старую жизнь и отпетые песни со всей их ценностью, красотой и правдой, в них заключенной, и, не внимая заветам прошлого, пускается в столь опасные, чреватые тяжелыми последствиями эксперименты, безоговорочно следуя директивам сомнительных или впрямь преступных советчиков. Искусство тяжело расплачивается за подобную неосмотрительность.

К нему, в частности, как к важному фактору культуры и в данном случае жертве ее ложной и губительной установки, словно обращены слова: «Люди, развращенные умом, невежды в вере! Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей... Они от истины отвратят слух и обратят его к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби... Исполняй служение свое... Обманщики будут преуспевать, вводя в заблуждение и заблуждаясь...» (Послание Апостола Павла к Тимофею, гл. III и II).

Подобной, мной лично почитаемой, единственно правильной позицией я обязан не личным каким-либо заслугам, но той культуре, которая обусловила подобную установку по отношению к прошлому и к современности. Позиция эта имеет особенное значение для сохранения должного равновесия — духовно-го, умственного и морального, — для тех, кто, как я, судьбой помещены на рубеже двух эпох, двух культур, двух мировоззрений.

Будучи сам художником и прожив всю жизнь с искусством, я, отдав ему много любви, получаю от него, ныне выброшенный судьбой за борт, — высшую благодарность. Она заключается в том, что оно позволяет мне пребывать в таком плане, который отрешен от реального бытия и тяжелых будней жизни. Искусство, поставив меня, в моем художественном сознании, вне пространства и времени, в смысле пространства дает мне в тяжком изгнании на чужбине величайшее и столь многим недоступное утешение в огромной моей личной трагедии. В смысле времени оно, не оторвав меня духовно от всего, чем оно обогатило мою жизнь в прошлом, является живой с ним связью, ибо дорогие, ценные и радостные для меня образы, с ним связанные, ценные впечатления, встречи, переживания и радости, вся красота, меня окружавшая, мне данная и мной созданная, — для меня живы и живут во мне, несмотря на все утраченное, похищенное и погубленное и несмотря на все мое горе и разочарование. Эту непреходящую ценность и дала мне моя жизнь с искусством.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

По техническим соображениям текст этой рукописи было необходимо подвергнуть сокращениям. Я хочу объяснить читателям, как эти сокращения изменяют мой первоначальный замысел дать в широком масштабе «одну жизнь с искусством» с соответствующим заглавием, теперь, в связи с сокращением текста, измененным.

Не останавливаясь на сокращениях, касающихся многих моих мыслей и рассуждений, я отмечу только два из них: одно из них касается моей интенсивной общественной деятельности в России во время первой мировой войны и после революции — в Париже; второе — это моя жизнь в Италии и дружба с замечательным русским человеком Н. Лоховым — непревзойденным копиистом итальянских знаменитых фресок и картин. Несмотря на тяжелую нужду, отвергнув миллионы, предложенные ему американцами, Лохов завещал весь труд своей жизни русскому народу, лишенному возможности видеть оригиналы. Этот дар русскому народу — копии знаменитых картин в натуральную величину, подлинные сокровища — был отвергнут Советами. Я считаю своим долгом отметить этого выдающегося русского патриота.

Хочу сказать также, какую огромную роль в моей жизни сыграло пребывание в Италии, которой я посвятил немало страниц, не вошедших в эту книгу. После всех ужасов, мною пережитых, я, рукою Божьей спасенный, прочно стал на ноги, всецело отдавшись моей работе в искусстве, приобщившись к своей новой родине, к тому, что имеет вечную и ныне забываемую ценность.



---

Владислав ХОДАСЕВИЧ  
МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Из воспоминаний)

Было мне двадцать лет. Я жил в Москве, писал декадентские стихи и ничему не удивлялся, предпочитая удивлять других.

Однажды, в Литературно-Художественном Кружке, ко мне подошла незнакомая пожилая дама, вручила письмо, просила его прочесть и немедленно дать ответ. Письмо было, приблизительно, таково:

«Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие, предлагаю рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян».

Я сделал вид, что не удивился, но на всякий случай спросил:

— Это серьезно?

— Вполне.

Я не был знаком с Шагинян, знал только ее в лицо. Тогда, в 1907 году, это была черненькая барышня, усердная посетительница концертов, лекций и прочего. Говорили — пишет стихи. С М., о которой была речь в письме, Шагинян тоже не была знакома: только донимала ее экзотическими письмами, объяснениями в любви, заявлениями о готовности «защищать до последней капли крови», — в чем, разумеется, М. не имела ни малейшей надобности.

Я спрятал письмо в карман и сказал секундантше:

— Передайте г-же Шагинян, что я с барышнями не дерусь.

Месяца через три швейцар мне вручил букет фиалок.

— Занесла барышня, черненькая, глухая, велела вам передать, а фамилии не сказала.

Так мы помирились, — а знакомы не были. Еще через несколько месяцев познакомились. Потом подружились.

Мне нравилась Мариэтта. Это, можно сказать, была ходячая восемнадцатилетняя пуганица из бесчисленных идей, из всевозможных «измов и анств», которые она схватывала на лету и усваивала стремительно, чтобы стремительно же отбросить. Кроме того, она писала стихи, изучала теорию музыки и занималась фехтованием, а также, кажется, математикой. В идеях, теориях, школах, пауках и направлениях она разбиралась плохо, но всегда была чем-нибудь обуреваема. Так же плохо разбиралась в людях, в их отношениях, но имела доброе сердце и, размахивая картонным мечом, то и дело мчалась кого-нибудь защищать или поражать. И как-то всегда выходило так, что в конце концов она поражала добродетель и защищала злодея. Но все это делалось от чистого сердца и с наилучшими намерениями.

Неизменно пребывая в экзотическом состоянии человека, наконец-то обретшего истину, она столь же неизменно жалела меня, как пребывающего в безвыходных заблуждениях. Качала головой, приговаривала:

— Ах, бедный Владя! Что мне с вами делать?

— Спасибо вам, Мариэтта, но я вовсе не погибаю.

— Нет, вы погибаете. Это очень печально, но это так.

Под конец я перестал спорить: понял я, что нравится ей играть, будто я гибну, а она будто это видит, только помочь не может. Так это навсегда и осталось.

Она всегда была от кого-нибудь «без ума». Иногда это были люди, вовсе ей незнакомые, как, например, та М., из-за которой мы должны были драться па рапирах. В начале нашего знакомства кумиром был С. В. Потресов-Яблоновский.

— Это изумительный человек, Владя. Надо его знать, как я знаю.

— Я очень уважаю Сергея Викторовича...

— Нет, вы его не можете оценить. Молчите.

— Я...

— Прошу вас, молчите. Вы совершенно погибаете, Владя. Что мне с вами делать?

Труднее всего приходилось мне, когда С. В. Яблоновского сменила З. Н. Гиппиус. Немедленно выяснилось, что я: 1) безнадежно темен в делах религии, 2) поставил своею целью искоренить христианство и, что всего хуже, 3) злоумышляю против З. Н. Гиппиус лично, так как ее ненавижу. Никаких оправданий Мариэтта не слушала. Не успевал я раскрыть рот — Мариэтта уже обличала меня.

— Остановитесь, Владя. Подумайте, что вас ждет. Как ужасно, что вы погибли!

Лишь после долгих уверений и покаянных вздохов моих мне было позволено издали смотреть на корбочку с письмами З. Н. и на ее портрет.

Вдруг, когда в конце 1909 года Андрей Белый сменил З. Н. Гиппиус, Мариэтта не была, или почти не была с ним знакома. Зато в зимние ночи, в шубе и в меховой шапочке, которую, кланяясь, снимала она по-мужски, с толщенной дубинкой в руках, Мариэтта часами сиживала на тумбе в Никольском переулке, недалеко от беловского подъезда.

— Представьте, вчера меня приняли за дворника!

Мне позволялось говорить о Белом, пока Мариэтта не познакомилась с ним. С этого дня оказалось, что между ними какие-то такие необычайные отношения «о последнем», что всякое мое приближение к этой теме — кощунство. И опять — Владя, вы погибаете!

Безгранично было количество писем к Белому. Непроницаема была тайна их разговоров. Я бывал у Белого, он у меня. Но Мариэтта пуще всего на свете боялась, как бы я с ним не встретился у нее. Нас она принимала порознь, — все, что касалось Белого, было окружено мраком и шепотом.

Это был вообще почему-то период тайн. Мариэтта снимала комнату в каком-то огромном, зловещем, полуразрушенном особняке, в глубине церковного двора. К ней надо было проходить какими-то кухнями, залами, закоулками, в которых, вероятно, летали летучие мыши. Крыс, во всяком случае, были целые полчища. Старая, грязная, черная, бородатая женщина, цыганка, армянка или еврейка, вечно пьяная, была квартирной хозяйкой. Однажды я постучал в дверь к Мариэтте. Она высунула голову:

— Это вы? Сейчас нельзя. Подождите. Пойдите по коридору, вторая дверь налево. Это чулан. Там темно. Против двери сундук. Сядьте на него и не шевелитесь, а то что-нибудь опрокинете. Я вас позову.

Ощупью нашел дверь, вошел. На сундуке смутно виден какой-то тюк, вероятно — узел с одеждой. Я взобрался на него и сажу. Темно. Вдруг подо мной зашевелилось, и женский пропитой голос произнес:

— Кто там на минэ сидит?

Рекомендоваться в подобных случаях нет никакого смысла. Но я растерялся, посмотрел на свое студенческое пальто и, не слезая с дамы, ответил обще:

— Студент.

Мариэтта пришла за мной. Я рассказал ей о приключении. Она сделала печальное лицо:

— Все это ничуть не смешно. Вы погибли, Владя: но хуже всего, что Боря (Андрей Белый) тоже погиб. А для вас я устрою елочку.

И устроила. Угощала пряниками, жалела:

— Ничего-то вы, бедняжка, не понимаете.

После Андрея Белого шел Рахманинов. Мариэтта читала мне лекции о музыке, качала головой:

— Бедный Владя, бедный Владя!

За Рахманиновым — Э. К. Метнер. Следовательно, мы говорили о Гете. Мариэтта убивалась:

— Бедняжка, вы погибаете: вы совсем не так понимаете вторую часть Фауста!..

Так дожили мы до 1911 года — и неожиданно почти потеряли друг друга из виду.

В конце 1920 года, уже в Петербурге, однажды мне показали номер тамошней «Правды» с отвратительнейшим доносом на интеллигенцию, которая, чтобы насолить коммунистам, «сама себя саботирует», — припрятывает продукты, мыло, голодает и вымирает назло большевикам, а могла бы жить припеваючи. Подпись: Мариэтта Шагинян.

Через несколько дней встречаю ее. Спрашиваю, — как ей не стыдно. Говорю, что пора бы уж вырасти. Она хватается за голову:

— Донос? Ах, что я наделала! Это ужасно! Я только что из Ростова, я ничего не знаю, как у вас тут. Я хотела образумить интеллигенцию для нее же самой. Все мы в долгу перепт народом, надо служить народу. Массы... Маркс... Иисус Христос... Товарищ Антонов...

Выяснилось: на юге она писала патриотические статьи. Но пришли большевики, и она познакомилась с каким-то добродетельным товарищем Антоновым (кажется, так), эдаким большевистским Робеспьером, неподкупным до последней степени. И конечно — сделалась большевичкой. Исполкомовские мудрости переплетались в ней с христианством, жречеством и прочим, оставшимся еще от былых времен. О своем фельетоне она сокрушалась:

— Значит, это типичная ошибка. Но по существу я права. Ах, бедный Владя, как жаль, что вы еще не сделали коммунистом!

Вскоре она поселилась в «Доме Искусств», где и я жил. Ходила к большевикам проповедовать христианство. Ходила ко мне — восхищаться В. Л. Волинским. Развенчала Волинского. Влюбилась в почтеннейшего Л. Г. Дейча. Глухота ее сильно увеличивалась. Чтобы с ней говорить, надо было садиться рядом, вплотную. В ее огромной холодной комнате часами сживали они с Дейчем. Мариэтта рассказывала:

— Это святой старик! Он учит меня марксизму, а я его — христианству. А вы... бедный Владя, вы погибаете!

В то время я много писал стихов. Иногда, по старой памяти, показывал их Мариэтте. Она прочитывала, качала головой:

— Ваши стихи больше вас. Вы сами не понимаете того, что пишете. Когда-нибудь я вам объясню...

По обыкновению, кидалась она защищать угнетенных, помогать слабым, — всегда невпопад. Возлюбила мерзкую, грязную бабу, одну из горничных. Получая много пайков, делилась с этой же горничной, которая была известна тем, что обкрадывала обитателей «Дома Искусств», голодных писателей. Наконец, дочиста обокрала и Шагинян.

«Писательских» пайков было в Петербурге 25. Когда я туда перебрался, они были разобраны. Было решено дать мне паек Блока или Гумилева, а одного из них перевести на «ученый», так как они читали лекции в разных тогдашних институтах. Остановились на Гумилеве, что для него было даже выгодно, ибо «ученым» выдавалась одежда, которой писатели не получали.

Однажды, дня через два, сидели мы с Шагинян в приемной «Всемирной Литературы» у окна, на плетеном диванчике. Вошел Гумилев, неся какие-то щетки. Я спрашиваю:

— Что это у вас за щетки?

Гумилев улыбается и отвечает:

— В «Доме Ученых» выдали. Ведь писательский паек у меня отняли, вот и приходится пробавляться щетками.

Это было вскоре после появления Мариэтты в Петербурге. Она услышала разговор и, когда Гумилев прошел мимо, спросила взволнованно:

— Владя, кто это?

— Гумилев.

— А почему у него отняли паек?

— Отдали другому.

— Кому?

— Мне.

- Владя, как вам не стыдно? И вы взяли?
- Ничего не поделаешь, Мариэтта: борьба за существование.
- Владя, это бессовестно!

Она готова была куда-то помчаться, протестовать, вступаться за Гумилева. Я с трудом объяснил ей, в чем дело. Успокоившись, она погладила меня по голове и сказала:

- Бедный Владя, вы все такой же заблудший.

А когда Гумилева убили, она не постеснялась административным путем выселить его вдову и занять гумилевские комнаты, вселив туда своих родственников... Тоже --- с размаху и не подумав.

\* \* \*

Все это вспомнилось мне по поводу фразы, которую Шагинян напечатала недавно в каком-то советском журнале: «Многие из нас, не поняв, что потеряли читателя, вообразили, что потеряли свободу».

По поводу этой фразы я слышал немало негодующих слов. Сама по себе опа, конечно, отвратительна. Но я вспоминаю автора -- и мне хочется улыбнуться. Не без горечи, может быть, — но все-таки улыбнуться.

Бедная Мариэтта! Опа, несомненно, думает, будто к этой мысли пришла таким-то и таким-то путем, а высказала ее потому-то и потому-то. А я знаю, что «путей» никаких не было, а была и есть обычная пуганица в ее голове. И фразу эту, конечно, она не «высказала», выпалила, по обыкновению — невпопад, по обыкновению — с чужих слов, которые опа умеет повторять или развивать даже вовсе не без таланта.

Кто знает имя ее сегодняшнего кумира? И что сама она понимает в этом кумире? Под чью диктовку пишет она свои статьи, сама этого не замечая? Под чью диктовку будет писать их завтра?

*Публикация Надежды Рейн*





---

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

---

*Олег Павлов*

### КАК ПРОМЕЖУТОК КРАТКИЙ...

Нынешнее состояние российской словесности таково, что его надобно исследовать. Если не научно, то хотя бы с долей учености. Прежняя же советская критика не изучала, а толковала литературу. Это особый род критической беллетристики, в котором есть и настоящие мастера. Но большинство наших критиков потому и толковало литературу, что не доходило до глубины ее. Литература рассматривалась как некая статическая система, в которой все места поделены, художественные величины раз и навсегда заданы.

А если ее и размежевывали, то непременно по тематическим областям (вот городская проза, вот деревенская). Или по половым признакам, или же по возрасту.

Официальное литературное движение происходило без сколько-нибудь значимых художественных конфликтов. Критика задыхалась от бестемья, вырождалась как жанр, но все-таки обзавелась кое-какими убеждениями. Многие их сохранили. Многим не удалось.

Теперь, с наступлением свободы критические вклады в советскую литературу, сделанные с особой безоглядностью, прогорели. Надо обзаводиться новыми. Одни, оставив литературу, переходят на положение партийных деятелей демократического либо консервативного толка. Другие же честно подвергают переоценке былые воззрения. Засучив рукава, берутся со всегдашним ремесленным старанием за новое дело, за поиски новой литературы. Именно новой, а не какой-нибудь другой, она и представляется среднему критику эдакой невостребованной золотиносной жилой.

Но решение вопроса о новой литературе невозможно без уяснения художественного опыта потаенного литературного движения. А он многолик и конфликтен. Едва ли не все его начинания за время безвестия достаточно развились и если не исчерпались совсем, то продолжают и сегодня. Не уяснив сути этого опыта, не скажешь внятно, что же происходит в литературе. А потому и не выделишь новое звучание в многоголосье современного литературного процесса.

Но хотя и обзавелась разочарованная критика новой целью, средства, как и были, — негодящие: снова литературу толкуют.

Переоценка же собственных прогоревших убеждений вылилась в произвольную переоценку и давно бывших, и только что возвращенных в литературу художественных явлений с приписыванием их к отжившим или новейшим. В новейших оказывается... Евгений Попов. А Распутин попадает в разряд отживших. Первач и ветошь!

И вот еще что: нынешняя критика реализма чурается. Обмалчивает его, будто какой-то страшный грех, срывает спешно гору, которую сама же и воздвигла, на которой сама же и громоздилась...

Больше того, реалистическую литературу, для которой, по самой ее природе, одним из главных было требование правды, она уличает во лжи, угодливо-

сти, приспособленчестве, художественной немощи. И как кость в горле — традиционализм. Но какие это традиции? Не те ли, что нажиты русской литературой и стали ее хребтом? Одно то чудо, что традиции эти удалось от полного разорения сохранить, а потом и продолжить...

Между тем критика перво-наперво должна была бы восстановить подлинный облик реалистической литературы, который в советское время и на советский лад советской же критикой и был искажен. Ан нет! Свой напрасный труд критика и не порушила. Одевши могучее литературное движение в убогие и кучье для него одежки, она же его теперь выставляет на позор и побивает, будто чучело.

Зато вдосталь и с каким-то почтением пишет о литературе, близкой к авангарду. И не тратя времени на препирания с заедающим замком, начинает быстрехонько и наспех эту территорию на новый лад обустраивать и присваивать — хотя и на это частенько воображения не хватает, — чтобы в обустроенном наспех пространстве поскорее усесться или же улечься.

А откуда явилась эта «новая волна» и какова ее художественная природа — так и не узнаем... И выходит, что это вроде как не только настоящее, но и будущее нашей словесности. Между тем убежден, что андерграунд — прошлое литературы, прививка против ложного советского пафоса, один яд против другого яда. Им надо было однажды переболеть, чтобы никогда больше зараза не приставала. Но и только. Потому-то и не расцвел, как хочется многим...

Не спорю: эта литература усилиями кое-каких писателей и ныне продолжается. Но о новом рождении стоит ли разговор вести? Одно семя дважды не прорастет. Потому и не было победного шествия, что, шатко ли валко, а под сумраком семидесятых и восьмидесятых годов это мы уже прошагали.

Вообще-то о необходимости модернистской прививки, дабы осовременить «русский дичок», говорить начали еще в шестидесятых, вот тогда, действительно, складывалась новая литература и новое литературное движение, особенность которого — в сосуществовании двух художественных мировоззрений. Тогда-то впервые сошлись писательские судьбы, обладавшие различным историческим и духовным опытом: судьбы лагерные, военные, крестьянские сошлись с молодыми, с теми, кого лично миновали лагерь, война, отрыв от земли и почвы.

Общим же было время. И необходимость восстановления достоинства литературы.

Новая литература утверждалась на реализме. Одним из главных требований ее стало требование в ней правды. Солженицын, Шаламов, Домбровский, Некрасов и молодые Айтматов, Астафьев, Быков, Белов, Адамович, Бакланов, Распутин соотносили свое представление о предназначении Слова с теми нравственными, смысловыми сдвигами, которые произошли в действительности.

Эту правду старшие пострадали в лагерных, военных, крестьянских мучениях. Она обладала огромной духовной силой. Она сделалась достоянием литературы, но не столько как исторический документ, сколько как новая образующая художественного строя.

Но рядом с прямым реализмом развивалась и его сатирико-фантастическая разновидность.

Писатели, не схваченные плотью и судьбой с ужасным прошлым, даже присутствие этого прошлого в настоящем изображали литературно смешным.

В смехе есть доля кощунства, для пострадавших свою литературу смех и насмешка — исключались. Недопустимо было хоть сколько-нибудь изменить правдоподобию, ведь каждое литературное мгновение было оплачено настоящей мукой жизни.

Но если личной невыносимой боли за правдой нет, правдоподобие и впрямь становится тягостным, превращается в бытописание.

Сатирическое осмеяние жизни способствовало ее фантастическому изображению. Однако полным отход от реализма в ту пору не был. Через сатиру, искусство злободневное и жизненное, его и невозможно было совершить. Для Можая, Искандера, Войновича, Даниэля, Синявского значимой осталась правда, ее социальная и бытийная острота. И каким бы нещадным ни было ос-

меяние жизни, в нем всегда присутствовало сильное лирическое начало, которое, очеловечивая и сам текст, и литературных героев, придавало *фантастическому* гуманистическое звучание, родственное звучанию и тогдашней реалистической литературы.

Изыскивая новые изобразительные средства, но имея общие со всей реалистической литературой цели, авангардисты шестидесятых годов раздвигали вширь, по мере своих творческих сил, возможности искусства.

Их новаторство не было умозрительным, оно, если и не питалось, то подпитывалось из чистого народного источника (смеховой фольклор). Сатира всегда национальна.

Правда новой реалистической литературы была бунтом.

Но от несогласия с жизнью уходят не только в бунт — уходят и в мечту. Собственно в том и состояло краткое послабление после разоблачения Сталина, что о свободе стало возможным мечтать. Из этих мечтаний и создалось в пору оттепели целое литнаправление — прозападное. Русское западничество всегда было мечтательным. Но если дореволюционные «грезеры» мечтали о царстве равенства, то западничество шестидесятых грезило неравенством и свободой от каких бы то ни было идеологий.

Новые западники тяготели к западной культуре, к западному художественному процессу, но не на том основании, что были близки с ним творчески. Поэтому в этой новой молодой литературе не было глубины. Недостаточность жизненных мыслей и чувств маскировалась фантазией, словесным празднеством. Беспочвенность поглотила редкий дар Гладилина. Поглотила и половину одного из лучших романов Аксенова — «Ожог». И это те, на кого в шестидесятых годах возлагались особые надежды, кого считали зачинателями новой литературной эпохи!

Из сегодня трудно даже понять, почему Аксенова когда-то наравне с Солженицыным и Шаламовым запрещали! Ведь в силу своего легковесия его проза не могла принести власти никакого вреда и урона!

Утверждать, что «звездные мальчики» всерьез противодействовали власти, — значит не понимать самого существа нашего прозападного искусства, которое держалось несколько в стороне от жизни, легко обходилось без последней правды, отдавая своим ощущениям, полуабстрактным, полуреальным, или интеллектуальным прихотям. Если и искать объяснение тому, почему власть обрушилась на безобидное и безвредное искусство как на великую ересь, то только одно находишь объяснение — невежество этой самой власти.

Власть не понимала эстетских вывертов. И оскорблялась. И со всей силой своего дремучего невежества давила дубьем — за то, что умничают. И зря Бродский писал, что одним стилем своим поэт против власти восстает. Это уж власть такого достигла невежества, что обиделась, иначе и внимания на восставшего поэта не обратил бы никто. Чем, к слову сказать, угрожала ей кибернетика или генетика? Хромосомами, что ли?! Так ведь и безобидную науку причислили властительные невежды к буржуазным проискам, к космополитизму — и выжигали каленым железом. А что власти и было понятным, так это реализм, поэтому наводил он на нее настоящий страх...

В семидесятые годы произошло крушение прозападного мироощущения. Одни просто сдались. Другие наконец взбунтовались. А мечта без бунта привела третьих в подполье. В подполье оказалось целое литературное поколение.

Да, подпольщики не приспособивались, но не потому, что имели свою веру, а потому, что не имели никакой. Плодом этого безверия, этого нового нигилизма и стала ироническая литература, которую трудно причислить к какому-либо особому эстетическому направлению, да и сама она в эстетическом отношении не была явлением цельным, тут же распалась на ряд промежуточных форм, которые по своим эстетическим и мировоззренческим положениям могут выглядеть взаимоисключающими. Андерграунд. Новая волна. Нонконформизм. Вторая литературная действительность. Другая проза. А то и просто — новая литература. Этими терминами лихо пользуется нынешняя критика, чтобы обозначить это якобы новое для литературы явление. Но попадает ли хоть одно

из этих определений в цель? Кажется, что и выпущены они из самопала для того только, чтобы напустить побольше дыма...

Между тем общее у этой волны есть, общее это — и р о н и я. Ирония, которая все, что есть высокого в человеке и в искусстве, разрушает, потому что иначе ей не на чем и нечем существовать. Разрушение — вот ее единственное топливо. Сжигается же то, что уже создано чьей-то творческой волей. В итоге не создается ничего собственно нового. Само горение и продукты горения имеют необычайный художественный вид, о котором можно сказать: это все, что о с т а л о с ь от того или того-то.

Но продукт сгорания не сделаешь топливом! Назначение иронии хищническое — пожрать все сколько-нибудь съедобное, захватить все худо лежащее. Все, что годится на растопку! Потому и существует ироническая литература под разными видами на жительство.

Под видом якобы реалистической: Михаил Попов, Н. Шипилов, А. Сегень. Под вывеской постмодернистской: Т. Толстая, В. Пьецух, Вик. Ерофеев. Однако художественный строй и в том, и в другом случае формирует п а р о д и я — пародия, как принцип, прием, идея и т. д. и т. п. Ей — все подвластно, ей все годится. Но есть и излюбленные предметы, например, трагико-романтический пафос, штампы соцреалистической литературы, лирика, мелодрама. В процессе пожирания все эти предметы превращаются в анекдот — исторический, бытовой, а то и философский, отцом которого в новейшей русской словесности вот-вот станет В. Пьецух, если обзаведется приличной случаю бородой.

Основа классического анекдота — небывальщина, фантазмагорическое превращение — из серьезного в смешное. Анекдоты же иронической литературы содержат еще и новый элемент — оглушение жизни (следствие внутреннего личного бессилия перед ней). Поэтому ложь или зло, сделавшись смешными, не перестают быть. Фантазмагории андерграундного толка — это не только метаморфозы смешного. Это еще и поэтизация произвола, которым живет заточенная в подполье мечта. Плен — в действительной жизни и иллюзия свободы — в той, которую воображаешь. Разумеется, герой подполья с существующим жизненным порядком не согласен, по идти против него из-за бессилия не может. Это-то бессилие и становится его развлечением, развращающим душу и ум. Да, он страдает. И этим как бы разоблачает приносящий страдание мир, но нравственное безразличие лишает его страдание святости мученичества: разоблачение мира оказывается разоблачением самого себя.

Есть и еще одно — общее — свойство у иронической литературы. Она не знает юмора. А ирония без юмора — это «кукиш» вместо фантазмагии, а вместо потехи (утехи) — страшное, извращенное до патологии нутро мира.

Апологеты иронистов приписывают и В. Нарбиковой, и Вик. Ерофееву, и Э. Лимонову некую особую духовную свободу. Эту странную свободу и ставят превыше всего. Даже превыше всечеловеческих ценностей. Однако иных мы не нажили. Неужели же и это последнее достояние пустить по ветру? Уничтожить именем искусства?

Мы часто говорим, что искусство одухотворяет человека. Но разве же и мы не одухотворяем его? Требовать для искусства с в о б о д ы от человека — значит мыслить его всего лишь ремеслом...

Разрушив последние устои разума, абсурд и ирония сделались суверенными, самодостаточными художественными «концептами». Разрушить — разрушили и внутри заглянули, а собрать заново — не могут. Вот и играют рухлядью. К примеру — выстроют из разных кусочков-частей-фрагментов что-нибудь этакое и поиграют в концептуализм. Или еще что из осколков состряпают... Пилишумели за свободу искусства, а вышло — за анархию. Как долго будут играть? Видимо, пока хватит изобретательности... Другая проза станет «совсем другой», а потом «совсем-совсем другой», а еще потом — «совсем-совсем-совсем другой»...

Самодвижение иронической литературы продолжается. Продолжается и движение соцреалистической литературы. Ну что вы поделаете, если Анатолий Иванов напишет новый роман? Да и можно ли вообще сбрасывать с «парохода

современности» кого-либо из ныне здравствующих писателей?! Ни один социально-исторический переворот не может произвести на литературу такого воздействия, чтобы все бывшие до того художественные устремления враз иссякли. Они продолжают, каковы бы ни были. И остаются верными своим началам и расписанию...

Критика, однако, расписание пересматривает. Одним самовластно отказывает в движении. Других милует. Одно время даже роман Рыбакова «Дети Арбата» называли не иначе, как н о в ы й роман!

Все это крайне способствует неврозам... На нервной почве начали ссориться даже традиционалисты. Могучая литература накладывает на себя то одну, то другую руку — в зависимости от убеждений, за которые подначивают бороться те, кто не обладает талантом и только борьбой за власть завоевывает себе место в литературе. Литературные ссоры умножают распри между самими критиками, не имеющими даже ремесленного уважения к литературе. Они-то и превращают ее из святилища в присутственное место, а литературную жизнь — в зрелище.

Хорошо, согласятся со мной адепты иронистов, андерграунд имеет славное прошлое, мнимое настоящее и не имеет будущего. Как в таком случае быть с Венедиктом Ерофеевым?

Прежде всего, Вен. Ерофеев пронзительно народен. Народен его язык, образ его суеверий, из которых проистекают его страстномистические прозрения и видения, сближающие «Петушки» с «Мертвыми душами» и действительно преобразующие прозаическое произведение в поэму.

Суеверия, чувственная архаика, бранное просторечие — все это вкупе рождает фольклорную интонацию и как бы заново открывает (возвращает — нам) народный лиризм. Он-то и звучит в «Петушках» — орет во всю свою природную силу, словно младенческий плач в сумерках человеческого существования...

Сам строй «Петушков», равно как и «Василия Розанова», бесконечно далек от художественных представлений авангардного толка. Такие произведения пишутся кровью, а не чернилами и воплощают не умозрительные литературные теории, а саму жизнь.

У нынешней критики сделалось чуть ли не правилом хорошего тона утверждать, что главная беда нашей литературы в том, что она замкнута, зациклена на своем, российском, оторвана от западной культуры. В последнее время стали поговаривать и о том, что у русского национального движения нет перспектив, что русская идея — фикция, что у русского национального самосознания нет фундамента, основания... (см. «НГ» от 16 января сего года, статью Дм. Ольшанского с многозначительным заголовком «Печально, но факт: русские уже почти не существуют»).

Но разве не достаточно революции, сталинского геноцида, войн, разве мало было у нас общих всем мучений, чтобы почувствовать себя русскими людьми? И где бы еще на человека могло обрушиться столько горя? Где, в каком царстве-государстве могло случиться так, чтобы на протяжении едва ли не целого века человеческая жизнь не стоила и гроша?

Шовинизм предполагает гордость. А чем нам гордиться? Нет, не гордость, а горе — вот что фундаментирует и питает наши национальные чувства. Мы обособились от мира, загородились от него своим страдальческим опытом? Да, страдание, если оно одно на всех, обостряет национальное самосознание, выявляет общие национальные черты. Благосостояние же и довольствие, как правило, стирают их. Но какой народ будет терпеть горе заради национальной самобытности? Народ хочет благоденствия. И чем больше этого хочет, тем меньше имеет. И это усугубляет страдание... И литература не может не разделять это страдание, не может не замечать обостренные им национальные черты — как бы они ни были искажены и воспалены.

Состояние западной культуры таково, что она служит обществу как одно из удобств жизни. И потому все в ней должно быть приятно на вкус или же слух. Но когда в стране социальное, экономическое, общественное положение человека настолько не обеспечено, то культуре надобно утверждать смысл самой человеческой жизни. К тому же, социальные общественные неурядица — лишь

поверхность неустроенности духовной. Она-то и есть настоящая **национальная** болезнь, рассудить которую возможно, лишь проникнув в глубину народного организма.

У нас действительно случилась революция. Меняются до основания общественный строй, бытование людей. Меняется существо времени. Пережившие эту перемену люди могут и не поменять своих обыкновенных привычек или же коренных психологических и умственных черт, но они **п о - и н о м у** начинают и чувствовать, и мыслить.

И когда они придут в литературу, то и она не изменит до неузнаваемости свои коренные художественные свойства, но будет искать этим свойствам и на-выкам новое, совершенно новое применение.

Вот говорим: **т р а г е д и я** времени, но всегда ли понимаем, какой беспощадный смысл стоит за этим словом? Надеемся на возрождение России былой. Но то, что **п о г и б л о**, уже не возродить! Гибель России и была затянувшейся на столетие трагедией. Мы осознаем это тогда, когда поймем: бывшее возродить невозможно. Многое **п о г и б л о** безвозвратно. Но взамен нам оставлены: великий исторический и духовный опыт, пережившийся народ и открытое настоящее будущее, в котором теперь мы все вольны строить и выбирать судьбу.

Наш национальный опыт, то, что пережил каждый, для кого судьба Отечества была и его личной судьбой, — вот то единственное, что объединяет. И объединит.

И последнее. Сказать, что современный человеческий опыт страшен, — значит ничего не сказать. Он безнадежно страшен. Таковыми стали и произведения, которые за свою безысходность именуются **ч е р н ы м и**. Безысходны же они потому, что человек в них как бы всецело ангажирован злом. Но не таково ли его подлинное существование? **М ы д а в н о и н е з а м е т н о** **п е р е ш л и г р а н и ц у з л а**, за которой — начало новой муки — адской: за все зло, содеянное на этой земле, отвечать нам. Мы видели. Мы знали. Мы молчали. Одной переменной общества к добросердечности тех жизней, которые этим же обществом погублены, не искупишь. И не переложить нам эту вину ни на власть, ни на правителей. Кто бы они были, если бы не наш страх? И чьи бы руки делали, если бы не наши?

Но как цинизм совсем обезчеловечил ироническую литературу, так жестокость обезобразила современную реалистическую литературу. И она тоже стала бесчеловечной. Иронисты презрительно отказались от бытописания — и пишут бесчеловечно, потому-де, что свободному искусству **н е с о в е с т ь с у д ь я**, а художественность. Реалисты с не меньшим презрением отвернулись от художественных красот, но пишут также бесчеловечно, потому что у правдописания судья — правда жизни, а она — жестокая.

Как быть и куда податься? Может, и впрямь человек для литературы ничто? Нет! Неправда!

Русская литература всегда жила тем, что писательство понимала как долг нравственный — от Толстого и Достоевского до Варлама Шаламова.

И нынче это есть. Но началось робко, как бывает, когда восстанавливается навык. Словно глядишь в небо и кажется: вот-вот достанешь его, если потянуть-ся рукой. Но тянешься — и не достанешь. Это земле не хватает роста. И потому надобно расти самому.

Усталость проходит. Безмыслие и сосредоточенность литературы на самой себе возможны лишь как недолгая передышка... Как «промежуток краткий»...

*Прочтя в первом за 1992-й номере «Знамени» «Крик души молодого литератора», совсем было решила, что отвечу на этот вопль сама: уж очень задела исповедь «подающей надежды» (так, кажется, говорили в недавнем прошлом) поэтессы, не побоявшейся на страницах флага перестройки признаться, что и для нее, и для литераторов ее круга год 1985-й — «обрыв ленты», «конец радости, естественной, как погода».*

*Господи, ошарашенно размышляла я, да неужто то пленное существова-*

ние, какое мы, старшие («отцы»), вынужденно влачили, могло представляться младшим («детям») приличным и приемлемым образом жизни? И даже — уютом? Однако, как выясняется, — представлялось! «Разбалованные размерной, почти сытой и несложной жизнью родителей (цитирую из того же «Крика...» — А. М.), мы и не могли услышать предупреждение, зато нам привиделось, что нам удастся, воспользовавшись плодами их трудов, прожить по крайней мере не хуже. Мы были готовы не к рытью котлована, «нулевому циклу», но к украшению уже готового здания. ...И тем страшнее, что вместо дизайнера придется действовать лопатой».

Ну, ладно, продолжала я внутренний монолог, — рухнуло, так ведь здание-то было общим! Отчего же тогда «отцам» лопата вместо дизайнера не страшна, а некоторым и желанна, хотя уже ясно: до того момента, когда строительство нового русского дома будет окончено, увы, не дотянут. А вот им, кому в доме жить, крах не жизни — не до жизни — кажется крахом жизни вообще! «Жизнь не то чтобы кончилась — просто ее уже никогда не будет... живи как хочешь...»?

И добро бы кричал некто другой! Скажем, средних возможностей бывший молодой человек, уже почти принятый в СП СССР? Словом, тот, у кого перестройка в литературе отняла почти сбывшуюся надежду пристроиться к гарантированному минимуму литфондовых и издательских благ. Но причитает-то литератор отнюдь не средних творческих способностей! Крик исполнен Марией Руденко, только-только опубликовавшей в «Знамени» же большую поэтическую подборку. Той самой Руденко Марией, стихи которой С. И. Чупринин (в интервью для «Гласа») (вестник новейшей русской литературы на английском языке) назвал, наравне с повестью А. Терехова «Зимний день начала новой жизни», лучшей из публикаций последнего времени. Допускаю, что С. Чупринин пристрастен и оценка завышена (отдел поэзии в «Знамени» — предмет нашей, в «Согласии», профессиональной зависти, и выделиться там ох как трудно).

Однако это уже оттенки, а суть в том, что такой подборки «до обрыва лент» и «конца радости» Марии Руденко не видать бы как своих ушей ни в «Знамени», ни в любом другом издании!

Живи как хочешь? Да если бы нам, «шестидесятникам», в наши двадцать с коротеньким хвостиком, преподнесли такой дорогой подарок? Да мы бы... Но вот тут-то я и сказала себе: «СТОП». Все, что ты (и люди одного с тобой житейского и социального опыта) можешь сказать инфантильной, отчаявшейся, запаниковавшей, забившейся в истерике слабой душе, — не будет услышано. Чтобы пробиться сквозь крик и зажатые ладонями уши — говорить должен сверстник.

Мысленно перебрав потенциалы молодых литераторов, кучкующихся вокруг «Согласия», мы вспомнили о статье Олега Павлова, прозаика, автора «Записок из-под сапога» (напечатанных в № 6 нашего журнала за 1991 г.). Нет, нет, его статья, точнее не статья, а тоже своего рода исповедь, и если еще точнее — Слово, написана не по спецзаказу редакции, а по собственному хотению. И раньше, чем появилась первая книжка «Знамени» с «Криком...» Марии Руденко. Однако на ее вопрос — как жить и что делать в ситуации «социального землетрясения», Павлов, как нам кажется, отвечает. Не знаю, придется по душе ли твердый этот мужской ответ — надо самому расти, чтобы дотянуться до неба в алмазах, — тем, кто принял обвал в котлован как рекомендацию к бездействию. Вирус паники — заразен, как грипп. Да и что может Слово, когда сами же поставили ему «пределом скудные пределы естества»?

Думаю все же, кое-что может, ежели каждый в отдельности пределы, сделав усилие, — хоть чуть-чуть раздвинет.

А. М.

---

## ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ

---

*Хью Лофтинг*

### ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДУЛИТЛА

Глава 16

#### ТУ-ТУ ПРИСЛУШИВАЕТСЯ

Еще раз поблагодарив акул за их доброту, Доктор со своими друзьями продолжил путешествие на быстроходном корабле под тремя красными парусами. Когда они вышли в открытое море, звери спустились вниз — изучать судно изнутри. Доктор остался на палубе: прислонившись к кормовым поручням, он попыхивал трубкой и смотрел на Канарские острова, исчезающие в синих вечерних сумерках. Он пытался представить, что подельвают африканские обезьяны и как встретит его милый сад в Падлби, если, конечно, им суждено свидеться.

Неожиданно из люка пробкой выскочила сияющая Даб-Даб. Ее прямо-таки распирали новости.

— Доктор! — завопила она. — Пиратский корабль совершенно потрясающий! Там внизу кровати застелены таким желтым, бледно-желтым шелком, и сотни разных подушек и подушечек, на полу толстые, мохнатые ковры, тарелки серебряные, а еда просто невероятная, питье тоже. Я заглянула в кладовую — знаешь, это настоящий магазин, вот и все! Ты в жизни такого не пробовал. Представляешь, у них пять сортов сардин — что за люди? Пойдем поглядим. А еще мы нашли комнатку, запертую, и нам зверски хочется туда проникнуть. Джип говорит, там пираты прячут свои сокровища. Но мы никак не можем ее отпереть. Пойдем скорее, может, у тебя получится!

Доктор последовал за ней. Корабль был, действительно, замечательный. А все звери, нетерпеливо и возбужденно галдя, сгрудились возле маленькой дверцы. Доктор покрутил ручку, но дверь не открылась. Принялись искать ключ. Посмотрели под половичком, потом перевернули все ковры, заглянули в буфеты, проверили ящики, полки и большие сундуки в корабельной столовой, обнюхали каждый уголок. И обнаружили еще целую кучу новых чудесных предметов, наверняка украденных пиратами с чужих судов. Кашмирские шали, расшитые золотыми цветами, прозрачные, как паучьи сети, коробки дивного ямайского табака; резные шкатулочки из слоновой кости, наполненные русским чаем; старинная скрипка с порванной струной и картинкой на тыльной стороне; огромные, выточенные из кораллов и янтаря шахматные фигуры; трость, в которой хитро прятался кинжал и выскакивал, стоило лишь потянуть за ручку; шесть винных бокалов с серебряным ободком по краям и прелестная большая перламутровая сахарница. Обыскали весь корабль, но подходящего ключа так и не нашли.

Они вернулись к дверце, и Джип заглянул в замочную скважину. Ее что-то загораживало с той стороны, и он ничего не разглядел. Беспомощно столпившись у порога, они соображали, что делать дальше, и вдруг сова Ту-Ту прижала палец к губам:



- Т-с-с! Ну-ка, помолчите. У меня такое чувство, что внутри кто-то есть. Все на мгновение притихли. Потом Доктор сказал:
- Ты, наверное, ошибаешься, Ту-Ту. Я ничего не слышу.
- Да я абсолютно уверена! — возмутилась сова. — Тихо! Вот опять. Неужели ты не слышишь?
- Нет, — растерялся Доктор. — А что это за звук?
- Там кто-то засунул руку в карман, — объяснила Ту-Ту.
- Ну, это вряд ли можно назвать звуком, — пожал плечами Доктор. — Во всяком случае, отсюда услышать его невозможно.
- Давай не будем спорить, — попросила сова. — За свои уши я ручаюсь. И повторяю еще раз: с той стороны кто-то что-то засунул в карман. Видишь ли, шум бывает практически от всего — если, конечно, у тебя слух достаточно острый. Летучие мыши распознают крота, шагающего по подземному туннелю, и считают, что они хорошие слушачи. Нам, совам, достаточно послушать, как котенок моргает в темноте, чтобы определить его цвет. При этом второе ухо можно даже заткнуть.
- С ума сойти, — смущенно пробормотал Доктор, — извини, что не поверил сразу. Пожалуйста, послушай еще. Что он делает теперь?
- А я вовсе не уверена, что это мужчина! — сообщила Ту-Ту. — Может, это и женщина. Подними-ка меня к замочной скважине, тогда я буду знать точно.
- Доктор поднес сову к самому замку и держал там, пока она не прошептала:
- Вот он потер лицо левой рукой. Маленькая рука и маленькое лицо. Возможно, это женщина. Нет! Отбросил со лба волосы. Никаких сомнений, там какой-то мужчина!
- Но женщины тоже так делают, — заметил Доктор.
- Правда, — согласилась Ту-Ту, — но не забудь, у них длинные волосы — и звук другой. Тише! Да уговорите как-нибудь этого поросенка! И на минутку задержите дыхание. Я буду слушать изо всех сил. Идиотская дверь страшно толстая, по я попробую. Т-с-с... Замрите, закройте глаза и не дышите.
- Ту-Ту прижала ухо к скважине и оцепенела. Наконец она посмотрела прямо в глаза Джону Дулитлу и спокойно сказала:
- Человек за дверью очень несчастен. Он плачет. Старается не всхлипывать, не шмыгать носом — потому вам и невдомек. Но я совершенно отчетливо слышу слезу, упавшую на его рукав.
- А откуда ты знаешь, что это именно слеза? Может, просто с потолка капает, — предположил Габ-Габ.
- Какое невежество! — фыркнула сова. — Капля воды, шлепнувшись с потолка, произвела бы раз в десять больше шума.
- Ну что ж, — развел руками Джон Дулитл, — если человек несчастен, надо поскорее попасть внутрь и выяснить, что же с ним стряслось. Поищите-ка топор, придется рубить эту дверь.

## Глава 17

### ОКЕАНСКИЕ СПЛЕТНИКИ

- Топор нашелся незамедлительно.
- И скоро Доктору удалось прорубить в двери дыру, достаточно большую, чтобы протиснуться внутрь.
- Оказалось, что там очень темно и совсем ничего не видно. Доктор зажег спичку. Комната была крошечная, с низким потолком, без единого окошка. Из мебели стояла одна табуретка, да вдоль стен громоздились здоровые бочки, крепко приделанные к полу, чтоб их не расшвыривало во время шторма. На деревянных крючках покачивались кружки всевозможных размеров. Комнату наполнял густой винный дух. А в середине, на полу, сидел мальчик лет восьми и горько плакал.
- Бьюсь об заклад, это пиратский склад спиртного! — восхитился Джип.

— Да-а, спиртнее некуда, — пожаловался Габ-Габ. — У меня уже голова кружится.

Обнаружив прямо перед собой незнакомого человека и целую кучу животных, с любопытством изучающих его сквозь дверной пролом, мальчик поначалу испугался. Но стоило ему только рассмотреть повнимательнее освещенное спичкой лицо Джона Дулитла, как он перестал рыдать и вскопчил на ноги.

— Ты не пират, правда? — робко спросил он.

Доктор запрокинул голову и громко, звонко расхохотался. Мальчик тоже улыбнулся и, подойдя, дотронулся до его рукава.

— Ты смеешься как друг, — решил он. — Совсем непохоже на пирата. Не знаешь случайно, где мой дядя?

— Боюсь, что нет, — огорчился Дулитл. — А когда вы виделись в последний раз?

— Позавчера, — вздохнул мальчик. — Мы рыбачили с лодки, и тут появились пираты и схватили нас.

Они потопили нашу лодчонку, а нас с дядей притащили сюда, хотели, чтоб он тоже стал пиратом — еще бы! Ведь никто не умел управляться с кораблями ловчее моего дяди — в любую погоду, при любом ветре! Он отказался наотрез, сказал, что убивать да грабить не годится честному рыбаку. Тогда их начальник, его зовут Бен Али, прямо взбеленился, зубами скрипел от злости и грозился утопить дядю в море, если он не пойдет в пираты. Меня отвели вниз, и я слышал только, что на палубе шумели и дрались. А на следующий день мне разрешили подняться и выйти на воздух, я искал дядю повсюду, но его не было. Пиратов я тоже спрашивал, но они вообще ничего не ответили. Боюсь, они утопили его!

И мальчик снова заплакал.

— Ну-ну-ну, подожди-ка реветь! — замахал руками Доктор. — Пойдем лучше в столовую, попьем чайку, да все и обговорим. Может быть, твой дядя цел и невредим, ты ведь не знаешь н а в е р н я к а, что он утонул, правда? А это уже кое-что. Мы постараемся найти его, мы поможем тебе, честное слово. Сейчас главное — чай с клубничным джемом. А вот потом будем решать, что делать.

Звери толпились вокруг и с интересом прислушивались.

Когда все расселись в корабельной столовой и налили себе по чашечке чая, Даб-Даб незаметно подкралась к Доктору сзади и шепнула ему на ухо:

— Спроси у дельфинов насчет этого дяди. Они обычно знают такие вещи.

— Неплохая мысль, — отозвался Доктор и намазал джемом второй ломтик хлеба.

— Послушай, а зачем ты щелкаешь? — изумился мальчик. — Ужас до чего забавные звуки.

— Просто я произнес пару слов на утином языке, — объяснил Дулитл. — Кстати, познакомься — это Даб-Даб, моя любимица.

— А я и не подозревал, что у уток есть свой язык! — восхищенно воскликнул мальчик. — А все остальные зверюшки — они тоже твои любимицы, да? А это кто такой смешнучий, с двумя головами?

— Т-с-с! — предостерегающе зашипел Доктор. — Это Тяни-Толкай. Не смотри, а то он почувствует, что мы его обсуждаем, и засмущается: чрезвычайно стеснительный. Расскажи лучше, как ты попал в ту комнатку.

— Да пираты меня заперли, — ответил мальчик, — а сами ушли грабить другой корабль. Знаешь, когда стали рубить дверь, я понятия не имел, кто ко мне ломится. Вот здорово, что это оказался ты! Как думаешь, моего дядю можно найти?

— Ну, во всяком случае, мы очень постараемся, — пообещал Доктор. — А как он выглядел, твой дядя?

— У него были рыжие волосы. Ужасно рыжие. И на руке татуировка, такая картинка якоря. Он был очень сильный и добрый, и самый лучший моряк во всей Южной Атлантике. Его лодка называлась «Веселая Салли». Шлюп с оснасткой катера.

— Что такое любосладкатера? — обернувшись к Джипу, вполголоса спросил Габ-Габ.

— Тихо ты! — рявкнул Джип. — Это просто корабль. Да не дергайся ты, посиди спокойно!

— О-о, всего-навсего... — разочарованно пробормотал поросенок. — А мне показалось, он имеет в виду какой-то напиток.

Доктор оставил мальчика в столовой играть со зверями, а сам поднялся на палубу и принялся высматривать дельфинов. Вскоре появилась целая стайка; приплясывая и кувыркаясь, они держали курс на Бразилию. Заметив перегнувшегося через поручни Доктора, дельфины немедленно подплыли поближе — узнать, как он поживает. И Доктор, как мог, описал рыжеволосого человека с татуировкой на руке.

— Ага! — закивали головами дельфины. — Ты говоришь о хозяине «Веселой Салли».

— Именно! Этот самый человек! — Доктор занервничал. — Что, он утонул?

— Его рыболовная лодка утонула, — уточнили дельфины. — Мы видели ее лежащей на морском дне. А внутри было пусто — мы специально проверяли.

— Понимаете, какое дело, — продолжал Дулитл, — его маленький племянник сейчас со мной на корабле. И страшно боится, что пираты бросили дядю в море. Пожалуйста, выручите нас, разузнайте, утонул он или нет — чтоб уж не сомневаться.

— Тут и искать нечего! — уверенно замотали носами дельфины. — Если бы он и вправду утонул, нам давно бы дали знать глубоководные десятиногие раки. Мы всегда в курсе самых последних новостей, если, конечно, не брать в расчет пресные воды. Моллюски даже прозвали нас Океанскими Сплетниками. Значит — передай малышу наши извинения, что не видели его дядю. По крайней мере, мы можем поручиться: в море он не утонул. Так что не переживайте там очень! Все обойдется.

Доктор побежал вниз и пересказал мальчику слова дельфинов. От радости тот захопал в ладоши, а Тяни-Толкай усадил его к себе на спину и повез вокруг обеденного стола. Все остальные торжественно вышагивали следом и изо всех сил колотили ложками о крышки, изображая парад.

## Глава 18

### ЗАПАХИ

— А вот теперь, когда мы знаем, что твоего дядю не бросили в море, — сказал Джон Дулитл, — его надо найти. Вот, собственно, в чем штука.

И опять Даб-Даб шепнула ему в самое ухо:

— Обратись к орлам, пусть они поищут этого человека. Ни у кого в мире нет таких зорких глаз. С высоты в несколько миль они спокойно могут сосчитать муравьев, копошащихся в песке. Я считаю, к ним имеет смысл обратиться.

И Доктор послал за орлами одну из ласточек. Примерно через час птичка вернулась. А вместе с ней прилетели шесть разных орлов: Черный Орел, Лысый Орел, Орел-Рыбод, Золотой Орел, Гриф и Морской Орлан-Белохвост. И каждый из них был в два раза выше мальчика.

Они сидели в ряд на поручнях корабля, похожие на сутулых солдат, суровые, тихие, неподвижные, и только огромные мерцающие черные глаза метались на застывших лицах, изучая пространство.

Габ-Габ, испугавшись, спрятался за бочку. Ему почудилось, что страшные глаза заглянули к нему прямо в живот, туда, где лежал украденный полдник.

А Доктор так обратился к орлам:

— Потерялся человек, рыбак с рыжими волосами и якорем, татуированным на руке. Может быть, вы согласились бы помочь нам? Поверьте, это чрезвычайно важно — вот мальчик, он племянник рыжеволосого рыбака.

Орлы не любят много говорить.

— Ради Джона Дулитла мы готовы на все, — хрипло произнесли они и улетели.

Габ-Габ вылез из-за своей бочки и долго смотрел им вслед. Вверх, вверх, вверх поднимались они, выше, выше и еще выше, и, когда Доктор с трудом различал их, — разделились, и в разные стороны — на север, на восток, на юг и на запад — рассыпались по бескрайнему синему небу крохотные черные песчинки.

— Господи Боже мой! — приглушенно ахнул Габ-Габ. — Ну и высота... Этак можно и перышки опалить — вон, солнце-то совсем рядом!

Орлы исчезли надолго. Возвратились они только поздно вечером и доложили Доктору:

— Мы обследовали все моря, все страны, все острова, города и деревни данной половины мира. И потерпели неудачу. На главной улице Гибралтара у дверей пекарни стояла тачка, и в ней лежали рыжие волосы. Но не человеческие. Это были три шубы. Мех. Нигде — ни на воде, ни на земле — не видели мы следов этого человека. А если мы не видели, значит, его увидеть нельзя. Для Джона Дулитла мы сделали все, что в наших силах.

И шесть гигантских птиц развернули крылья, и захлопали эти огромные крылья и унесли их по домам, на скалы и утесы.

— Понятно, — сказала Даб-Даб, когда орлы скрылись из виду. — А дальше-то что? Дядю необходимо найти — это ясно, как божий день. Парнишка еще слишком мал, чтоб мотаться по свету в одиночку. Мальчишки — это вам не утята, за ними глаз да глаз нужен, пока не вырастут. Хоть бы Чи-Чи была здесь! Она бы в момент нашла этого рыбака. Славная, чудесная Чи-Чи! Как-то она поживает в своей Африке?

— Вот если бы Полинезия был здесь! — мечтательно пропищала белая мышь. — Он бы уж точно что-нибудь придумал. Вы только вспомните, как ловко он спас нас из тюрьмы, особенно во второй раз! Ой-ой-ой, вот он был голова!

— Я об этих ребятах — орлах — невысокого мнения, — перебил ее Джип. — Они просто самодовольные болваны. Может, у них и впрямь хорошее зрение и все такое, но это еще не повод хамить. С ума можно сойти — ну, им слабо найти человека — так нет чтобы постыдиться! Они являются и вешают нам лапшу на уши, мол, это никому не под силу. Спесивые мешки с перьями, один к одному наша колли из Падлби. Тьфу! И старым болтунам — я про дельфинов — тоже нечего доверять. Подумаешь, натрепали, что рыбака нет в море. А нам неинтересно, где его нет, нам интересно, где он есть.

— Ох, замолчи, ради Бога! — взмолился Габ-Габ. — Говорить-то легко, а попробуй разыщи человека в целом огромном мире! Может, рыбак так беспокоился о племяннике, что поседел, вот орлы и не нашли его. Откуда ты знаешь? Трепещься только попусту, а ничего путного не делаешь. Тебе самому слабо помочь бедному ребенку, вот и помалкивай.

— Мне слабо? — оскалился Джип. — Да что ты понимаешь, идиотская вetchина на ножках! Я еще и не начинал, ясно?

И Джип пошел к Доктору.

— Выясни у мальчика, — велел он, — не осталось ли у него в карманах чего-нибудь дядиного. — И добавил: — Пожалуйста.

Мальчик показал им золотое кольцо на ниточке, которое он носил на шее, потому что с пальца оно сваливалось. Кольцо дядя передал ему, когда заметил, что приближаются пираты.

Джип понюхал и поморщился:

— Бесполезно. Может, еще что найдется?

Мальчик порылся в карманах и вытащил большущий красный носовой платок.

— Это тоже дядин, — грустно сказал он.

И в то же мгновение Джип, подпрыгнув, завопил:

— Нюхательный табак, черт подери! Черный Рэппи, да неужели ты не чувствуешь? Его дядя нюхал табак — переведи ему, Доктор!

Дулитл перевел, и мальчик удивленно кивнул:

— Да. Дядя ужасно любил табак.

— Отлично! — обрадовался Джип. — Считаю, что рыбак нашелся. До смешного легко, все равно как у котенка молоко стащить. Скажи ему, что своего дядю

он получит через неделю, может, даже раньше. И пошли наверх, посмотрим, откуда дует ветер.

— Но сейчас темно, — растерялся Доктор. — Ты же не разглядишь его в темноте.

— На кой черт мне свет, если человек, которого я ищу, пахнет табаком Черный Рэппи? — засмеялся Джип, взбираясь по ступенькам. — Понятно, бывают трудные запахи — веревка там или горячая вода — тогда другое дело. Но нюхательный табак!

— А что, горячая вода пахнет? — осторожно поинтересовался Доктор.

— Еще бы! — фыркнул Джип. — И, кстати, здорово отличается от холодной. А взять теплую воду или лед — тут надо поломать нос как следует, это всем запахам запахи. Помню, как-то ночью я шел за одним парнем — миль десять, не меньше, — по запаху горячей воды, которой он обычно брился. У бедолаги не было мыла. Вот так-то. Ну ладно, где тут ветер? Это чертовски важно, когда нюхаешь на большом расстоянии — чтоб не очень свирепый и, главное, в нужную сторону. Славный, ровный, влажный ветерок — мечта всякой собаки. Ага, дует с севера.

Джип направился на нос корабля и замер там, нюхая ветер, и вдруг забормотал:

— Деготь, испанский лук, керосин, мокрые плащи, толченный лавровый лист, жженая резина, тюлевые занавески в тазу — нет, ошибочка — тюлевые занавески, повешенные для просушки, — и лисы, сотни, сотни — лисята...

— И ты слышишь все это в одном ветре? — прервал его потрясенный Доктор.

— Естественно, — кивнул Джип. — Да это сильные запахи, простые, — дребедень. Такой запах разберет любая дворняжка, даже простуженная, с соплями. Потерпите минутку, сейчас пойдут тонкие, нежные запахи, придется поработать.

Он закрыл глаза, слегка приоткрыл пасть и, высоко задрав морду, принялся внюхиваться. Он долго молчал, не шевелясь и, казалось, даже не дыша, и в темноте походил па камень. Наконец зазвучал его голос. Джип почти пел, тихо, печально, сонно.

— Кирпичи, — шептал он, — старые желтые кирпичи садовой стены, раскрошившиеся от старости; сладкое дыхание телят, стоящих в горном ручье; плоская крыша голубятни — а может быть, амбара, освещенная полуденным солнцем; черные лайковые перчатки в комодке орехового дерева; пыльная дорога, под платанами поилки для лошадей; молодые грибы, пробивающиеся сквозь прелую листву — и-и-и...

— Как насчет пастернака? — любопытствовал Габ-Габ.

— Нет, — отрезал Джип. — Тебе бы только поесть. Никакого пастернака. И никакого нюхательного табака. Пожалуйста вам — куча трубок, сигарет, даже сигары — ненужный хлам. Все никуда не годится. Будем ждать, пока ветер не переменится на южный.

— Ах, это ветер виноват! — закатил глаза поросенок. — Мне кажется, ты притворяешься, Джип. Невозможно посреди океана учуять человека. Я же говорю, ничего не выйдет.

— Послушай, ты, нахал! — разъярился Джип. — Не воображай, что если Доктор тебя защищает, то все позволено. Сейчас я отгрызу твою мерзкую хрюкалку!

— Ну-ну, не надо сердиться, — урезонил их Дулитл. — Жизнь так коротка... Скажи-ка, Джип, откуда пришли эти запахи?

— В основном из Девона и Уэльса, — отозвался Джип. — Ветер-то оттуда.

— Ну да, ну да, — закивал Доктор, — знаешь, это просто потрясающе. Надо записать, выйдет отличная тема для новой книги. Скажи, ты не против обучить меня этак управляться с запахами? Хотя нет. Лучше не рисковать — как говорится, от добра добра не ищут. Вот что — пойдете ужинать. Я, например, очень даже проголодался.

— И я! — воскликнул Габ-Габ.

## Глава 19

## СКАЛА

Рано утром они вылезли из своих шелковых постелей и увидели, что над кораблем ярко сияет солнце, а ветер дует с юга. Добрых полчаса нюхал Джип этот южный ветер, а потом затряс головой и раздраженно проворчал:

— Пока ничего нового. Подождем восточного ветра.

В три часа пополудни действительно задуло с востока, но собака так и не смогла поймать нужный запах.

И мальчик потерял надежду. Он снова заплакал и, всхлипывая, разочарованно приговаривал, что никто, никто на свете уже не поможет ему в его страшной беде. Джип ткнул Доктора носом:

— Скажи ему, что когда ветер переменится на западный, я найду его дядю, будь он хоть в Китае, хоть на краю земли. Если, конечно, он не бросил нюхать Черный Рэппи.

Три долгих дня ждали они западного ветра. Это случилось в пятницу, на рассвете. Дождевая пыль легла на море, как плотный густой туман. Ветер был мягкий, теплый и влажный. Проснувшись, Джип взбежал на палубу и задрал голову. Внезапно шерсть у него на спине поднялась дыбом, он круто развернулся и сломая голову помчался вниз.

— Доктор! — закричал Джип, вцепившись зубами в одеяло. — Доктор, вставай! Представляешь, я нашел его. Ветер с запада — сплошной нюхательный табак. Иди наверх и снимайся с якоря, да быстрее же!

Доктор скатился с кровати и заторопился к штурвалу.

— Я встану впереди, — командовал Джип, — а ты следи за моим носом — куда покажу, туда и поворачивай. Рыбак где-то тут неподалеку, я точно знаю — уж больно запах крутой. Повезло нам — ветер мокрый, ровный. Следи за мной!

Все утро Джип, стоя на носу, показывал дорогу, а звери и мальчик, столпившись вокруг, наблюдали за ним широко раскрытыми, изумленными глазами. Около полудня Джип забеспокоился и попросил Даб-Даб передать Доктору, что им нужно поговорить. Утка отправилась на корму и привела Дулитла.

— Рыбак умирает с голоду, — сообщил ему Джип. — Ты должен увеличить скорость.

— Да с чего ты взял, что он голоден? — поднял брови Доктор.

— С запада несет одним табаком, — объяснил Джип. — Если бы он ел что-нибудь или готовил, я бы непременно учуял. У него даже пресной воды нет. Только табак — и чуть ли не по горсти зараз! Ясно, мы все ближе и ближе, потому что запах крепчает. Но ты все-таки заставь эту посудину плыть побыстрее, потому что человек помирает с голоду. И не спорь.

— Хорошо, — кивнул Доктор и послал Даб-Даб за ласточками — просить их впрячься в корабль и тянуть, тянуть его вперед, как и в прошлый раз, когда их преследовал Бен Али.

Отважные маленькие птицы сейчас же спустились и снова принялись за нелегкую работу. Судно бешено понеслось по волнам. Оно мчалось так быстро, что морским рыбам, попадавшим на пути, приходилось отскакивать в сторону, спасаясь от неминуемой гибели.

Животные волновались. Не обращая никакого внимания на Джипа, они пристально глядели вдаль, в океан, и глаза их искали берег, остров, любой клочок суши, где мог приютиться страдающий от голода человек. Но проходил час за часом, а земля не показывалась, корабль по-прежнему окружала вода, бескрайняя, бессмысленная вода. Звери замолчали. Они сидели на палубе притихшие, взъерошенные, несчастные. И мальчик опять погрустнел. И даже на лице Джипа появилось выражение тревоги.

Только к вечеру, когда солнце упало почти к самому горизонту, все вздрогнули от внезапного, пронзительного крика Ту-Ту, которая сидела, взгромоздившись на верхушку мачты:

— Джип! Джип! Впереди большая-пребольшая скала — смотри туда, где небо сходится с водой! Видишь, от солнца она горит золотом? Что, запах идет оттуда?

— Точно! — откликнулся Джип. — То, что надо. Человек там. Наконец-то.

Подплыв, они рассмотрели скалу получше. Она оказалась огромной, как настоящее поле, но совершенно пустой — ни деревьев, ни травы; громадный камень был гладким и голым, словно спина черепахи. Доктор направил корабль огибать эту скалу. Звери щурились, всматриваясь изо всех сил. Дулитл принес из каюты подзорную трубу. Но нигде не увидели они человека. Не было там ни чайки, ни морской звезды, ни комочка водорослей.

Затаив дыхание, стояли они и слушали, насторожив чуткие уши. Но только волны плескались внизу, весело разбиваясь о борт корабля. Они принялись звать.

— Эгей! Эй! Э-ге-гей! — кричали они, пока не охрипли. И только эхом отвечала им каменная скала.

По щекам мальчика покатались слезы.

— Наверно, я никогда, никогда больше не увижу дядю. Что я скажу дома, Господи, Боже мой! — зашептал он.

Джип потянул Доктора за брюки.

— Но рыбак должен быть здесь, д о л ж е н! — настаивал он. — Запах кончается здесь, понимаешь? Никакой ошибки быть не может. Давай подплывем, мне надо попасть туда.

Корабль подошел почти к самой скале. Бросили якорь. Джип и Дулитл выбрались на каменный берег. Джип, низко опустив голову и припав носом к земле, бросился нюхать. Он носился взад-вперед, кружил, петлял, вертелся, подпрыгивал, и, чуть не наступая ему на пятки, неотступно следовал за ним Доктор, пока совсем не выбился из сил.

Наконец Джип оглушительно залаял и уселся на холодный камень. Доктор подбежал, тяжело дыша, и глазам своим не поверил: посреди скалы зияла черная, глубокая дыра.

— Рыбак там, внизу, — спокойно сообщил Джип. — И нечего удивляться, что дурацкие орлы не смогли его найти. В таком деле требуется собака.

Доктор заглянул в дыру. Она была похожа на узкую пещеру и вела куда-то вглубь. Доктор зажег спичку и полез по длинному извилистому туннелю. Джип шел сзади. Скоро спичка погасла. Пришлось зажечь новую, потом еще и еще одну. Туннель внезапно кончился, и Доктор очутился в крошечной каменной камерке. На полу, положив голову на руки, лежал человек с огненно-рыжими волосами и крепко спал.

Джип, подкравшись к нему, понюхал что-то, валяющееся рядом. Дулитл наклонился и подобрал гигантскую табакерку, набитую Черным Рэппи!

## Глава 20

### РЫБАЦКИЙ ГОРОДОК

Осторожно, очень осторожно Доктор разбудил спящего. И тут снова погасла спичка. В наступившей темноте, да еще спросонья, рыбак принял Дулитла за грозного Бена Али и принялся неистово молотить кулаками. Доктор поспешно представился и добавил, что на их корабле маленький мальчик, спасенный от пиратов, ждет своего дядю.

Рыбак и обрадовался, и застыдился, и долго извинялся, что зря поколотил хорошего человека. Правда, Доктору не было очень уж больно — ведь в такой темнотице трудно врезать как следует. Смущенный рыбак угостил Дулитла понюшкой табаку и рассказал свою историю с самого начала: как Барбарийский Дракон привез его на эту скалу и бросил одного — за отказ стать пиратом, — и как он привык спать в пещере: на проклятой каменной штуковине не нашлось другого места, чтоб согреться. Он помолчал и грустно признался:

— Четыре дня не ел, не пил, табачком перебивался.

— Слышишь? — торжествующе воскликнул Джип. — А я что говорил?

И вот, зажигая спичку за спичкой, они пустились в обратный путь.

— Скорей, — торопил рыбака Джон Дулитл. — Скорей на корабль. Мы сварили вкуснейший суп.

Разглядев, что Доктор и Джип возвращаются вместе с рыжеволосым человеком, мальчик и звери завопили от счастья и запрыгали по палубе в радостном танце. А ласточки в вышине, тысячи, миллионы ласточек засвистели во весь голос, ужасно довольные, что храбрый рыбак наконец отыскался. Они подняли такой шум, что моряки в окрестных и дальних водах приняли его за приближающийся чудовищный шторм.

— Черт. Вон как завывает на востоке, — ворчали они.

Джип очень гордился собой, хотя и старался скрыть это от посторонних глаз. Когда Даб-Даб подошла к нему выразить свое восхищение и нежно сказала: «Джип, а я и не догадывалась, что ты такой умный», он только тряхнул головой и пренебрежительно бросил:

— А, ерунда. Если надо найти человека, требуется собака, вот и вся хитрость. Птицы тут не годятся.

Доктор узнал у рыжеволосого рыбака, где он живет, и попросил ласточек помочь туда добраться. Подплыв к берегу, они увидели городок, разбросанный у подножия высокой скалистой горы, и рыбак показал им родной домишко. Бросили якорь. А к причалу уже бежала женщина, сестра рыбака и мать мальчика, и смеялась, и плакала, и опять смеялась. Двадцать долгих дней просидела она на холме, не отрывая глаз от безжалостного моря, и все ждала, и надеялась, что ее любимые вернутся домой. Она налетела на Доктора и поцеловала его множество раз, а он захихикал и покраснел, как школьница. Она хотела поцеловать Джипа, но он ловко увернулся и, удрав, спрятался на корабле.

— Еще чего, целоваться! — ругался он. — Ненавижу это. Если ей приспичило, пускай целует Габ-Габа!

Рыбак и его сестра ни за что не хотели отпускать Доктора. Они умоляли его отложить отъезд хоть на несколько дней. Пришлось остаться в славном приморском городке на субботу, на все воскресенье и на полпонедельника. Местные мальчишки собирались у причала и, тыча пальцами в огромное судно, перешептывались:

— Смотрите! Это пиратский корабль. Его хозяином был Бен Али, самый страшный пират семи морей. А пожилой джентльмен в высоком цилиндре, что остановился у миссис Тревельен, отобрал у него корабль, а самого заставил работать фермером. А ведь сразу никак не скажешь, он с виду покладистый и добрый и все такое, правда?.. Вон какие красные парусищи! Злобный, гадкий корабль... Б-р-р...

За два с половиной дня, что провел Джон Дулитл в маленьком рыбацком городишке, у него не выдалось ни одной свободной минутки: жители наперебой приглашали завтракать, обедать, пить чай, да и просто на вечеринки, дамы присылали букеты цветов и коробки с леденцами, а городской оркестр каждую ночь играл под окошком, не умолкая до самого рассвета.

Наконец Доктор заявил:

— Милые мои, мне пора. Вы были очень добры ко мне, и я запомню это навсегда. Но, к сожалению, нам надо ехать — дела, дела, ничего не поделаешь.

И вот, когда Доктор уже собрался в дорогу, на улице показался Мэр города, окруженный людьми в парадных костюмах. Мэр остановился напротив дома, где жил Дулитл. Конечно, весь город немедленно сбегался посмотреть, что происходит.

Шестеро мальчиков протрубили в сверкающие трубы, и наступила тишина. Доктор вышел на крыльцо.

— Доктор Джон Дулитл! — заговорил Мэр. — Я бесконечно счастлив, что мне выпала честь преподнести вам от имени благодарных жителей нашего достойного города маленький подарок, памятный знак освободителю морей от Барбарийского Дракона. — Он вынул из кармана бумажный пакетик и, развер-



нув его, протянул Доктору замечательные часы с настоящими бриллиантами на крышке. Из другого кармана он вытащил сверток побольше и спросил:

— Где собака?

Стали искать. Наконец Даб-Даб обнаружила Джипа на другом конце города, во дворе конюшни, посреди скопища местных псов, затаивших дыхание от преклонения и почтения. Джип неохотно последовал за уткой. Завидев их, Мэр развязал сверток. Бумага упала на землю. Он держал в руках ошейник из чистого золота. Все ахнули от изумления. А Мэр, нагнувшись, застегнул ошейник на мохнатой шее. Крупными буквами на нем было написано: «Джипу — самой умной на свете собаке».

Жители города толпой двинулись к берегу — провожать Доктора и его зверей. Рыжеволосый рыбак, его сестра и племянник без умолку благодарили Доктора и Джипа и никак не могли остановиться.

Наконец большой быстроходный корабль взял курс на Падлби и вышел в море, а городской оркестр на берегу все продолжал играть.

## Глава последняя

### СНОВА ДОМА

Мартовские ветра задули и стихли, кончились апрельские ливни, майские почки лопнули и превратились в цветы. Уже июньское солнце ласково пригрело поля, когда Джон Дулитл возвратился на родину. Он не сразу поехал в Падлби. Одолив у цыган фургончик, Доктор принялся колесить по стране, останавливаясь на сельских ярмарках. С одной стороны фургончика кувыркались акробаты, с другой — веселили народ Панч и Джуди, а Доктор прибывал на фургончик большую вывеску: НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! ТОЛЬКО У НАС УДИВИТЕЛЬНОЕ ДВУХГОЛОВЕ ЖИВОТНОЕ АФРИКАНСКИХ ДЖУНГЛЕЙ! ВХОД — 6 ПЕНСОВ. Тяни-Толкай стоял в фургончике, а все остальные звери лениво валялись в тени. Доктор сидел на стульчике перед дверью, и собирал шестипенсовики, и улыбался всем входящим, а Даб-Даб брюзжала и бранилась, потому что стоило ей отвернуться, как он, хитро подмигивая, впускал детей бесплатно. Приходили владельцы зверинцев и циркачи и просили Доктора продать странное существо, предлагая огромные деньги. Доктор качал головой и отказывался:

— Тяни-Толкая нельзя запирать в клетку. Он так же свободен, как вы и я.

Так они кочевали от деревни к деревне, и множество забавных происшествий случилось с ними, но после великих приключений, пережитых в чужих странах и морях, все казалось скучноватым. Сперва им понравилось чувствовать себя частью циркового мира, но и это быстро надоело, и хотелось только одного — скорее попасть домой.

К счастью, очередь желающих поглазеть на африканское чудо не уменьшалась, шестипенсовики так и сыпались, и Дулитл вскоре смог со спокойной душой бросить цирковое дело.

И вот в один прекрасный день, когда шиповники стояли в самом цвету, он вернулся в Падлби в свой маленький домик, окруженный огромным садом, вернулся богатым человеком. Старая хромая лошадь очень обрадовалась друзьям, и ласточки, успевшие уже соорудить под стрехой гнезда и вывести птенцов, были рады, и Даб-Даб, хоть ее и встретили кучи пыли и заросли паутины по всем углам милого старого дома, тоже напевала и веселилась, взявшись за тряпку. Джип, навестив соседскую спесивую колли и похваставшись золотым ошейником, принялся как сумасшедший носиться по саду, разыскивая давным-давно закопанные косточки и гоняя крыс, а Габ-Габ бросился подкапывать трехфутовый хрен в углу сада, у самой изгороди.

А Доктор отправился к моряку и купил ему взамен старого два новых корабля, а его ребенку — резиновую куклу. Он заплатил бакалейщику за провизию,

взятую в плавание. И, конечно, приобрел новое пианино, чтоб поселить туда белых мышей, — в ящике комода они постоянно жаловались на сквозняк.

А потом он наполнил до краев старую копилку, стоявшую в кухне на верхней полке, и очень удивился, потому что осталась целая куча денег. Пришлось ему раздобыть еще три точно таких же копилки, чтобы разместить свое богатство.

— Деньги — это дрянь, чепуха, — довольно пробормотал он, — но все-таки славно, если о них не приходится думать.

— Ну еще бы, — хмыкнула Даб-Даб, жарившая к чаю оладьи.

Наступила зима, за кухонным окошком закружились снежные хлопья. Доктор и звери, сытно поужинав, рассаживались вокруг теплого огня, и он читал им вслух свои новые книги.

А далеко-далеко, в Африке, под круглой желтой луной обезьяны, устраиваясь на ночлег в раскидистых пальмовых кронах, так говорили друг другу:

— Интересно, что подельывает сейчас Добрый Человек — там, в Стране Белых Людей? Как вы думаете, он вернется?

И Полинезия скрипел с дикой виноградной лозы:

— Я думаю, вернется, мне кажется, вернется, я надеюсь, вернется!

И тогда крокодил рывкал на них из черной илистой реки:

— Я уверен, он вернется! Немедленно спать!

*Перевела с английского Юлия Муравьева*

---

---

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

*Вацлав МИХАЛЬСКИЙ*

*Алла МАРЧЕНКО*

*(зам. главного редактора)*

*Светлана БУЧНЕВА*

*(отв. секретарь)*

**К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ**

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи редакция не высылает.



**Наши услуги бесплатные!**



Московское общественное  
объединение инвалидов

**Биржа труда МИКО предлагает**  
*организациям, предприятиям и кооперативам*

**специалистов из числа инвалидов:**

радиомехаников, архивистов, диспетчеров,  
слесарей, чертежников, бухгалтеров и др.

**338-34-35**

**Сотни инвалидов-москвичей  
ждут ваших предложений!**

НАСТОЯЩАЯ РЕКЛАМА ПЕЧАТАЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО